

Владислав

ХОДАСЕВИЧ

НЕКРОПОЛЬ

Воспоминания

ЛИТЕРАТУРА и ВЛАСТЬ

Письма **Б.А.САДОВСКОМУ**

Владислав

ХОДАСЕВИЧ



Силуэт Владислава Ходасевича работы Е.С.Кругликовой. 1916

Владислав

ХОДАСЕВИЧ

НЕКРОПОЛЬ

Воспоминания

ЛИТЕРАТУРА *и* ВЛАСТЬ

Письма **Б.А.САДОВСКОМУ**

Составление
С.Сильванович, М.Шатин

Предисловие и комментарии
Н.Богомолов

Примечания к письмам и заключительная статья
И.Андреева

Художник
В.Стуликов

Компьютерная верстка
А.Володин

Корректор
О.Картамышева

*Составители благодарят сотрудников Российской государственной
библиотеки Н.Н.Повстен и С.М.Шпанцеву
за помощь в подготовке текста.*

© Н.А.Богомолов. Предисловие. Комментарии.
© И.Андреева. Примечания. «На перекрестке двух дорог...»

Содержание

Предисловие. Н. А. Богомолов • 7

НЕКРОПОЛЬ

<i>Конец Ренаты</i> • 19	96 • <i>Гершензон</i>
<i>Брюсов</i> • 30	106 • <i>Сологуб</i>
<i>Андрей Белый</i> • 51	120 • <i>Есенин</i>
<i>Муни</i> • 73	149 • <i>Горький</i>
<i>Гумилев и Блок</i> • 83	

ЛИТЕРАТУРА И ВЛАСТЬ

<i>Завтрак в Сорренто</i> • 179	227 • <i>Литература и власть</i>
<i>Горький <2></i> • 185	<i>в сов. России</i>
<i>О смерти Горького</i> • 209	250 • <i>Белый коридор</i>
<i>О Есенине</i> • 215	268 • <i>Кровавая пицца</i>
<i>Декольтированная лошадь</i> • 219	

Комментарии. Н. А. Богомолов • 273

ПИСЬМА Б.А.САДОВСКОМУ

Памяти Б. А. Садовского • 325 330 • *Письма Б. А. Садовскому*

Примечания. И. Андреева • 369

«На перекрестке двух дорог...» И. Андреева • 431

Предисловие

В глазах подавляющего большинства читателей В.Ф.Ходасевич – прежде всего поэт. Во вторую очередь вспоминаются его блестящие мемуары (книга «Некрополь» и довольно широко за последнее время распечатанные фрагменты, в книги при жизни не собранные). И лишь сравнительно немногие осознают, что он был не только литератором в самом полном смысле этого слова, бравшимся за самые различные задачи (вплоть до текстологических исследований, могут ли опубликованные стихи принадлежать великой княжне Ольге Николаевне, расстрелянной в Екатеринбурге, и подлинно ли так называемое «Завещание Патриарха Тихона»), но и самостоятельным политическим мыслителем.

Правда, эта его ипостась выражается в подавляющем большинстве случаев не прямо, не в форме сугубо публицистического очерка или злободневной статьи, а как будто бы опосредованно, под предлогом литературного обсуждения или мемуарной записи, но от этого не становится менее существенной. Нынешняя книга, выходящая в год 110-летия со дня рождения Ходасевича, позволяет взглянуть прежде всего на эту сторону его таланта, понять, как для поэта сопрягались проблемы собственно литературные и откровенно политические, как в сознании умного и чуткого аналитика литературы, предпочитавшего, на первый взгляд, ограничиваться лишь ее проблемами, завоевывает свое место право на откровенный разговор о том, что поэзия (в том широком смысле, который придавался этому слову в девятнадцатом и начале двадцатого века) ответственна не только за блеск своих слов, но и за мысли, выраженные в самых даже гениальных произведениях, вроде бы не нуждающихся в оправдании своего существования. Литература и политика оказываются связаны теснейшим образом, не существуют друг без друга.

Собственно говоря, именно это было для Ходасевича первой причиной решительнейшего спора с литературоведами формальной школы¹. Он неоднократно полемизировал с ними, и нынешние историки литературы не

¹См.: Malmstad John E. Khodasevich and Formalism: A Poet's Dissent // Russian Formalism: A Retrospective Glance. New Haven, 1985.

ПРЕДИСЛОВИЕ

всегда даже могут понять, почему именно эти филологи, едва ли не самые талантливые из своего поколения, вызывали его решительную неприязнь. А между тем объясняется это довольно просто: сам талант, по убеждению Ходасевича, обязывает говорить в первую очередь о существенных проблемах литературы, а не выкидывать их из поля своего восприятия, как то, по его мнению, делали Тынянов и Шкловский, Якобсон и Эйхенбаум, Осип Брик и Якубинский. Вряд ли мы можем с полной уверенностью признать, что Ходасевич был безоговорочно прав, ибо позиция если не всех, то большинства названных здесь авторов была гораздо сложнее и далеко не сводилась к чисто формальному анализу текстов; но не видеть направленности его анализа, сколь бы ни был он на первый взгляд отрешен от разбора «содержания», именно на него, на смысл, раскрываемый в живом движении повествования или ритмической волны, – значит не понимать особенностей мышления Ходасевича.

Его современники иногда даже слишком часто повторяли тютчевские слова о счастливых, посетивших мир в его роковые минуты. Их можно понять – уж кому-кому, а им довелось хлебнуть роковых минут с избытком. И само время вынуждало литератора, если он хотел остаться внутренне честным, вмешиваться в то, что нынешнему человеку из окололитературной тусовки кажется примитивным и даже вообще лежащим по ту сторону задач искусства, говорить не о самодвижении поэтических форм, а о том, как сквозь них прорастает художественный смысл, в котором раскрывается весь художник, до конца. Ведь, собственно говоря, ни в каком произведении нет ничего, кроме его реальности, букв, написанных на бумаге. Но если этими буквами дело и ограничить, то никакого оправдания их существованию не будет, они будут обречены на существование мнимое, за которым – только дурной запах мертвых слов, о котором с равной брезгливостью писали такие разные поэты, как Андрей Белый и Гумилев. И Ходасевич лучше, чем кто бы то ни было, умел слышать этот легкий запах тления, кому бы ни принадлежал подлежащий его вниманию текст. Ни одно самое громкое литературное имя не могло для него оправдать безжизненность произведения, так же как никакой внешний шок не мог заставить брезгливо оттолкнуть открывшуюся книгу.

Наверное, самым ярким примером внутренне честного чтения является статья «Гавриилиада», которую Ходасевич вряд ли случайно перепечатал с небольшими разночтениями по крайней мере трижды¹. Именно тут, в самой кощунственной из поэм Пушкина, он умеет с поразительной точностью отыскать возвышенное содержание, делающее эту поэму произведением вы-

¹ Наиболее доступен современному читателю вариант, опубликованный в кн.: Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991.

ПРЕДИСЛОВИЕ

сокого искусства, какие бы церковные или общественные авторитеты ни обвиняли Пушкина в хулении высших ценностей христианства (или же, неуклюже пытаясь обелить, отрицали его авторство). Истинный смысл поэзии, по Ходасевичу, лежит гораздо глубже примитивно понятого «содержания», но он необходимо присутствует в любом произведении, без этого оно просто-напросто не существует. А за *так* понятым смыслом вполне может – и должна! – реконструироваться позиция автора по отношению к истории, к современности, к религии, к миру как целому, причем не только в терминах теории литературы, но и в тех, что присущи наукам, литературе внеположным.

Давно и хорошо известно, что Ходасевич был принципиальным противником всяких абстрактных философских рассуждений применительно к тому делу, которому посвятил свою жизнь. Но это вовсе не значит, что он не мог противопоставить бесплодным по большей части спекуляциям свое собственное понимание жизненного смысла, вкладываемого художником в собственную биографию, причем биографию не только как реально проживаемую жизнь, но и как естественное единство жизни и ее осмысления, будь то в терминах гуманитарных наук или в художественных образах и картинах. Умение сделать достоянием читателя именно эту, наиболее подлинную биографию художника составляет, пожалуй, главное в мастерстве Ходасевича как биографа. Но это же делает его и тончайшим аналитиком тех материй, которые лежат вне собственно художественного начала произведения искусства. Не случайно именно он наиболее последовательно из современников проследил ту особенность русского символизма, которая была названа «жизнетворчеством»: и в ряде тех мемуаров, которые читатель прочтет в лежащей перед ним книге, и в других статьях Ходасевич с исключительной точностью и последовательностью создает картину существования «жизненно-творческого метода»¹, сопрягающего жизнь и творчество в некое единое и нераздельное целое. Его наблюдения можно корректировать и даже в некоторых частностях отвергать, но нельзя их отменить, поскольку за ними стоит глубочайшая правда.

А далее – и тут уже трудно сказать, умышленно или случайно, – Ходасевич распространяет такое представление о символизме на всю русскую культуру своего времени, делая литераторов воплощателями той или иной идеи, лежащей в основе всего их творчества. Но сделано это не в отвлеченных и потому заведомо неверных формулировках, а в демонстрации того, как проживалась жизнь, воплощаясь и в поступки, и в речения, и в кристаллы строгих поэтических форм, и в массивы интимной переписки, и в создание «творимых легенд», и в формирование литературных школ, и в со-

¹Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. С.546.

ПРЕДИСЛОВИЕ

прикосновение с общественными движениями, и во многое другое, что перечислять уже излишне. Во всех современниках, о которых Ходасевич пишет, он видит постоянное столкновение самых разнонаправленных интенций, как их собственных, так и общественных, как вневременных, так и порожденных эпохой. Он показывает их непременно переживающими тот отрезок времени, в которое довелось существовать; сталкиваясь с ним. Вот эти столкновения, как кажется, составляют внутренний нерв всех текстов данного сборника. Они стали уже почти классическими, многие вошли в программы как школ, так и университетов, но скорее воспринимаются как свидетельства умного и знающего современника, чем как основание для суждения о времени. А между тем вряд ли случайно то, что уже к середине двадцатых годов у Ходасевича возник замысел «Некрополя»¹, – отчетливо было видно, что именно сейчас «погребают эпоху» (по более позднему слову Ахматовой), погребают как в публикуемых в СССР мемуарах, так и в эмигрантских журналах и газетах, в равной степени (хотя, конечно же, по-разному) свидетельствующих, что наступил конец времени, которое Ходасевич считал «Петровским и Петербургским»².

Видимо, к середине двадцатых у Ходасевича еще просто мало было материала для реализации такого масштабного замысла, каким в итоге оказался «Некрополь». Это ведь не просто повествование о людях, с которыми его сталкивала жизнь, а – при всей раздельности и прерывности – отчасти и целостный текст, где объединились и рассказы о людях духовно близких, хотя впоследствии и отделившихся по каким-то причинам, и о почти незнакомых, и о прославленных, известных всякому русскому читателю (и даже не читателю), и о забытых ближайшими друзьями. Реальные полюса здесь составляют Горький и Муни, Петровская и Есенин, разделенные своей популярностью, но связанные в сознании автора невидимыми нитями.

И именно в своей несхожести эти люди составляют портрет эпохи, именно очерками их биографий очерчивается движение времени, столь неумолимо завершающееся смертью. Конечно, смерть всегда была и будет великим завершителем, но то, как она представлена у Ходасевича, заставляет видеть в неотвратимости ее прихода не просто жизненную реальность, но совпадение двух векторов – единственной жизни и общей для всех эпохи. Трудно сказать, рассчитанно или нет, но объективно в книге Ходасевича получается, что проигрывается большинство вариантов судьбы русского писателя в первой трети XX века: самоубийство и до революции (Муни), и в

¹См. его письмо к Ю.И.Айхенвальду от 28 октября 1926 г. (Новое лит. обозрение. 1995. №14. С.136).

²Из речи «Колелемый треножник» // Ходасевич Владислав. Колелемый треножник. С.203.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совдепии (Есенин), и в эмигрантском Париже (Петровская). Смерть загнанного в угол Сологуба и официально коронованного титулом великого пролетарского писателя Горького. К смерти приводят как последовательное приспособление Брюсова – так и трагически непоследовательное приспособленчество Белого. Убивают Гумилева и медленно душат Блока. Даже безобидный, преданный сосредоточенному осмыслению русской культуры Гершензон уходит из жизни так, что после его похорон сходит с ума и кончает с собой Александра Николаевна Чеботаревская... Все разное – и вместе с тем насколько схожее! Схожесть в том, что «от судеб защиты нет», что зловещая радиоактивность эпохи пронизывает насквозь и, не ощущая этого непосредственно, человек оказывается обреченным.

Он может вполне свою обреченность осознавать, пусть даже в каких-то разрозненных, не складывающихся в последовательное суждение формулах (как Нина Петровская), а может пытаться волевым усилием ее преодолеть (как Гумилев), он может строить свою поэзию как последовательное утверждение вечной повторяемости в бесконечных преобразованиях (Сологуб) или отражение бесконечно различных «мигов» (Брюсов), может предаваться вере в избавительное существование тайных наук (Белый) или врачебное искусство Института экспериментальной медицины (Горький), но в любом случае ему предстоит столкновение с тем, что оказывается выше и сильнее. Тут уже речь не только о смерти, но и о той реальности, в которую погружены они все, – реальности власти, с которой поэт так или иначе, рано или поздно должен столкнуться, и в этом столкновении решается очень многое, хотя не все.

Тут-то Ходасевич и переходит из мира высших, всечеловеческих переживаний в суровую конкретику своей эпохи, с которой непременно сталкиваются его современники, чтобы потом осмыслить опыт этого столкновения в специальных статьях, посвященных взаимоотношениям литературы и власти. Произнося эти слова, мы не должны считать, что тем самым неизбежно подразумеваем их продолжение в названии одной из статей: «...в советской России». Для Ходасевича горький опыт советской литературы был, конечно, чрезвычайно существенным, но в то же время невозможно сказать, чтобы картина жизни писателя в старой России или теперь, в эмиграции, представлялась ему в розовом цвете. Вовсе нет. Повторяя гоголевские слова: «Слышно страшное в судьбе наших поэтов», он как будто постоянно держит в уме строки Кюхельбекера:

Горька судьба поэтов всех времен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию.

или Волошина: «Темен жребий русского поэта...»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совершенно недвусмысленно сказано об этом в «Кровавой пище»: «За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что подымает он руку, эшафот и петля <...> Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не возводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? <...> Разве над всеми поголовно не измывались цензоры всех эпох и мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку, чуть не по очереди, без разбору, за то именно, что – писатель?» И все-таки, хоть и на долю всех поколений выпадали «бичи и железы», важнее, существеннее, болезненнее всего – судьба своего поколения, которому суждено было означить новую ступень во взаимоотношениях с реальной действительностью.

Любопытно в связи с этим вспомнить сугубо политические суждения Ходасевича, как попавшие в печать, так и оставшиеся при жизни не опубликованными. Вот, например, в частном письме к покинувшему Россию еще до октября 1917 года М.М.Карповичу он описывает ситуацию коммунистической России 1926 года:

«Вы не видали большевизма и, простите, не имеете о нем никакого представления. Говорю не о Ч.-К. и всяких *кровавых* ужасах, которые – в прошлом, и с *этой* точки зрения простить их можно. Говорю о *нынешней* России. <...> Вы говорите: я бы вернулся, «если б была хоть малейшая возможность жить там, не ставши подлецом». В этом «если бы» – самая святая простота, ибо ни малейшей, ни самомалейшей, никакой, никакейшей такой возможности не имеется. Подлецом Вы станете в тот день, когда пойдете в сов<етское> консульство и заполните ихнюю анкету, в которой отречетесь от всего, от себя самого. (Не отречетесь – так и ходить не стоит.) А каким подлецом Вы станете, ступив на почву СССР, – об этом можно написать книгу. Ибо, сев в вагон, поведете такой разговор с соседом:

Сосед. Откуда изволите ехать?

Вы. Из Нью-Йорка.

Сосед. Долго там были?

Вы. С 1916 (?) года.

Сосед. А что делали?

Вы. Служил там-то.

Сосед. Раскалялись, что шли против рабоче-крестьянской власти? Стыдно вам своих гнустых поступков?

(Далее – 2 варианта):

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

Вы. Да, очень стыдно. Я поступал подло и знался с подлецами. И переписывался с ними.

Черт. (Вам на ухо). А вот уж Вы и подлец, Михаил Михайлович. Очень рад.

Сосед. Вот вам 20 копеек за работу...

II

Вы. Нет, не стыдно, но я соскучился по России и хочу в ней жить и работать, не борясь против раб<оче>-кр<естьянской> власти.

Черт. (Вам на ухо). Bravo! Уклончиво!

Сосед. Не стыдно? Так-с (Вынимает мандат). Позвольте препроводить Вас в местное отделение Г.П.У., на предмет – и прочее.

Уверяю Вас, что третьего варианта быть не может. Разве только – этот разговор произойдет не на первой станции, а на третьей или даже в Москве. А ведь это только *начало*»¹.

А вот блестящий анализ ситуации в СССР уже из печатной статьи, произведшей в свое время хоть и кратковременный, но шумный скандал: «Была эпоха октября и военного коммунизма, соблазнившая многих не «подлинностью» Чека, разумеется, и не откровениями комсомола, которого в ту пору еще даже не было, а романтической мечтой о великом сдвиге, о новой правде <...> Что же было дальше? «Тот ураган прошел», как писал Есенин. После дождя повылезли черви, жабы. Настала та гнусность, которую даже лживый язык Ленина не осмелился назвать революцией, а нарек ей хамское имя нэпа. Пришла пора, когда вчерашние революционеры и «подлинные» чекисты засели в тресты, разделяясь без остатка на бездарных хозяйственников и талантливых воров; когда раздуватели мирового пожара стали в придворных ливреях являться к королям и в лакейских фраках – к банкирам: «Помилуйте, революции больше нет, это так только называется»; когда остатки рабочих спаиваются рыковкой и расстреливаются за забастовки; когда режим военного коммунизма кажется либеральнейшим по сравнению с нынешним удушительством; когда моральная грязь из кремлевских стен прососалась по всей России; когда кремлевские фальшивомонетчики и содержатели притонов (это не метафоры) изолгались до склоки, которую сами не в силах унять...»²

Уже из этих небольших фрагментов видно, что для самого Ходасевича революция и советская власть не были однородными, что и для него был вели-

¹Hughes R., Malmstad J. Vladislav Khodasevich to Mikhail Karpovich: Six Letters // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1986. Vol. XIX. P.150–151.

²Ходасевич Владислав. Соб. соч. / Под ред. Дж.Мальмстада и Р.Хьюза. Ann Arbor, 1990. Т. 2. С.410.

ПРЕДИСЛОВИЕ

кий соблазн в первом революционном порыве. Потом, с наступлением пэпа, стало понятно, что никакой подлинной народной революции нет и быть не может, что просто-напросто место прежних полуобразованных капиталистов заняли люди вовсе необразованные, привыкшие с равной степенью искренности то лакействовать, то измываться над бывшими хозяевами. Русский народ оказался гораздо более простым, чем это казалось, и в этой простоте – гораздо более загадочным, как тютчевская природа, у которой «может статься... загадки нет и не было». И даже никогда не увлекавшийся никакими философскими или социологическими схемами Ходасевич до некоторой степени оказался растерянным перед лицом этого сфинкса, готового с равным энтузиазмом растерзать и пожалеть, вознести и вычеркнуть из памяти.

И потому советскую литературу Ходасевич был готов судить самым жестоким судом, но только в том случае, если он видел в ней конформизм, стремление полностью отдаться господствующим холоумам. Этого – спору нет – было более чем достаточно, и на глазах уходили из серьезной литературы все новые и новые писатели. Если попробовать проанализировать тот список наиболее интересных советских прозаиков двадцатых годов, который составил Ходасевич в статье «Литература и власть в сов. России», то нетрудно заметить, как редеют их ряды со временем: Никитин, Козаков, Федин, Пантелеймон Романов, Шишков, Олеша, Лидин с большим или меньшим успехом превращаются в обыкновенных казенных литераторов, независимо от их официального признания (нулевого у Никитина и Козакова и сверхвысокого у Федина). Пильняка, Бабеля, Артема Веселого власть уничтожает. Каверин, Вс. Иванов, Катаев ломаются (иногда, впрочем, сохраняя заряд внутренней писательской честности)... Кто же остается? Нет ответа.

Прежде всего дело, конечно, в том, что Ходасевич не мог видеть настоящего, полного удушения литературы, вынужденной существовать на территории СССР. Конечно, слухи доносились, но хотелось верить, что это все-таки преувеличение, что на самом деле все не так страшно. По обмолвкам легко увидеть, насколько мало представлял себе Ходасевич (и, конечно, не только он), что действительно происходит в СССР и в советской литературе уже тридцатых годов. Стремительно опускавшийся железный занавес – еще не фултонский, а тайный, постепенно конструировавшийся, – все больше и больше ограничивал восприятие, скрывал реальность. Но привыкшему к свободе мысли писателю почти невозможно было представить себе официального запрета именно на мысль. Цензура – понятно и просто, это проходили так или иначе все. Но вот понять, как это можно бояться даже записать стихотворную строчку, было очень трудно. Об этом свидетельствует письмо Ходасевича к Н.Н.Берберовой, написанное летом страшного 1937 года и обнажающее глубочайшее непонимание положения в Советском Союзе: «...своего предельного разочарования в эмиграции (в ее «духовных

ПРЕДИСЛОВИЕ

вождях», за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал недели за три. Из этого «представители элиты» вывели мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал – не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же – не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен «в душе», что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то *должны* отнестись положительно). Впрочем, тихонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, а непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так что ты бы услышала»¹.

Нам-то легко представить себе, что стало бы с Ходасевичем, вернись он в Москву в 1937–1938 годов. Но ему самому, так точно описавшему такую же точно ситуацию десять лет назад, она была абсолютно непредставима, да и трудно вообще вообразить себе нормального человека, который бы мог себе хоть в малой степени представить, что творилось тогда (да и позже, конечно) в СССР. Потому политические анализы в его статьях середины и второй половины тридцатых годов не отличаются той пронизательностью, какая была в более ранних. Но если проекция известного на современность была явно неудачной (как легко Ходасевич принимает на веру, скажем, показания на больших московских процессах!), то сама констатация этого известного, мемуарный субстрат в статьях о Горьком является весьма существенным для истории русской литературно-политической жизни².

Таким образом, читателю этой книги предоставляется увлекательная возможность последовательно увидеть несколько слоев в представленных текстах: сначала ему даются увлекательные мемуары и не менее увлекательные, блестящие письма; за ними следует литературно-критический, а то и высокопрофессиональный литературоведческий комментарий к тому, «чему свидетели мы были»; этот комментарий сменяется суждениями об отношении литературы и власти, смыкающимися с чисто политическими суждениями; а в самой глубине, куда неминуемо заглянет внимательный глаз, можно и нужно увидеть представление о литературе вообще, той великой литературе, которая всегда – если, конечно, не изменяет своему призванию, – открывает читающему и глубины человеческого духа, и самое верное представление об устройстве общества, и понимание неизбежности соединения всех жизненных нитей в единое целое, постижимое только искусством.

Н.А. Богомолов

¹Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1988]. Вып.5. С.312–313.

²Ср. также: Долинский М., Шайтанов И. Диалог // Вопросы литературы. 1996. Июль – август.

В. Ф. ХОДАСЕВИЧЪ

НЕКРОПОЛЬ
ВОСПОМИНАНІЯ

LES EDITIONS PETROPOLIS / BRUXELLES

*В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания.
Брюссель. 1939. Титульный лист*

НЕКРОПОЛЬ

Воспоминания

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах.

Сведения, которые мне случалось получать из вторых и третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

Конец Ренаты

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное – вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903–1909 гг., она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе и не связаны. Однако, прежде чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна.

* * *

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри ка-

ждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее – «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд странно, а в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в *искусстве* прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций – и конечно. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить – неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной
Я сделал трепет без конца –

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества – ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

* * *

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождалась драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь по-

сле того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как *только* и *просто* жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратное: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 году знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи – всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше, как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это – вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось, но как, во имя чего и в каком направлении – он не предугаживал, предугаживать не хотел, да и не умел. От каждого вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом) требовалось лишь

непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь *полнота одержимости*.

Отсюда – лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции – «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное; непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к *разыгрыванию* собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью.

Декадентство, упадничество – понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин «декадентство» был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились *внутри* самого символизма, – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела *сыграть* – и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинною жертвою декадентства.

* * *

Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчай-

ший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т.д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам само понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они *обязаны* были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» – можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности, для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода, – это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней живи она столетием раньше. Главное же – очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько раз уже оскверненную поэтовым «оргазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье,

калася. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоголя над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда – проблесками истинной гениальности. Другое дело – как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смешалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она – предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, – корить, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене, облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

‘Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он. – Что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменялся, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женной, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черной магией, – не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознании действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова оче-

редной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта – самого себя¹.

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность – утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин: она пробовала удерживать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом

¹ В 1934 г., в Москве, в издательстве «Academia», вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны «Материалы к биографии», составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу «Огненного Ангела» был положен действительный «эпизод».

Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, – Рената», – писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почему я знала – *какие* другие, – Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей. Помогали ей, как могли, и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

* * *

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись: *Нина Ивановна Петровская «умирает»*. Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни действительно умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать

два года она жила в *непрестанной* мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать
Собиралась помирать.
Помереть не померла –
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апр. 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это – в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное – «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, – смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, *как поэму*, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 году, уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывающее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Ни-

Конец Ренаты

на ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

Версаль, 1928

Брюсов

Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о декадентах. Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были декаденты по фельетонам «Новостей Дня») увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина».

Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова (до *Tertia Vigilia* включительно) – суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все это тропические фантазии – на берегах Яузы, переоценка всех ценностей – в районе сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвестный, осмеянный, странный» автор *Chef-d'oeuvre*. Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание

Родину я ненавижу, –

в то же время, оказывается, способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены.

* * *

Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо раторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли.

Товар был заморский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам, Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном из переулков между Ильинкой и Варваркой, была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна наискосок от П.А.Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 года. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:

– Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству.

Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус».

Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошажник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом «В. Бакулин». В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говаривали, что их главную часть составляют *argumenta baculina*.

Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам. Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 года. Там и скончался Яков Кузьмич, в январе 1908 года. Матрена Александровна пережила мужа почти на тринадцать лет.

Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы:

НЕКРОПОЛЬ

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене...

.....
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне – и т.д.¹

В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам – венские стулья. Висели две-три почерневшие картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, появлялась миска; в комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:

– Не беда, все вместе будет.

И выпивал, чокнувшись с зятем, Б.В. Калюжным, ныне тоже покойным.

Валерий Яковлевич не часто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной, и со свояченицей, Брониславой Матвеевной Рунт, одно время состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона». Обстановка квартиры приближалась к стилю модерн. Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковлевич разбирался неваж-

¹ Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 г. в журнале «София». Брюсов после того сказал мне при встрече:

– Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их.

Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтобы я верил. Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то, повысив голос, чтобы я слышал:

– Вот мы сегодня с В.Ф. говорили об авгурах...

Ни о каких авгурах мы не говорили.

но, однако имел пристрастия. Всем прочим художникам Возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конельяно.

Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 года, новоиспеченным студентом, получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

– Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть – восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующей походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки¹. Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С.М. Соловьевым. Больше гостей не было: «среды» клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать – пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», «Попрошайка». Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С.М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам и Ева» и «Орфей – Эвридике». Потом С.М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покорило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как

¹С годами эти черты в нем усиливались и под конец приняли несколько карикатурный оттенок. Тут, по-видимому, проявилось его сходство с отцом.

Ср. воспоминания проф. Н.И. Стороженко.

я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать «мое». Я в ужасе отказался.

* * *

В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта, многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее *литераторами*, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом *месте* в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа – все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, – но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось.

Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унижить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай» – эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость – означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример – Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, – тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или журнале. Так последовательно воспрещалось участие в «Гриффе», потом в «Искусстве», в «Перевале».

Власть нуждается в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством – и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были обставлены театрално. В ответ на приглашение он не отвечал ни да ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало. Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо помню, как однажды, в 1905 году, в одном «литературном» доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: придет или нет?

Каждого новоприбывшего спрашивали:

– Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?

– Я видел его вчера. Он сказал, что будет.

– А мне он сегодня утром сказал, что занят.

– А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.

– Я его видел в пять. Он не будет.

И каждый старался показать, что ему намерения Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову.

Наконец Брюсов являлся. Никто с ним первый не заговаривал: ему отвечали, если он сам обращался.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи: «Бальдеру – Локи»:

Но последний царь вселенной,
Сумрак, сумрак – за меня!

* * *

У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял его, знакомясь с начи-

нающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах.

Вообще в нем как-то сочеталась изысканная вежливость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре с А.И.Тиняковым, писавшим посредственные стихи под псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой, слегка пьяный, произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так:

– Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога – тьфу! (Тут он отнюдь не символически плюнул в зеленый квадрат цветного окна.)
– Был бы только Валерий Яковлевич, ему же слава, честь и поклонение!

Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения:

– Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!

* * *

Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Это во всяком случае было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Неплохо он относился к З.Н. Гиппиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту, вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности – к самому Каину. В юности, может быть, он любил еще Александра Добролюбова, но впоследствии, когда тот ушел в христианство и народничество, Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяжническую жизнь. Иногда приходил в Москву и по несколько дней жил у Брюсовых: с Надеждой Яковлевной, сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл всех братьями и сестрами.

Однажды я застал Брюсова в литературно-художественном кружке. Было часа два ночи. Брюсов играл в *Chemin de fer*. Я удивился.

– Ничего не поделаешь, – сказал Брюсов, – я теперь человек бездомный: у нас Добролюбов.

Он не возвращался домой, пока Добролюбов не «уходил».

Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее постельной поэзией. Тут он был неправ. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь. Но любовниц своих он не замечал.

Мы, как священнослужители,
Творим обряд –

слова страшные, потому что если «обряд», то решительно безразлично с кем. «Жрица любви» – излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, *человеческого* лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой – «обряд» останется тот же. И, не находя, не умея найти человека во всех этих «жрицах», Брюсов кричит, охваченный ужасом:

Я, дрожа, сжимаю труп!

И любовь у него всегда превращается в пытку:

Где же мы? На страстном ложе
Иль на смертном колесе?

* * *

Он любил литературу, только ее. Самого себя – тоже только во имя ее. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юности: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и «поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно». Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес нескольких живых людей и, надо это признать, самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории

литературы. Такому научному кирпичу он способен был поклоняться, как священному камню, олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось тридцать лет, он сказал мне буквально так:

– Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут.

Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала ему о каких-то стихах, что они ей не нравятся. Брюсов оскалился своей, столь памятной многим, ласково-злой улыбкой и отвечал:

– А вот их будут учить наизусть в гимназиях, а таких девочек, как вы, будут наказывать, если плохо выучат.

«Нерукотворного» памятника в человеческих сердцах он не хотел. «В века», назло им, хотел врезаться: двумя строчками в истории литературы (черным по белому), плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и – бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.

* * *

Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороной, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.

С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли – из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Осенью 1911 года, после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда – 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пи-

ли прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что *расстанутся навеки*. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.

Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, отправился я поздравлять.

Я пришел часов в 10. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевой.

Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка пахнущий вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:

– Вот при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!

Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?» – резко спросил:

– А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?

Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:

– По-моему, надо вам играть простые бубны.

И, помолчав, прибавил:

– И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.

– Ну, а я сыграю семь трэф.

И сыграл.

* * *

Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры – все это искусственному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия

«хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.

В азартные игры Брюсов играл очень – как бы сказать? – не то чтобы робко, но тупо, бедно, обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечувствительность к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился – не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал той же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:

Они Ее видят! Они Ее слышат!

А он не слышал, не видел.

Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно – смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.

В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.

Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.

По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу «Опыты» – собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.

Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пэоном первым! И как просто-душно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники.

– Почему ж не вошло? – спросил он.

– Плохо, – отвечал я.

– Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!

В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть – жердь – твердь он нашел четвертую – умилосердь – и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С.В. Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.

* * *

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов...

Это двестише Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.

В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.

Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила « ак» вместо «как», «оторый», «инжал».

Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с

Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.

Разница в годах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты как «Стихи, сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.

С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова – между ней и домашним очагом. С лета 1913 года она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер – подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется – 23 числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне – меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.

Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские Ведомости» и в «Русское Слово».

Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускной бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики это-

го не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.

Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»... На ближайшей среде «Свободной Эстетики», в столовой Литературно-Художественного Кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» – писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки, – он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание – и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему

Мертвый, в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий, –

а каждая строфа начиналась словами: «Умершим – мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.

За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское Слово» и «Русские Ведомости».

* * *

Он страстную, неестественную любовью любил заседать, в особенности – председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционную власть председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол», – все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 годов он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «прочно» и «странно», вздумал, в качестве домовладельца, баллотироваться в гласные городской думы – московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-Художественного

Кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.

Осенью 1914 года он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. И.И. Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной Эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова – время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских Ведомостей». Мысли о юбилее он не оставил.

Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С.В.Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.

К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.

После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:

– Поляки – антисемиты куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.

Отказаться от удовольствия справить юбилей он не мог.

Этот злосчастный юбилей он справил-таки в Москве, в декабре 1924 года. Торжество происходило в Большом театре. По городу были расклеены афиши, приглашающие всех желающих. Более крупными буквами, чем имя самого Брюсова, на них значилось: «С участием Максима Горького». Хотя устроители и, конечно, сам Брюсов отлично знали, что Горький в Мариенбаде и в Россию не собирается.

* * *

Как и почему он сделался коммунистом?

Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Во время русско-японской войны поговаривал о масонских заговорах и японских деньгах.

В 1905 году он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал:

– Я знаю, что такое марксизм: грабь что можно и – общность мужей и жен.

Ему дали прочесть Эрфуртскую программу. Прочитав, он коротко сказал:

– Вздор.

Я пишу воспоминания, а не критическую статью. Поэтому укажу только вкратце, что такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу не содержат никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» – это программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал:

– Que faire? J'aime les t-t-troubles¹.

(Аристократ был заика.)

Эти слова можно было бы поставить эпиграфом ко всем радикальным стихам Брюсова из эпохи 1905 года. Знаменитый «Каменщик» также не выражал взглядов автора. Это – стилизация, такая же подделка, такое же поэтическое упражнение, как напечатанная тут же детская песенка про палочку-выручалочку, как песня сборщиков («Пожертвуйте, благодетели, на новый колокол») и другие подобные стихи. «Каменщик» точно так же не выражал взглядов самого Брюсова, как написанная в порядке «исчерпания тем и возможностей» «Австралийская песня»:

Кенгуру бежали быстро –
Я еще быстрее.
Кенгуру был очень жирен,
И я его съел.

Само происхождение «Каменщика» – чисто литературное. Это – не более и не менее, как исправленная редакция стихотворения, написанного еще до рождения Брюсова. Под тем же заглавием оно напечатано в «Лютне», старинном заграничном сборнике запрещенных русских стихов. Кто его автор – я не знаю.

Пока фельетонисты писали статьи об обращении «эстета» Брюсова к «общественности», Брюсов на чердаке своего дома учился стрелять из револьвера, «на случай, если забастовщики придут гра-

¹Что делать? Я люблю беспокойства (фр.).

бить». В редакции «Скорпиона» происходили беседы, о которых Сергей Кречетов сложил не слишком блестящие, но меткие стишки:

Собирались они по вторникам,
Мудро глаголя.
Затевали погромы с дворником
Из Метрополя¹.

.....
Так трогательно по вторникам,
В согласии вкусов,
Сочетался со старшим дворником
Валерий Брюсов.

В ту пору его младший брат написал ему латинские стихи с обращением:

Falsus Valerius, duplex lingua!²

В 1913 году он был приглашен редактировать литературный отдел «Русской Мысли» – и однажды сказал:

– В качестве одного из редакторов «Русской Мысли» я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бернгардовичем (Струве).

Впоследствии, накануне февральской революции, в Тифлисе, на банкете, которым армяне чествовали Брюсова как редактора сборника «Поэзия Армении», он встал и, к великому смущению присутствующих, провозгласил тост «за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии». Об этом рассказывал мне устроитель банкета П.Н.Макинциан, впоследствии составитель знаменитой «Красной Книги ВЧК». (В 1937 году он был расстрелян.)

* * *

Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей «творцов», полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни.

Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне су-

¹Издательство «Скорпион» помещалось в здании Метрополя.

²Лицемерный Валерий, с лживым языком (лат.).

ществующей власти, какова бы она ни была, – лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было

все равно,
Цезаря влечь иль пирата.

Все поэты были придворными: при Августе, Мecenате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т.д. Это была одна из его любимых мыслей.

Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердую властью», он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием: «Как кончить войну» и с эпиграфом: «*Si vis pacem para bellum*». Идеей брошюры была «война до победного конца».

После «октября» он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», – в начале ноября встретила со мной у поэта К.А. Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:

– Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жидаы.

В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он – в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона Учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом.

Но это было вполне последовательно, ибо он увидел пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, – и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, ибо не все ли равно, во имя чего, – была бы власть.

В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое, с его точки зрения, было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально покровительствуемой эстетической политики, новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать

писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними – единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «В таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.

* * *

Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось невозможным, – коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который, в сущности, остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили. Ему предоставили несколько более или менее видных «постов» – не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил «заседал» и «заведовал».

От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался Союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении Литературно-Художественного Кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении Московского Совета, и Союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев, тогдашний председатель Совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана Лито, совершенно мертвому учреждению, которым он заведовал. Я состоял членом правления Союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил к Брюсову. Выслушав меня, он ответил:

– Я вас не понимаю, Владислав Фелицианович. Вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения.

Услышав про «должностное лицо» и «вверенное учреждение», я уже не стал продолжать разговор. Библиотеку перевезли в Лито.

К несчастью, ревность к службе заходила у Брюсова и еще много дальше. В марте 1920 года я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале. Прележав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как

есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, причем я все время наткнулся на какое-то невидимое, но явственно осязаемое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я – человек неблагонадежный. Примечательно, что даже «по долгу службы» это не входило в его обязанности¹.

* * *

Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае – попрекали былой принадлежностью к «буржуазной» литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, «обрести звуки новые». К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть – вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревенения, трудноусвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся – и потому Брюсов-поэт оказался, по существу, ненужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с «поста» на «пост», порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 году Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу с не менее важной должностью в Гуконе, то есть... в Главном управлении по коннозаводству². Что ж? Он честно трудился и там и даже, идя в ногу с нэпом, выступал в печати, ведя кампанию за восстановление тотализатора.

¹Покойный критик Ю.И. Айхенвальд, высланный из России в 1922 г., писал мне впоследствии: «О Брюсове... И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя – я это знаю наверное, из источника безукоризненного – произошла при его содействии» (письмо от 5 августа 1926 г.).

Брюсов, конечно, видел свое полное одиночество. Одно лицо, близкое к нему, рассказывало мне в начале 1922 года, что он очень одинок, очень мрачен и угнетен.

Еще с 1908, кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться, – но не мог. Летом 1911 года д-ру Г.А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917 году, во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату – и вернулся помолодевшим.

В конце 1919 года мне случилось сменить его на одной из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровавыми пятнами. Последние годы он часто хворал – по-видимому, на почве интоксикации.

Одинокий, измученный, обрел он, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сладостями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу.

Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его.

Сорренто, 1924

²Как ни странно, некоторая логика в этом была: самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, – две статьи о лошадях в одном из специальных журналов: не то «Рысак и Скакун», не то «Коннозаводство и Спорт». Отец Брюсова, как я указывал, был лошадиник-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями.

Андрей Белый

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга», Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (нелегким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может <быть> низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас *возвышающую правду*: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного – полноты понимания.

* * *

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском

бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик – Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам – феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам – учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых годов) Н.Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросил его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» – «Это мой папа», – отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К.Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны – одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 году я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда – столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Коти-

ка Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чуде», и в «Москве под ударом» завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это – варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схоже с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве¹. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и – смею сказать – потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком иль песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы, и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содомы и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: недаром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами во все противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивались любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстин-

¹Тожеству действующих лиц и их ситуации в романах Андрея Белого была мною посвящена статья «Аблеуховы – Летаевы – Коробкины». См.: Современные записки. 1927. Кн. 31.

ктивным отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью – и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначе. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») – и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей – и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно – вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать – внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником – мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями – «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром,

прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

* * *

Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее – в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и, если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому – и в тайной надежде его вернуть, возбуждая ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно», однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

– Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором

иносказательно и эвфемически изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

– Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

– Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

– Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились – при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

* * *

В 1904 году Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключаящих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его присталь-

ного внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать – оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшей то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые, в свою очередь, влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных, и в конечном счете – во всей истории символизма. Много в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно разнились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, и то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала перед тем, как ответить ему согласием. Следствие беловского отступления нетрудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больше, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по-настоящему, всем существом и, по моему глубокому убеждению, – навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, – кричал, что отвергнуть его лю-

бовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа – порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком метелей» – слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.

* * *

В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней – и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладными с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизированные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву – она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера – признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот – крупных и мелких. Крупные касаются Любы¹, Натальи Николаевны² и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

– Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, шупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяваться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, смягченный вином, признался мне в своих по-

¹Любовь Дмитриевна, жена Блока.

²Артистка Н.Н. Волохова, которой посвящена «Снежная Маска».

дозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы – вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

– Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

– Меня надо звать *бедная Нина*.

Мы с Белым переглянулись – о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед – в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов «Петербурга».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два – и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни *с нею*, ни *без нее*.

* * *

Четыре года, протекавшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании – никогда. Тогда же он учи-

нял и самые фантастические из публичных своих скандалов, – однажды на сцене Литературно-Художественного Кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у храма Христа Спасителя, в Новодевичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен: *gemutlich* – по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось – читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

– Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

– Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» – четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» – два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них было труднее. Однако у меня с Белым

тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в тот время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» – и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым – ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания не иначе как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составилась при издательстве «Мусагет». Внесмысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта – особ, которым совсем не того хотелось.

– Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над «Критикой чистого разума»!

Или:

– Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!

– Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

– Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять:

– Ах, мадмуазель Штаневич!

– Борис Николаевич! Станевич!

– Боже мой! Неужели? Какое несчастье!

А у самого глаза веселые и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б.Н. Бугаев занят и просит не беспокоить».

– Это я от девиц, – объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался: «Надоел Пастернак». Полагаю, что Пастернаку – «Надоел Ходасевич».

Однажды – чуть ли не в ярости:

– Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! – А сам в то же время писал ей длинейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 году я поселился в деревне, и мы стали реже видаться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что наконец он счастлив.

* * *

В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н.А.Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне – рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эриниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вождедения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербург» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крещеном китайце» Белый без него и обошел-

ся. С событиями 1905 и 1914 годов связаны только «Петербург», «Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было – дать очередной вариант своей излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудак» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен, так же как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть – о преступлении сына против отца.

Только в «Петербурге», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая – политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как

темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать – его чувство на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходов. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Саарове, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, – должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

– Кто это?

– Ночной сторож.

– Ага, значит – полиция? За нами следят?

– Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги – сторож отстал. На нашу беду, в гостиницу, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколом. Наконец он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

* * *

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху Французской революции), исписывал вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 года я жил в Петербурге. Весной 1921 года переселился туда и он, там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки – теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» – лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы – да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне – для пятого выпуска «Записок Мечтателей». То был последний выпуск, отредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге – из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, – доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

* * *

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему обитателями Дорнаха.

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объяснить, кое-что выяснить в отношениях. Потому-то и рвался за границу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям-антропософам и их руководите-

лю, «на плече которого некогда возлежал», о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя – послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом нестоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается «посольства», дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими проходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем дело как раз шло к Рапалльскому договору. Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему опять же могли быть не только политические причины). Наконец в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел – и услышал подчеркнуто обывательский вопрос, заданный отечески-снисходительным тоном:

– Na, wie geht's?¹

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

– Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!²

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика³. Мы встретились летом 1922 года, когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выцвели – стали почти что белыми.

С осени он переехал в город – и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов

¹Ну, как дела? (нем.).

²Трудности с жилищным управлением! (нем.).

³О его жизни в Цоссене см. замечательные воспоминания Марины Цветаевой в Современных записках. 1934. Кн. 55. В той же книге мною опубликованы три письма его.

вносил он свои «вариации» – искаженный ответ неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались – в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому – чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. по всякому поводу он мыслию возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund'e и нечаянно поступая вполне попрутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, он сказал мне:

– Хочется вот поехать в Дорнах да крикнуть доктору Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!¹

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть, и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил как на угольях. Свои страдания он «выкрикивал в форточку» – то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливый пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen, болезненную, запутанную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor – не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он догола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие – с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С.Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастью, он был уп-

¹Господин доктор, вы – старая обезьяна! (нем.).

рянее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал – чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец остановились на том, которое предложила Н.Н.Берберова: «Начало века». Иногда его прорывало – он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне одну историю. После пятого повторения (каждое – минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: «Пустите же, я вам хочу рассказать...»

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, теперешняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображению многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую рану.

К весне он стал все-таки устывать. С горькой улыбкой говорил: «Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?» Из Москвы приезжала антропософка К.Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: «Хо-

чет меня на себе женить». – «Да ведь вы сами хотите жениться?» – «Не на ней! – яростно хрипел он. – К черту! Тетка антропософская!»

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил – и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного «в постель уложить». Во-вторых – потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: «Помните, что мы здесь вас любим!»

* * *

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще – искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М.О.Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопатывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел – рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) – в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, не-

ожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас *«пойти на распятие»*. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе и такого «мандата» ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, «всю жизнь» я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения: пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что «распинаться» за нас он не будет. Напротив...

По существу он был неправ – даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его – несмотря на все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К.Н. Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 года, в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию – свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней приукрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решил исправить этот

недостаток. Но в это самое время были опубликованы неприятные для него письма Блока – и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 года, то есть почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии – все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательно не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких ныне живущих в советской России. Будь они за границей – и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более – на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он рабо-

тал с увлечением истинного художника – и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы¹.

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее – не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 года от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

Париж, 1934–1938

¹О воспоминаниях Белого см. также мои статьи в газ. «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 г. и от 27 мая 1938 г.

Муни

1

Я все-таки был

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятьсот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был *симптомом*, а не *тип*.

Мы познакомились в конце 1905 года Самуил Викторович жил тогда в Москве, «бедным студентом», на те двадцать пять рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори», под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни (хотя под конец он стал подписываться: С. Киссин). Так буду и я называть его здесь.

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года, в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд-военные чиновники и скончался в Минске 28 марта 1916 года. След, им оставленный в жизни, как и в литературе, не глубок. Но незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне:

– Заметь, что я все-таки был.

Предвестия упрядняются

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе – тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скопилось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначным, очертания предметов казались шаткими. Действительность, расплывшись в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире – и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, – мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали как *предвестия*. Чего?

Как и многим тогда, нам казалось, что вскоре должны «наступить события». Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними. Но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за «скептицизм» и «карканье». В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно:

Стихам Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати – двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В «лесу символов» мы терялись, на «качелях соответствий» нас укачивало. «Символический быт», который мы создали, то есть символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика.

Мы с Муни сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубашке и белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т.д. Казалось, это стоит один человек – перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись:

– А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил левую. Первый сделал еще какое-то движение – второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев как мел. Потом успокоился и сказал:

– Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается.

В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.

– Да что там! Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось.

Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой.

– Ну, что же? – сказал я. – Что-то не ломается.

Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена по-

середине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его.

В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В.Ф. Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни:

– А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?

– Попробуйте.

– Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В.М. Антик был издателем желтых книжек «Универсальной Библиотеки». Все трое мы в ней работали.)

– Что ж, пожалуйста, – сказал Муни.

Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик.

Муни сказал Ахрамовичу с укором:

– Эх, вы! Не могли пожелать Мессию.

Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял:

– Предвестия упраздняются.

Он надевал синие очки, «чтобы не видеть лишнего», и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развевающимся рецептом.

3

Из неоконченного (d'inacheve)

Муни не был ленив. Но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его: открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, – и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись – за все надо было брать-ся чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено.

Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо недорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил, что у него, как у Козьмы

Пруткова, главные произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью: «Из неоконченного (d'inacheve)».

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым – во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня только Б.К.Зайцев да покойный С.С.Голоушев (Сергей Глаголь) умели к нему подойти с любовью. А он в ней очень нуждался.

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне – в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

– Дай-ка я погляжу глазами. Голосом – смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

– Боже, какая дрянь!

Или:

– Что я тебе сделал дурного? За что ты мне это такое читаешь?

И начинал разбор, подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни наконец говорил:

– Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши: Николай Поярков.

(Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете.)

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упойтельным похвалам». Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что, как ни полезна мне Мунина строгость, все же в конце концов она меня и задушит. Иногда наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к че-

му-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону:

– Нет, прости, не приду.

– Почему?

– Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров.

И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.

4

Тень от дыма

В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а все-го чаще – просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамека, другие не понимали нас вовсе – и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы.

Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем – и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье, –

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную по-

году, весной и летом, происходили свидания «у звезды»: мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда.

Все, что лежало за пределами этой *нашей* жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муни как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, – и все-таки ее нет.

Все, за что брался Муни, в конце концов не удавалось и причиняло боль – потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то «другим концом» ударяло по нему. В конце концов все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь, он отвечал морщась: «Ну, к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно «лить воду на мельницу действительности». Но всем, живущим без этого страха и отвращения, он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал:

– Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпитафию:

Другие дым, я тень от дыма,
Я всем завидую, кто дым.

Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»

Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бо-

родой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.

– Видишь ли, – говорил он, – меня, в сущности, нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.

И кончал по обыкновению цитатой:

– Моя мечта – это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.

В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает «довоплотиться» в спокойного и благополучного Переяславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и наконец Переяславцев убивает его.

После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, – больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни «по причинам полицейского, паспортного порядка».

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи *не читая*. Только Ю.И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел «Русской Мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора.

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши «смыслы» становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т.д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съедали один калач. В довершение всего Муни бунтовал против Беклемишева («лез из кожи», как мы называли), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это – довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напе-

читал в одной газете стихи за подписью – Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы.) Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый Домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно – исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся «в себя», хоть не сразу. К несчастью, «беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако мы жили в такой внутренней близости и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.

6

Обуреваемый негр

Муни написал две маленькие «трагедии» довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем». И еще: «Это-го ни-че-го не будет».

В последнем действии на сцене изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет:

– Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декорации устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.

В этой «трагедии» Муни предсказал собственную судьбу. Когда «события», которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под

их «слишком реальными» декорациями. Последнею и тягчайшей «неприятностью» реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:

– Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.

Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами – в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма «оттуда» были полны отчаяния. «Реальность» надела на него самую страшную форму. Все попытки высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: «Ведь он в тылу. Чего ж еще?» – и по-своему было право.

Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25 марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск, на рассвете 28 марта Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная».

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил Муни по телефону.

– Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как – помнишь? – ты в пустой квартире у Михаила».

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: «наше» не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер.

Robinson, сентябрь 1926

Гумилев и Блок

Блок умер 7-го, Гумилев – 27 августа 1921 года. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему – я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных меж собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы – и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев – лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга – и этого не скрывали. Однако в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 года, в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы

фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее – все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

– В сущности, это не моя квартира, – ответил Гумилев, – это квартира М. – Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете. Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям, Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, – любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стала называться «Лидином», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 году я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.

Посидев, сколько следовало для столь натянутого визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его – тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле не-

погрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорек, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец – в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки – в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А.Ф. Кони – и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художественный Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитера, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слышал».

* * *

В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. «Дом Литераторов», одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские

чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные «Дни русской культуры».) Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А.Ф. Кони, Н.А. Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел приготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители «Дома Литераторов» – Н.М. Волковыский, Б.И. Харитон, В.Я. Ирецкий. За столом президиума, в центре – Котляревский (председатель), по правую руку от него – Ахматова, Щеголев и я, по левую – Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.

Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности – заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под несочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:

– Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.

По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.

Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, с обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение...» Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

– Не ожидал я от Блока такой бестактности.

Однако в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаяни-

ем. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие – свободу, хотя бы «тайную». И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.

Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако на этот раз в его опоздании на вечер, и в его фраке (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.

Вечер был повторен три раза. Я наконец написал свою речь («Колebleмый треножник») и читал ее. «За кулисами», в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только те вечера мы с ним говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета), так вышло, что в какой-то пустынной комнате за холодным клеенчатым столом, просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С.М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор».

В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою – полунамеками, смутно, спутанно, но за его словами ощущалась суровая, терпкая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.

* * *

Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее

причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были мирозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «сокрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Недаром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два усложняющих обстоятельства. На ученика – Гумилева – обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю – Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной», казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых – Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Еще года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое общество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи – О.Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, и не сочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, «Цех» заглох. В начале 1921 года Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет ли это *первый* «Цех», т.е. беспартийный, или *второй*, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в «Доме Искусств», много хворал и почти ничего не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:

– Да потому что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова

отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

– Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? – спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

– Я там пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их. «Цех» показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена – молодого стихотворца Нельдихена. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривой глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, притом дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголовые проповеди и плохие хозяйки –
О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона...

Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть: изливания Нельдихена уже были в славе. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельдихен кончил, Гумилев в качестве «синдика» произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость донныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако пора ей

иметь свой голос в литературе. Глупость – такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двестише Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять, –

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в «Цехе». К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет.

– Не мое дело, – сказал он, – разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен – поэт, и мой долг – принять его в «Цех».

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Однако я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены «Цеха», в том числе и я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно – повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не поднимать истории», чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами «Цеха», которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мошеннического и коммерческого свойства. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из правления не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседани-

ях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из «Цеха».

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная Газета». В редакцию вошли А.Н. Тихонов, Е.И. Замятин и К.И. Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и «Цеха». Называлась она «Без божества, без вдохновенья». «Литературная Газета» прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов «из ничего».

Это был мой последний разговор с Блоком. Но издали я его видел еще один раз. 1 марта был назначен вечер его стихов в Малом театре. По советскому времени было уже почти восемь часов, по-настоящему пять. Не спеша шел я по Театральной улице, потому что люблю это время дня. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же – торопливый, но слабый голос:

– Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, задыхаясь, без умолку лепетала: о том, что волнуется за Сашу, что мы вот-вот опоздаем, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей (Чуковский должен был сказать вступительное слово). Потом – что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Сашки побаливает нога, но главное, главное – как бы нам только не опоздать! Наконец мы пришли. Места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала – должно быть, на сцену.

Во втором отделении, после антракта, вышел Блок. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколь-

ко стихотворений – с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина: «с важностью». Слова она произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. Последним он прочитал «Перед судом» – одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?
Посмотри, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала – в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой – не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать!», «Двенадцать!» – но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал), все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, – и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы.

Через несколько дней, уже больной, он уехал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал.

В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творче-

скую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.

* * *

Мой уход из «Цеха Поэтов» не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в «Доме Искусств», и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он как птица небесная, говорил – что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомого. Знакомец был молод, приятен в общении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сладостями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать «Дом Поэтов» (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь – из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но, после того как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не

было. И вот, как два с половиной года тому назад, меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В.И.Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго – «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать уйму книг. Упрекал меня:

– Вот, мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю – и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе – и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

– Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14 числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам, у костров, собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком по-

Гумилев и Блок

мянуть Блока. Я предложил спеть «Коробейников», которых он так любил. Странно – никто не знал «Коробейников».

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полупауками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после всех этих смертей.

В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу «Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении публика стала вызывать:

– Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

Париж, 1931

Гершензон

Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнею ночью, в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мною калитку, Гершензон пошутил:

– Вот какой вы народ, поэты: мы о вас пишем, а нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи о нас, об историках.

– Погодите, Михаил Осипович, вот я напишу о вас.

Он усмехнулся в усы:

– Не напишете. Ну, покойной ночи.

– Покойной ночи.

Я потом всегда помнил свое обещание, не раз брался и за стихи, – да так и не написал их: все казалось мне слабо и недостойно его.

Но все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение «2-го ноября». Речь идет о том дне, когда, после октябрьского переворота, люди в Москве впервые

Повыползли из каменных подвалов
На улицы.

Дальше – рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осиповичу:

К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, –
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.

Книжка вышла в 1920 году, и Гершензон тогда же читал ее, но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 году, посылая ему из Петербурга второе издание, дополненное, я внутри, на полях, против приведенных строк, приписал: «Это про Вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и вышло. 23 октября 1924 года

он писал мне: «Не знаю, где вы теперь... Сажу дома, хожу по комнате, читаю – сегодня читал Ваше «Путем зерна».

Вероятно, он взял именно второе издание, прочел, увидел мою приписку – и захотел написать мне. Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 года. Я ответил на него спустя несколько дней, но сам уже не получил ответа: Гершензон умирал.

* * *

Летом 1915 года я послал Гершензону оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его, – все же не представлял себе Гершензона иначе как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются «солидные ученые». Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором *единственной* статьи о Пушкине.

Однако приехавший вскоре Б.А. Садовской пришел ко мне как-то вечером и сказал:

– Пойдемте завтра к Гершензону. Он вас зовет.

Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травой двор. Во дворе направо – сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее – семья его. Небольшая столовая служит и для «приемов». А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно.

Хоть и ободренный письмом и зовом (через Садовского) – все же впервые пришел я сюда не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых семь лет, до последнего дня пред отъездом моим из России, ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами, и новыми стихами, и задуманными работами, и, кажется, всеми огорчениями и всеми радостями, хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много.

* * *

Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами, нависающими на пухлый рот; с глазами слегка навывкате; с мяси-

стым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, – наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко-еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оканием заправского волгара.

Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие (человеку до пояса) книжные полки; два стола: один – вроде обеденного, но не большой, другой – письменный, совсем маленький; низкая, плоская кровать у стены, с серым байковым одеялом и единственной подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокою спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно – историческое, из кабинета Чаадаева.

Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть – Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги – только самые необходимые для текущей работы; прочие – в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего.

* * *

Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В восьмидесятых годах, да и позже, для филолога было два пути: либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря – служба по министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик Гершензон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два – и не вынес: послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов попасть не мечтал: под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью; у Гер-

шензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное: из министерства получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая: на филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея: он сем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в «чудо» и решил, что Михаил Осипович *уже крестился*. Кончилось дело если не родительским проклятием, то во всяком случае – полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут – снова беда: дисциплина была в те времена не шуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять: дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже... за неимением форменного пальто ему дали николаевскую шинель! Николаевскую шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен! Она была ему так непомерно велика, что:

– Вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках.

Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность.

* * *

Тыча себе тремя пальцами куда-то «под ложечку», туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит:

– Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром, до сих пор, а выше я всегда спокоен и ясен.

Житейские тревоги часто доходили ему «под табак». Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мугили прекрасной чистоты его духа.

Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых «людей мысли». Не притворялся и бесребреником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя «в этом деле максималистом». Книжная лавка писателей стоном стояла, когда, в 1919 году, он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки.

В тяжкие годы революции он занимался «полезными изобретениями». Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающийся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп.

Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, – не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но – ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг так весело поглядит – и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль хлопотать за арестованного писателя.

* * *

Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, – но дурею; кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу – тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, – а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика – с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся.

Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весною семнадцатого года мы с ним однажды отправились в Художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Камергерскому переулку. Вечер только еще наступал. Магазины сияли. По тротуарам сплошной стеной шел народ – главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился:

– Послушайте, это что за улица?

– Михаил Осипович, что с вами? Да ведь это Тверская.

– Тверская? Ага! Фу-ты, какая здесь роскошь, однако!

Его понятия о «роскоши» были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве. В 1920 году мы жили в одной санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою. Но – на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая:

– Фу-ты, какой он франт!

Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать «роскошное» платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатались со смеху, слушая модные наблюдения Михаила Осиповича: выходило, что дама одета была в каких-то одних только «позументах» и «декольте».

Летом 1923 года, в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом:

– Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я было вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..

Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.

Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм.

* * *

Те, кто прожил в Москве самые трудные годы – восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, – никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу громадное количество времени, труда и нервов, он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудные минуты Союз шел все к нему же – за советом и помощью.

Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду – и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что, если б не Гершензон – плохо мне было бы в 1916–1918

годах, когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением.

Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, – прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, но и не сглаживал углов, не золотил пилюль.

– Начистоту! – покрывал он. – Начистоту!

Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношении к детям, была эта *чистота правды*.

* * *

При всей доброте не был он слеп. В людях тщательно разбирался и, не будучи по природе обидчиком, просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но если не находил – вычеркивал человека из своего обихода.

При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал:

– Он похож на магазин с вывеской: «любой предмет – пятьдесят копеек на выбор».

Однажды я высказал удивление: зачем Х, что бы ни писал поминает про свою ссылку в Сибирь?

– Ну как же вы не понимаете? – сказал Гершензон. – Это же его орден; орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром.

Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего Поля к Арбатским воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг, в начале Арбата, он кинулся к выходу. Я стал его удерживать:

– Куда вы? Нам еще две остановки.

– Нет, нам слезать!

И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинуся:

– Зачем вы меня удерживали? Что ж, вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет, уж лучше пойдем пешком.

– Да кто это?

– Профессор Р., самый надутый дурак, какого я знаю.

Не вынося глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, он был незлобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: «Новое о стихосложении Пушкина». Книжка, однако ж, была завернута в номер не то «Земщины», не то «Русской Земли» – с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смеялся, а говоря о Боброве, всегда прибавлял:

– А все-таки человек он умный.

* * *

Еще в начале знакомства он вдруг спросил:

– У вас хороший характер?

– Неважный.

– Ну, значит, скоро перессоримся: у меня ужасный характер. Вот вы увидите.

Слава Богу, мы не поссорились. «Ужасного» в его характере оказалось одно упрямство. В общем он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними. Но часто бывало иначе: он вдруг безнадежно махал рукой и, воскликнув: «Бог знает что вы говорите!» – резко переходил на другую тему.

Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь было у него два «пунктика», против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это – пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе: безвкусица. Но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились.

Дважды мне довелось делать с ним общую работу; иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж надо отдать справедливость: в тех случаях, когда уступать приходилось ему, он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли: признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь более верный.

Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. В свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для проверки догадок, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его «Мудрость Пушкина» оказалась в известной мере «мудростью Гершензона». Но, во-первых, это все-таки «мудрость», а во-вторых – то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, «что и не снилось нашим мудрецам». Но, конечно, бывали у нас и такие, примерно, диалоги:

Я. Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

Гершензон. А я знаю, что это так!

Я. Да ведь сам Пушкин...

Гершензон. Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть, и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия.

К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печорине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он «чувствовал» умерших, как живых. Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил:

– Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый...

* * *

Он терпеть не мог, чтобы его называли критиком. «Я историк, а не критик», – поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым; Вячеслав Иванов, Сологуб, Блок были его любимыми поэтами; высоко ставил и лично любил А.М. Ремизова, любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. В общем же был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых.

За девять лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна – и беспощадна. Резко, «начистоту» высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими сло-

Гершензон

вами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона. Ибо знал, что и брань, и похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать.

Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения¹. Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно бы написать слова из Послания Пушкина к Чаадаеву:

Всегда мудрец, а иногда мечтатель.

Сорренто, 12 апреля 1925

¹ 31 августа 1926 г. в Известиях ВЦИК было напечатано письмо С. Мицкевича, зам. председателя жилищной секции ЦЕКУБУ (т.е. центральной комиссии по улучшению быта ученых). «В практике жилищной секции ЦЕКУБУ, – писал Мицкевич, – имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнения, страдания и мытарства, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников (доктор Тезяков, известный профессор-литератор Гершензон и др.)».

Сологуб

И верен я, отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плывал
И Ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю
И соблазняя соблазню.

Федор Сологуб

У тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.

Федор Сологуб

Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появился – древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразений...» – так начинается предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радужным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слу-

шал – и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.

Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мелкогато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины – седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, – большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:

– А вы все еще существуете?

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.

А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.

* * *

Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленней, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) – напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное – они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует.

Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может – слишком. Число его стихотворений выражается цифрой во всяком случае четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб, несомненно, знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.

Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка – и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова – не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах – да и то разве лишь по-сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой – и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.

Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически немолодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь – без молодости, его поэзия – без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживая физически, других он пережил поэтически: умер в *полноте* творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.

Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.

Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция – наш конек. Открыли «эволюцию» – и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы и каким ему давно пора было сделаться.

К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности – его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилён. Эволюция была бы налицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец – то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые в случае эволюции должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, – на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.

Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любование речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:

НЕКРОПОЛЬ

Не забудем же дорог
В Божий радостный чертог,
В обители блаженных,
И пойдем под Божий кров
Мы в толпе Его рабов
Терпеливых и смиренных.

Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам – в 1898 году? А вот – о земле:

Вы не умеете целовать мою землю,
Не умеете слушать Мать-Землю сырую,
Так, как я ей внемлю,
Так, как я ее целую.

О, приникну, приникну всем телом
К святому материнскому телу,
В озарении святом и белом
К последнему склонюсь пределу, –

Откуда вышли цветы и травы,
Откуда вышли вы, сестры и братья.
Только мои лобзанья чисты и правы,
Только мои святы объятья.

Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».

Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.

И в 1911 году он писал:

Прекрасные, чужие, –
От них в душе туман;
Но ты, моя Россия,
Прекраснее всех стран.

Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей лю-

бовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.

Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?

Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклоненья, –
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.
Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познания,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.

Это сказано в большевистской России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:

Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма,
И не верю темным бредням
Суеверного ума.

Посягнуть на правду Божью –
То же, что распять Христа,
Заградить земною ложью
Непорочные уста.

Или:

В ясном небе – светлый Бог Отец,
Здесь со мной – Земля, святая Мать...

Но – через несколько страниц снова:

НЕКРОПОЛЬ

Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей.

А пока что – восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греси со мной».

По совести – очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, – так же как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она – без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда *слагался* Сологуб, мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся – и таким пребывавшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу всегда неизменно. Как жизнь Сологуба – без молодости, как поэзия – без ювенилий, так и духовная жизнь – без эволюции.

Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально и верно и какие в нем самом были противоречия. Оно – ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.

«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразований, я спокойно и просто открываю свою душу», – говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному кругу» и не устает повторять это в стихах и в прозе.

Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразований. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем – Я, и только Я, и

нет иного, и не было и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные». В процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью – переходом к новому циклу:

И все, что жило и дышало
И отцвело,
В иной стране взойдет сначала,
Свежо, светло.

То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).

Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, – как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит эта жизнь – Ева, «бабища дебелая и румяная». Это – грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихоту. Но и в последующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вожделенных».

Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:

НЕКРОПОЛЬ

Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездой
Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет мерцающий Маира
На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колелет тихо ясный лик Маира
Своей волной.

Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Маир.

Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно, и во всяком случае не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова – это уж непременно:

Кто смеется? Боги,
Дети да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,
Пусть смеются боги,
Дети да глупцы.

Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож-резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?» «Она Селениточка – а на селе ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если видит, то страшные или злые.

Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя – пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», – намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мои милые современники, это о вас».

О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее – он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, т.е. лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:

– Вы делаете мне больно.

И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил¹.

В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старал-

¹Сам Андрей Белый («Начало века». С.448) передает эту сцену несколько иначе: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинув мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и – облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: «Ой, сделали больно, – и пальцы тряс, сморщась, – ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?» И качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал».

Должно заметить, однако, что лицо, рассказавшее мне об этом эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами.

НЕКРОПОЛЬ

ся не видеть их и не слышать:

Быть с людьми – как бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем – суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу в конечном счете решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.

На Ойле, далекой и прекрасной,
Вся мечта и вся любовь моя...

На земле знавал он только несовершенный отсвет любви ойлейской.

* * *

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил – и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминична, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

...Рассказать, чем сердце жило,
Чем болело и горело,
И кого оно любило,
И чего оно хотело.

Так мечтаешь хоть недолго
О далекой, об отцветшей.
Имя сладостное Волга
Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частью в Костроме, частью в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:

Снова саваны надели
Рощи, нивы и луга.
Надоели, надоели
Эти белые снега,

Эта мертвая пустыня,
Эта дремлющая тишь!
Отчего ж, душа-рабыня,
Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,
К шумным стогнам городов,
На размах аэроплана,
В громыханье поездов,

Или, жажду жизни здешней
Горьким ядом утоля,
В край невинный, вечно вешний,
В Элизийские поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times'e, а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов и т.д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была при-слана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вы-

вернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста¹.

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор – на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны – у П.Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 года – у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года – вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Недаром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто даже немислимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни

¹Ее сестра, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жила в Москве. В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено речей не произносить. Однако какой-то коммунист, растолкав присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что, хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накопело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знаменем Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый («Начало века». С. 447) пишет, что обе сестры покончили с собой «на почве психического заболевания».

Сологуб

«пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:

Тирсис под сенью ив
Мечтает о Нанетте
И, голову склонив,
Выводит на мюзетте:
Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,
К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь.
И эхо меж кустов,
Внимая воплям горя,
Не изменяет слов,
Напевам томным вторя:
Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,
К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь...

Париж, январь 1928

Есенин

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: «Стихи. 1920–24». Тут были собраны пьесы новые – и не совсем новые, т.е. уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике – итог целой жизни и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел «Собрание стихов и поэм» его – первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: *сейчас* говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны; мне показалось, что так ли, иначе ли, – судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них – значило либо недоговаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря, в Петербурге, в гостинице «Англетер», «Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

* * *

Он родился 21 сентября 1895 года, в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с ма-

теринской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает: «18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий... Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова».

«Грянул» он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А «идеи» если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он, в сущности, не знал. Для него родина – своя деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае – ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонushка, не страна: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия – Русь, Русь – деревня.

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг – крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля:

Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытатъ людей в любви,
Выходил Он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

НЕКРОПОЛЬ

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой.
– Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог – отец. Земля – мать. Сын – урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинаящий Есенин – полужычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мифа. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о христианстве Есенина было бы рискованно. У него христианство – не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожно и светло.
Плещет алый мак заката
На озерное стекло.

И невольню в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

Вот оно: небо – корова; хлеб, урожай – телок; небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест от-

носится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

* * *

В конце 1912 года, в Москве, стал ко мне хаживать некий Х. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С.В.Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что Х. в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Х. не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывало, придет – на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что – нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, – они хоть и все превзошли, а ни к чему вовсе, да... Любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно уж – красного петуха (неизвестно что: *пустят* или *пустим*). Чтобы, значит, был царь – и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жида (а Вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции – земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных – тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь – она вся хрестьянская, да. Мужик – что? Тьфу, последнее дело, одно слово – смерд. А только ему полагается первое место, потому что он – вроде как соль земли...

А потом, помолчав:

– Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

– Бова твой подобен солнцу: заходит налево – взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем Х. изнывал от зависти: не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Ключева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну – с предисловием Брюсова, другую – со вступительной статьей В. Свенцицкого, который без обиняков объявил Ключева *пророком*.

Действительно, гораздо более даровитый, чем Х., Ключев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. Х., понятно, не усидел: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, однако не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Ключевым: все трое – в русских рубашках, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре, в одном из своих очерков петербургской литературной жизни, хорошо рассказал Г. Иванов:

«Приехав в Петербург, Ключев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

– Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

– Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку – много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Ключев сидел на тахте, при воротничке и галстук, и читал Гейне в подлиннике.

– Маракую малость по-басурманскому, – заметил он мой удивленный взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистой, ох голосистой. Да что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, – он подмигнул, – если не торопишься, может, попудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

– Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, – сейчас обряжусь...

– Зачем же вам переодеваться?

– Что ты, что ты – разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку – я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

– Ну, вот так-то лучше!

– Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

– В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский *stile russe*, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламно. Но Клюев, хоть и «маракал побасурманскому», был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, – но барину не перечил: пушай забавляется. А сам между тем не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам Религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, – выжидал. Чего?

* * *

То, что мой Х. выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится приблизительно следующее:

Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, – накипь, которую надо соскоблить. Мужик – единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник – все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высижены в Петербурге чиновниками, он отменит, ради своих законов, неписаных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит, и вместо церкви синодской построит новую – «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Такова программа. Какова же тактика? Тактика – выжидатель-

ная. Мужик окружен врагами: все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. Следовательно, пока что ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать: кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит – это пока все равно: хулиган ли мастеровой пойдет на царя, царь ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину – безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли – все солома. Только бы полыхнуло.

Такова была клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то чтобы простоват, а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, неосознанно, в клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок – подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив:

О, Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!

.....
Довольно гнить и ноеать,
И славить взлетом гнусь –
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси – в ряду с Алексеем Кольцовым, «смирренным Миколаем» Клюевым и беллетристом Чапыгиным:

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Грядущее уничтожение «смердящих снов», установление «иной крепии» видится Есенину еще смутно. «Звездный шум», который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по-разному. Но Есенин уверен в одном: что

...не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

Освобожденная Русь – град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой развернется мужицкая удаля. Иначе сказать – через революцию. Появление этого сознания – важнейший этап в душевной биографии Есенина.

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но – это нужно заметить – в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И пока она длилась, Городецкий и Клюев явно ориентировались направо. Книга неистово патриотических стихов Городецкого «Четырнадцатый год» у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок – золотое перо. Он возил и Клюева в Царское Село, туда, где такой же мужичок, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщиной.

Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Клюева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он сусальным мужичком, носил щегольские сафьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком; на шнуре висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Клюева и Есенина в трамвае, в Москве, когда приезжали они читать стихи в «Обществе свободной эстетики». Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. По ориентации на Царское Село – тоже.

* * *

Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива».

По-видимому, эта вторая, московская автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской: на сей раз Есенин в особом, дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал: именно – о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915–1917 годов. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах: например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому: 3 октября вместо 21 сентября; церковно-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто и т.п. Что же касается неприятной темы о сношениях с Царским Селом, то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал наконец момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. (Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина.) Так ли, иначе ли – Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное.

«В 1916 году был призван на военную службу», – пишет Есенин. «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника-Иванова. По просьбе Ломана, однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее».

Тут, несомненно, многое сказано – и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно, были какие-то связующие звенья, а главное – обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто «по просьбе Ломана». По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкции «Друга» или его кругов. Ей было во всяком случае не до стихов, тем более – никому не ведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее ау-

диенцию было трудно, – а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе: это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан и которые были близки к императрице... Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царскосельских кружков: он, как-то вскользь, бросает фразу о том, что жил в Царском «недалеко от Разумника-Иванова». Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником-Ивановым.

Далее Есенин пишет: «Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя»: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) – трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 – начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно – и уж во всяком случае разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона.

Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому, хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает хоть и очень темно и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было «в грозе и буре патриотизма» и что оно пришлось «кстати» для «общества распутинской складки», Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи. О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что, когда «юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарной батальон». Это значит, конечно, что за какой-то «бунт», может быть под пьяную руку, офицеры поугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, «избежал». Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припом-

нил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отставку в дисциплинарный батальон. Таким образом он выставлял себя как бы даже «революционером».

Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября «повернулся лицом к большевистским Советам». В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что «искал поддержки в Иванове-Разумнике». Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, в что последнюю минуту прикинется к тем, кто первый подожжет *Россию*; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею, взлетит мужицкая *Русь*. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых – в рядах левых там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и малоизвестны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году был он на каком-то большевистском собрании и «приветливо улыбался решительно всем – кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово... и сказал:

– Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...

В автобиографии 1922 года он написал: «В Р.К.П. я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее».

«Левее» значило для него – дальше, позже, за большевиками, над большевиками. Чем «левее» – тем лучше.

* * *

Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург (я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались), то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности.

Небо – корова. Урожай – телок. Правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана, – произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого – искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле. Земля – мать, родящая от неба. Единственное религиозно правое делание – помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие.

Сам Есенин заметил, что образ телка-урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок рождается от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ: земля-корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел, а набредя – почувствовал, что это в высшей степени отвечает самим основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула, небо-корова, должна была не то чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. (Впоследствии мы узнаем, что так и случилось: Есенин к ней вернулся.)

Россия для Есенина – Русь, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отождествление: если земля-корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие «родина», и любовь к родине олицетворится в любви к корове. Этой корове и несет Есенин благую весть о революции, как о предшественнице того, что уже «больше революции»:

О, родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Процесс революции представляется Есенину как смешение неба с землей, совершаемое в грозе и буре:

Плечью трясем мы небо,
Руками зыбим мрак
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный злак.

НЕКРОПОЛЬ

О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом!
На золотой повети
Гнездится вешний гром.

Овсом мы кормим бурю,
Молитвой поим дол,
И пашню голубую
Нам пашет разум-вол.

Грядущее, то, что «больше революции», есть уже рай на земле, и в этом раю – мужик:

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,
Что в праздник он носил,
Глядит, как месяц, зябко
На снег родных могил.

* * *

Все, что в 1917–1918 годах левыми эсерами и большевиками выдавалось за «контрреволюцию», было, разумеется, враждебно Есенину. Временное правительство и Корнилов, Учредительное собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы – все это одинаково была «гидра», готовая поглотить загоревшуюся «Звезду Востока». Возглашая, что

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира, –

Есенин искренно верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против:

Сгинь ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились:

Господи, я верую!
Но введи в Свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходит в мир последняя истина:

За горой нехоженой,
В синеве долин,
Снова мне, о Боже мой,
Предстает твой сын.

По тебе молюся я
Из мужичьих мест;
Из прозревшей России
Он несет свой крест.

Далее, силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие «Инонии», то увидим, что все образы христианского мифа здесь даны в измененных (или искаженных) видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит оттого, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есе-

нинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.

Бог-отец = небу = истине.

Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей.

Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого *могло бы* не быть, если бы не «контрреволюция». Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, т.е. хоть и временное, но полное торжество врагов, – только робко и вскользь упомянуто: это именно потому, что контрреволюция, с которой, так сказать, как с натуры, Есенин писал муки своего Христа в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, *есенинский* Христос и не распят: распятие упомянуто ради полноты аналогии, для художественной цельности, но – вопреки исторической и религиозной правде (имею в виду религию Есенина).

Потому-то «Пришествие» и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом:

Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О, верю, верю – будет
Телиться твой восток!

В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долог срок до встречи,
А гибель так близка!

Т.е. верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции. Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодо-

вания. И то и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал главную свою мысль. Негодовать было тоже напрасно или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу – с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христовой – этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева.

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец – закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость:

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

Таково будет царство телка. И оно будет – новая Русь, преображенная, иная: не Русь, а *Инония*.

* * *

Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до «Инонии» не было, – потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное, вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и признавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны и что он, да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве, – с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с «народом»

и с «землей», на твердую уверенность, что «народ» и «земля» это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которою обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувство, – подпадал под чужие влияния.

В 1917 году влияние Ключева, по существу близкого Есенину, сменилось левозеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшая ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что «есть Социализм и социализм». Что социализм с маленькой буквы – только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства... Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов». «Новая вселенская идея (Социализм) будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества». «В христианстве страданиями одного Человека спасался мир: в Социализме грядущем – страданиями мира спасен будет каждый человек».

Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме. Хронологически статья писана после «Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником.

Не утрашуся гибели,
 Ни копий, ни стрел дождей, –
 Так говорит по Библии
 Пророк Есенин Сергей.

Тут Есенин заблуждался. «Инонию» он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не «по Библии», а «по Иванову-Разумнику».

Есенин, со своей непосредственностью, перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубо-кощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что

Есенин «борется» не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем «Анти-Христом», под властной рукой которого двадцать (?) веков росла и ширилась историческая церковь. По Иванову-Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего Социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым... упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался «страданиями одного Человека»... Нет уж, честное антихристианство Есенина в «Инонии» больше располагает к себе, чем его ивановская интерпретация.

Не будем играть словами. Есенин в «Инонии» отказался от христианства вообще, не только от «исторического», а то, что свою истину он продолжал именовать Иисусом, только «без креста и мук», – с христианской точки зрения было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, – но это не меняет самого факта.

Другое дело – литературные достоинства «Инонии». Поэма очень талантлива. Но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно-безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты «Инонии».

* * *

«Инония» была лебединой песней Есенина как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет, сходились или не сходились в его писаниях логические концы с концами, худо ли, хорошо ли, – как ни судить, а несомненно, что Есенин высказывал, «выпевал» многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был «пророком». Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок, – но пророком. С «Инонией» он высказался весь, до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать – или не настать. По меньшей мере, Россия должна была к ней двинуться – или не двинуться.

Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность; мягкие, но уверенные движения; лицо некрасивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища.

Мы не часто встречались и почти всегда – на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились, уже на рассвете, у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости – да так оба и не собрались. Думаю, потому, что Есенину был не по душе крут моих друзей, мне же – его окружение.

Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию – и били их. Основным образом делились на два типа. Первый – мрачный брюнет с большой бородой. Второй – белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором, слегка «нестеровского» облика. И те и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того «потребует революция». Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК. Кое-кто из серафимических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были.

Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 года, Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо – и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Пригласилась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть – и простодушно предложил поэтессе:

– А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою.

Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевистскими «сферами».

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою

«социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в числе строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин.

В начале 1919 года вздумал он записаться в большевистскую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что «больше революции», вступление в РКП было бы огромнейшим «понижением», что из создателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР? Думаю — не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Моя мать родина! Я большевик».

«Пророческий» период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее.

* * *

Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к Социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики не попутчики. И вот он бросает им горький и ядовитый упрек:

Веслами отрубленных рук
Вы гребете в страну грядущего!

У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет «Пугачева», а затем едет куда-то в деревню — прикоснуться к земле, занять у нее новых сил.

Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но, по слабости человеческой, он не захотел заметить внутренних, органических причин, по которым она и после «грозы и бури» не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на «город», на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в «погибельный рог». По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактичес-

НЕКРОПОЛЬ

ки остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне – и отравляют ее:

О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб бревенчатый живот
Трясет стальная лихорадка.

И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится же-
ребенок, он проклиняет:

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной Аллилуйя.
Оттого-то, в сентябрьскую склень,
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то выросла тужиль
В переборы тальянки звонкой,
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность и оз-
лобление:

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как веер, затих и присел,
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Он сравнивает себя, «последнего поэта деревни», с затравленным
волком, который бросается на охотника:

Как и ты, я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови
Мой последний смертельный прыжок.

Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. «Нет любви ни к деревне, ни к городу». Избы и дома ему одинаково не милы. Ему хочется стать бродягой:

Оттого, что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами –

Оттого, что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого, но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя оттого же, отчего и он сам: оттого, что не сбылись ее надежды на то, что «больше революции», «левее большевиков»; оттого, что бывшее она сгубила, а к тому, о чем мечтала, – не приблизилась:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

.....
Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Где же вы, те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.

НЕКРОПОЛЬ

Нет, таких не подмять. Не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты Рассея моя... Рассея...
Азиатская сторона!

С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами советской России. Теперь ему стали мерзки большевики и те, кто с ними. Опостытели бывшие приятели, занявшие более или менее кровавые, но теплые места:

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мгlistом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

.....
Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал.

Да! теперь решено! Без возврата
Я покинул родные поля.

.....
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

.....
Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки
Душу мою затыкать.

В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в има-

жинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача.

Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское «турне» по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризующийся быстрой сменой настроений.

Прежде всего Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе – и мысли, конечно, сразу обратились к деревне:

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось Рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,
Шлю привет воробьям и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что отскандалил...»
.....

Он пишет глубоко задушевное «Письмо к матери»:

.....
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне.
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

НЕКРОПОЛЬ

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

.....
Не буди того, что отмечалось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

Наконец, он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование – самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше – ничто.

* * *

Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник «Запевки» с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут «писатели из народа», знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде Чурилы Пленковича, в шелковых лапотках. Ведь такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, – вряд ли когда и был, и уж, во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом:

«Многоуважаемый Владислав Фелицианович!

Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду «гневаться» за высказанное Вами, – наоборот, рад, что слышу искренние слова.

Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев., Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или «Летописью» в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочки омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех

этих истерических воплей, называемых торжественно «лозунгами»... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к Тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну, как не очароваться такими картинками?..¹

И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь «Гранд-отель», а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженная курсистка или с Вейнингером в руках, или с «Ключами счастья».

Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?..

Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки. О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса, мой слаб для этого...»²

Когда Ширияевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», – знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее – совершенно такого былинно-песенного «народа» никогда и не было? Думаю, знал, но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в «сказку», «а без сказки какое житье на свете?».

Ширияевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый «народ». И Есенин жил «в сказке», лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.

Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора – деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. «Вновь посетив родимые места», он с ужасом замечает:

¹ Далее следует полностью стихотворение С.Клычкова «Мельница в лесу», которое опускаю.

² Конец письма опускаю: он не имеет отношения к данной теме.

НЕКРОПОЛЬ

Какое множество открытий
За мною следовало по пятам!

Сперва он не узнает местности. Потом – не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю «под маврикийским дубом». Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что «на церкви комиссар снял крест». Пришли домой – он видит: «на стенке календарный Ленин». И вот –

Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Сестра же, «раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал», «разводит» ему «о Марксе, Энгельсе»:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И, слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому –

По-байроновски наша собачонка
Меня встречает лаем у ворот.

Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом – эта правда все же существовала. Но в стихотворении «Русь советская», получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта – ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, – нет. Есть – грубая, жестокая, пошлая «Русь советская», распеваящая «агитки Бедного Демьяна». И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от «народа» – было заблуждением:

Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Он прощается с деревней, обещая смиренно «принять» действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии (это случилось раньше) – теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалась сама идеальная, избяная Русь.

Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погружаясь в нэповское болото (за границу уехал он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью даже в городе, Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходов. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах) были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом «Доме Печати». О бестактности и унижительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова «простили». Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболев, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года, в Италии, что так «крыть» большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России; всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции – доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать «расхождения» между «рабоче-крестьянской» властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.

Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он «вернуться к родному краю». Снова пытался смириться: отказавшись и от Инонии, и от Руси – принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за библию СССР, за Марксов «Капитал», – и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец он сделал последний, действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся Инонии только еще начинала ему открываться:

НЕКРОПОЛЬ

– Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть.

* * *

История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, – не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что «больше революции», а она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию.

И, однако, сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, – и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его – любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана:

Я люблю родину,
Я очень люблю родину!

Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Расею, пытался принять даже СССР – одно лишь верное имя не пришло ему на уста: *Россия*. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка и развязка его трагедии.

Chaville. Февраль 1926

Горький

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о Соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпустить детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили А.Н.Тихонов и З.И.Гржебин, воровавшие

делами «Всемирной Литературы». Приезжал Шалапин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин – во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П.П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии – сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького – работа моей племянницы – стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабанила пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», – и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза Писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю.К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

– Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бен-

кендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозванию Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители – по делам «Дома Искусства», «Дома Литераторов», «Дома Ученых», «Всемирной Литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы – просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных – словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и наконец сказал:

– Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не противившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно – грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать – мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз

смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии – каюсь – я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 года. Присутствовали Лашевич, Иванов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 года я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 года, и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожи-

даясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля – в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец в начале октября мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу – часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек – стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков – красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось – он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем – чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

– Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил больше всего. Другое дело – партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось наконец установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо сам писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работу проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, скидывал он плечами и удивлялся:

– Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотри на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость,

когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился три дня. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! – закричал он. – После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок – недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендую о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

* * *

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть и речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, – ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыва-

тель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бредили в себе и лелеяли, как душевную рану, ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927–1928 годах я несколько раз указывал покойному А.А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот – я должен покаяться перед человечеством: эта злощастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 года, Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят – прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как и весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим напустился – других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи,

а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось – сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные дымоходы сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже были столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М.И. Будберг, комната Н.Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую – И.Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е.П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболев, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П.П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

– Это мой карандаш!

– Нет мой!

– Нет мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырвались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух – яд для организма», – говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

– Да он же мне нужен!

– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и, если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце восходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», – потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» – заказать семь ванн, и часом с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу –

туда и обратно – с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это – сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

* * *

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за столом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города – положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю – не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников – до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображаясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях – Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами – вплоть до вымогательства. Те

же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, неосознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следовательно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным маркси-

стом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть – лучшим из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классово-борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека», – провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и – главное – нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик – не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он – умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек – это великолепно! Это звучит гордо!» – вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме то-

го, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрерывного преодоления действительности – надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты приводили его в восторг и трепет. Сознание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты – делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой
 Мир дорогу найти не сумеет,
 Честь безумцу, который навеет
 Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и дятле, неизменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная, деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», – писал он Е.Д.Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ошетилившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

* * *

13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, – чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А у нас? думаю я. И – извините! – до слез, до злости завидно, и больно, и тошно и т.д.».

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

– Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, – разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам его же и бранил, но первая реакция почти всегда была – слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и в протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же – в начинающем писателе (опять-таки – в очень даже малообещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели – вплоть до изобретателей перпетуум- мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, – вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку, он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, живше-

го в Алесслио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обраться при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость – должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» – рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы (вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором – ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот – Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманые расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

– Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, по-

ставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

* * *

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, – и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды – во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие *он требовал для себя права мечтать* о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все разрушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел – и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fête*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты *в порче песни*.

В этом – весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные известия. Однажды я сказал ему:

– Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.

Он ответил, насупившись:

– Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

* * *

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме Искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его через два дня привезет А.Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне

стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать – я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать – зимой, с мальчишкою-проводятым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду и – кто знает? – может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну – зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения со многими членами императорской фамилии. И вот однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и, таким образом, утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 году он мне сам рассказал все это – не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

- Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?
- Были.
- Почему же она не попросила их показать?
- То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив, и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется, они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог и не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришлось в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

* * *

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь – даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное – он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться – даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 года он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано: «Джиоконда, картина Микель-Анджело», а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие будто бы¹ отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Сверх строки мною вписано «будто бы» тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда – только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это – опять только «театр для себя». И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя», как о свершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, *давным-давно у него*

¹ Слова «будто бы» вписаны над строкой.

имелся. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 года, в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М.И. Будберг. Заведующий издательством С.Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, – и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности – повторю – перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» – а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нужный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

* * *

«То – люди, а то – человеки», – говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, – презирал, обзывал «мещанами». Однако ж он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей души серенькие, все подрумянятся желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал,

что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько собственному, сколько некоему чужому, притом – коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов в эпоху первоначальной, нежданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора – крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, – чистые денежки», – говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычайной, но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот – я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз и навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв – в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае могу ругаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, кото-

рый был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или, наоборот – воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, – он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что делаешь, надо, а то биографию испортишь».

* * *

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, – огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержке; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, – может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромнен – даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она главным образом от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того – от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например – с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, – и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив – непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново напи-

сать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя сознавал беспомощным – и страдал от этого самым настоящим образом.

– А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

– Плохи, Алексей Максимович.

– Жалко, ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которой этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив – мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю.И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 года, в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького – один под настоящим именем, другой под псевдонимом – и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», – под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельною радостью:

– Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах Горького, и вдруг выпалил:

– А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Горький

Не помню, что Горький ответил и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

– Вы не вздумайте Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голые монахини.

* * *

Перед тем как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

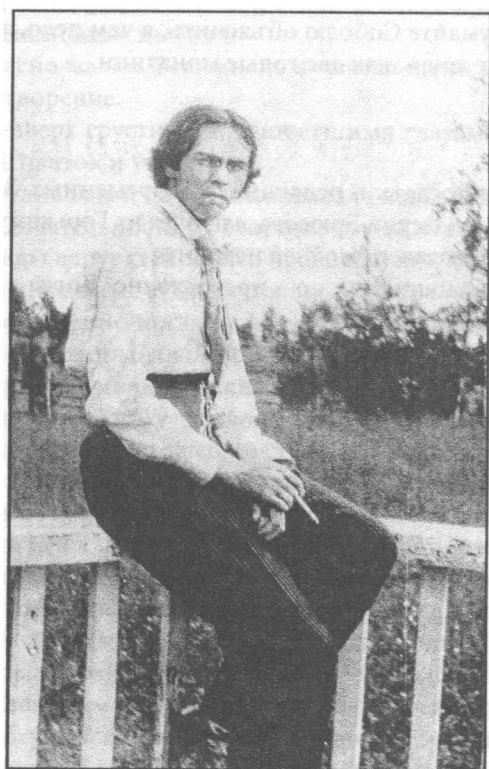
– Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

– Хорошо, Алексей Максимович.

– Не забудете?

– Не забуду.

Париж, 1936



Вл. Ходисевич

ЛИТЕРАТУРА *и* ВЛАСТЬ

Завтрак в Сорренто

В числе моих воспоминаний, связанных с Горьким, есть довольно забавные. Вот – одно из них, которое мне приходится озаглавить почти по-тургеневски: «Завтрак в Сорренто».

Действие происходит в 1925 году, но я начну с несколько более ранней поры.

Писателя Х. (не русского, иностранного) встречал я у Горького еще в Германии, в 1922–1923 годах. Написал он всего две-три жиденькие книжечки каких-то заметок, отрывков о том о сем. Однако был ужасно передовой, увлекался дадаизмом, сюрреализмом, коммунизмом, когда-то знаком был с Марселем Прустом, а главное – был чрезвычайно богат: имя его значится в числе даже не двухсот, а двух-трех богатейших фамилий. Разумеется, он везде был принят и всех принимал у себя. В его салоне банкиры и представители владетельных домов встречались с советскими писателями.

Порхая с идеи на идею, из салона в салон, любил он залетать и в чужие страны. В одно из таких его путешествий я с ним познакомился. Маленький, щупленький, на тоненьких ножках, с лысинкою, покрытой цыплячьим пухом, говорил он тоненьким голосом – словно мяукал. Было ему лет под сорок, но после обеда огромный лакей, состоявший при нем, уводил его в спальню (словно бы уносил под мышкой), под струей умывальника мылил и мыл ему ручки и мохнатым полотенцем вытирал пальчики. Лакей спал с ним в одной комнате, из которой наутро поклонник Пруста и Ленина рысцою бежал по коридору – пить кофе, болтать о революции. Горький с ним обращался, как старый сенбернар с новорожденным котенком. Казалось, вот-вот возьмет он его зубами за шиворот и отнесет под лестницу к матери. Х., однако же, хорохорился: дрыгал ножками и без умолку пищал о самоновейшем. Кому-то из наших дам посвятил он стихотворение в прозе: изображалось, как он, где-то в Сибири в страшную стужу, гуляет с этою дамою по берегу озера, тихие волны которого отражают меланхолическую луну и задумчивых лебедей, а с деревьев сыплется много снега, а ямщик идет сзади, звонит в ко-

локольчик и поет тихую песню о Ленине. Само собой разумеется, что Х. рекомендовался величайшим почитателем Горького. Болтовню его, впрочем, никто не слушал. Довольствовались тем, что благодаря своим связям он умел хорошо пристраивать книги Горького в иностранные издательства.

* * *

На Пасху 1925 года английская королева (ныне вдовствующая) должна была приехать в Сорренто. Ожидали по этому поводу большого наплыва туристов. Семейный траур, однако же, удержал королеву в Англии. Соррентинское население приуныло – сезон был сорван. Хозяин прибрежного отеля, в котором для высоких гостей были сняты апартаменты, находился в состоянии, близком к отчаянию. Появление Х., конечно, не могло его утешить, но все-таки Х. появился и снял ту самую комнату, в которой должна была жить королева. Лакея на сей раз при нем не было, зато был ражий детина, которого он нам отрекомендовал в качестве своего друга. Друг был курчав, черноволос и смугл. Могучие формы выпирали из его одежды, явно снятой с чужого плеча. Из коротких рукавов вылезали огромные волосатые руки. За все время своего пребывания в Сорренто он не произнес ни слова. Глядел исподлобья. Х. то и дело поглядывал на него с кокетливой нежностью. По всему было заметно, что они познакомились несколько дней тому назад.

На вилле «Сорито», где жили мы с Горьким, счастливая чета появилась в страстную пятницу, к пятичасовому чаю. Х., по обыкновению, щебетал, сучил ножками, рассказывал о недавних своих путешествиях, впечатлениях, встречах. Друг молча ходил по кабинету Горького. Максим, сын Горького, тихонько толкнул меня:

– Поглядывайте, как бы чего не спер.

Визит был непродолжителен. При прощании Горький пригласил обоих друзей к завтраку – послезавтра, в первый день католической Пасхи.

Гостей на «Сорито» бывало немного – а тут намечался целый прием. К завтраку, кроме Х., ждали проф. Старкова с семейством (он жил по соседству), накануне приехала еще одна общая приятельница из Рима. Всего – человек семь гостей. Приготовления начались с утра. Обеденный стол был увеличен при помощи вставных досок. Расставлялись приборы, не хватало стульев, хозяйки были в волнении.

В ожидании завтрака я сидел у себя на балконе. День выдался пасмурный, душноватый. Надвигался сирокко. Вдруг к воротам под-

катил запыленный, громоздкий автомобиль – такси из Неаполя. Я не мог разглядеть человека, который из него вышел: он стоял спиной ко мне и что-то говорил своему незримому спутнику, оставшемуся в машине. Потом он быстро вошел в ворота, а машина отъехала.

Из Неаполя в Сорренто ездят либо на пароходе, либо кружным путем – по железной дороге до Кастелламаре, а оттуда в трамвае. Появление неаполитанского такси свидетельствовало о том, что приезжий – человек новый в здешних местах. Кто же бы мог быть этот неожиданный гость?

Вскоре в саду под моим балконом появился Максим. Я окликнул его:

– Кто приехал?

– Консул, – ответил Максим.

– Какой консул?

– Наш.

– Какой наш?

– Советский.

– Да разве в Неаполе есть консул?

– Недавно назначили.

– Да зачем же он приехал?

– А вот хочет засвидетельствовать почтение Дуке и похристосоваться с вами.

Дука – домашнее прозвище Горького. По этому поводу позволю себе сделать небольшое отступление. В эпоху первой эмиграции, когда Горький жил не в Сорренто, а на Капри, его тогдашняя жена – М.Ф. Андреева старалась создать легенду вокруг него. Домашней прислуге, лодочникам, рыбакам, бродячим музыкантам, мелким торговцам и тому подобной публике она рассказала, что она – русская герцогиня, дукесса, которую свирепый царь изгнал из России за то, что она вышла замуж за простого рабочего – Максима Горького. Эта легенда до крайности чаровала романтическое воображение каприйской и неаполитанской улицы, тем более что Андреева разбрасывала чаевые с чисто герцогской щедростью. Таким образом, местная популярность Горького не имела ничего общего с представлением о нем как о писателе, буревестнике, певце пролетариата и т.д. В сущности, она была даже для него компроментарна, потому что им восхищались, как ловким парнем, который сумел устроиться при богачке, да еще герцогине, да еще красавице. Все это рассказывал мне Максим, который терпеть не мог свою мачеху. Думаю, что отсюда же возникло и прозвище Дука, то есть герцог. Возможно, впрочем, что оно имело иное происхождение.

Пробило, наконец, час. Гости собрались. За стол, однако же, не селись, и я тотчас заметил некое замешательство. Дверь в кабинет Горького была заперта. Его секретарша, баронесса М.И. Будберг, вышла оттуда с озабоченным лицом и спросила Максима:

– Может быть, позвать доктора?

– Да нет, обойдется, – сказал Максим. Но лицо у него было мрачное. Думая, что внезапно заболел Горький, я пытался узнать, в чем дело, но мне в ответ что-то бурчали и проходили мимо. Наконец позвали к столу. Горький вышел наконец, пропустив вперед консула. Это был парень лет тридцати, в дешевеньком костюме табачного цвета. Лицо у него было скуластое, нос – картошкой, выражение лица сосредоточенное, но не умное. Казалось, он был в состоянии обалдения. Мотнув головой, что означало общий поклон, он сел рядом с баронессой Будберг. С другой стороны от нее посадили Х. Очувшись в обществе баронессы и иностранного консула, Х. тотчас принялся лепетать на великосветские темы, забрасывая консула вопросами: успел ли он уже познакомиться с маркизом таким-то? не правда ли, маркиза очаровательна? собирается ли консул играть в гольф или предпочитает теннис? правда ли, что английский посланник в Вене собирается покинуть свой пост – и как это будет печально, ибо ведь это один из любезнейших людей в Европе, – и прочее, все в том же роде.

Консул, бывший рабочий, незадолго до войны эмигрировавший из России в Италию, а ныне назначенный на свой пост потому, что слегка умел калякать по-итальянски, не понимал вопросов, задаваемых по-французски. Баронесса Будберг пыталась быть переводчицей, но он все равно не мог поддержать столь изящной беседы. Х. все же не унимался, а баронессе ничего не оставалось, как передавать ему воображаемые ответы консула. Между тем сам представитель дипломатического мира был занят едой. Вилку и нож он крепко держал в сильных своих кулаках, как весла: если бы он вытянул руки, то острия этих непривычных инструментов оказались бы обращены не внутрь, а наружу, в разные стороны. Оттяпав кусок мяса, он клал нож на стол, вилку перекладывал из левого кулака в правый, насаживал на него еду, отправлял ее в рот и жевал, могуче работая скулами. Потом опять брал нож и вилку, и трудная операция начиналась сызнова. В общем, он хмурился, почти ничего не говорил, сидел сторбившись и время от времени шупал себе бока. Если представить себе весь стол как некий оркестр, то пришлось бы сказать, что баронесса Будберг была дирижером, консул – фаготом, рычавшим редкий аккомпанемент, а Х. – первой скрипкой, которая неумолчно выводила

писклявую фиоритуру на бледном фоне всех остальных инструментов. Горькому вовсе не нашлось партии – он все время молчал с выражением досады или скуки.

Днем, часов в пять, я отправился на прогулку. Возвращаясь домой через Сорренто, на площади у кафе я увидел стоящий автомобиль – тот самый, что утром привез к нам консула. Сам консул сидел за столиком в обществе Максима и мордастой девицы с портфелем и в роговых очках. Оказалась она секретаршей консула, приехавшей с ним вместе, но не взятой к Горькому и просидевшей весь день в Сорренто. Тут же стояла Максимова мотоциклетка с прицепной коляской. Рассчитывая доехать домой с Максимом, я присоединился к обществу. Консул на этот раз держался бодрее, говорил, что теперь чувствует себя лучше, а было уже думал, не сломано ли ребро. Наконец он сел с секретаршей в такси и уехал в Неаполь, а мы с Максимом остались еще посидеть. Я спросил у Максима, почему так хмур консул и что случилось с его ребром. Максим, весь день старавшийся делать серьезное лицо, сразу развеселился:

– Да вздули его сегодня, вот он и раскис!

– Как вздули? Кто? Где?

– Солдаты вздули, в Кастелламаре.

– Какие солдаты?

Признаюсь, я уже вообразил себе ужасную расправу озверелых фашистов с представителем пролетарского государства. К изумлению моему, Максим ответил:

– Наши солдаты, русские.

Оказалось, что в Кастелламаре живет целая группа русских солдат. Еще во время войны они бежали из австрийского плена, пробрались в Италию, были там интернированы – да так и остались. Узнав об их существовании, консул решил разом убить двух зайцев: по дороге в Сорренто заехал к солдатам и стал их «пропагандировать». Вот тут-то они его и избили, и в гости к Горькому он едва доехал, покрытый синяками.

Если читатель припомнит, несколько лет тому назад в газетах писалось о бывших русских солдатах, учинивших бунт в Кастелламаре, в каком-то не то приюте, не то доме умалишенных, где они очутились. Вот это и есть те самые несчастные люди.

За вечерним чаем зашел разговор о консуле. Горький сказал, вздыхая:

– Черт их дери, наших умников. Назначают вот эдакого осла консулом!

Ни консула, ни Х. мне больше встретить не довелось. Знаю толь-

ко, что год или два спустя Х. ездил в Москву, представился Луначарскому, поднес ему свою книжку с надписью, но Луначарский на этот раз выказал немалую проницательность: и самого Х., и его книгу, и все его советофильство он довольно язвительно высмеял в «Красной Нови». После этого Х. перестал большевизанить и вообще, кажется, бросил литературу.

1938

Горький <2>

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей начиная с 1921 года либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни – потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие – потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной степени прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что мно-

гое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе – писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

* * *

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А.Н. Тихонова и З.И. Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей при «народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и Наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 года, ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н... однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича: Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной Литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными зна-

ками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах Красной армии. Поэтому я ответил Н..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств Н... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней с Госиздат.

Заведовал им В.В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой – может быть, даже слегка подвивал ее – и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

– Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

– Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть – в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающее себе карманы на заказах советского правительства – в частности, комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать

к Юденичу, и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так называемый Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя Московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было справедливо, потому что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева – не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В.Э.Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш скоморошина!
Ты седлай свово коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет вымести,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!»
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю – и т.д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевистская колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же казалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 года, когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведовать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

– Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников – и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

* * *

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917–1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не до-

ходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева – как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу – отдыхать и лечиться. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку – в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать – об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозитя арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно – Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар – можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта – воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама – под условным названием Мара. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила

«домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором идет речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски – с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т.п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В.И. Икскуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 году ее муж был убит крестьянами у себя в имении – под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент Октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог взять ее с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького, ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большею частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время Кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встреченным рабочим, кричали:

– Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и наконец в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что само восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева – не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решил ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком – по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

* * *

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, – о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Times'е, а Сологуб – наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов – и т.д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря:

«Пойдемте, я вам покажу штуковину», – и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22-м числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». – «Не осел, а сукин сын», – возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял.)

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальным: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю – меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем на него надвигалась еще беда, еще одно поражение – может быть, самое тяжкое из всех понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле наконец переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворявшийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращен-

ный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т.д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось – лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать, – замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой okazji кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве – а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

– Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случалось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький наконец понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

* * *

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которые нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было бы сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для Вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду увидеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: «До свидания со мной – подождите принимать предложения «Накануне»».

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видал и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странным, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!» В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос – где же написать? – он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднее осенью Горький меня убедил переселиться в городок Saagow, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 года в России существовала только военная цензура. В 1922 году была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов<етской> России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные Записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по

новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрirosсийский рынок, а затем границу закрыть и сем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой мине. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т.д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 года появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что, как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю кому, — при мне говорил о «Бесед» с приезжавшим в Саагоу Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался даже ригористически. Некто Лежнев еще ухитрился издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 года он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, по-

ка не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Москве свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет – значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала – просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском жур-

нале. Думаю даже, что он только представлял себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок – вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может – до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату – «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но – Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, – несколько раз напоминала она, – но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, – всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», – прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два – общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине – были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случай-

но, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, то есть ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н.К.Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

* * *

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С.Г. Сумского, находилось в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С.Г. Сумский сообщил мне, что «Международная книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что, «по-видимому, разрешение дано А.М. для утешения, а «Беседу» приказано душить». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3-го номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров; итого – восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, – вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими

писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что было весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.) Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах, говорил о «замечательных ребятах» – советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти – маска снималась. Соответствующую личину надевал и Соболев при Горьком: ложь порождает ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходившей в Берлине под редакцией А.Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». – «Позвольте, – возразил я, – ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» – «Но я же вас знаю», – ответил Горький. «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по край-

ней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому я уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь постпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что, если бы секретарь прилепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона – она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть – государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предназначениях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самою настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидела, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчишками и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов – на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое

время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройти в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил как-то конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случилось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную словесную точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот такая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, – в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом – когда был

инструктором Всевобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это – приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведовала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем – здрастье пожалуйста! Вот мы раз выловили этих эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок – у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысдой. Потом его левая рука выбрасывается вбок – Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!»

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышлениш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т.д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. «Вот кстати! – говорит она. – Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, попробовал, хорошо ли тянет, – а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания мне было тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

– Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека – ни звука.)

– Что ж, пускай едет, коли ему хочется, – сказал я.

Горький слегка рассердился:

– А когда их там всех перебьют, что будет? – спросил он. – Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают – за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она – важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» – и собрав ладонью пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

– Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

– Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

– Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращенчества».

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «Беседа» – кончилась. Очень жалко... По вопросу – огромнейшей важности вопросу! – о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию – по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил. «Разрешение на «Беседу» было дано, и книги в Россию допускались, – писал он. – Затем разрешение было опротестовано и аннулировано». Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготавливается здесь, печатается – в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал *типа «Беседы»* в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался за границей, и что «ограничительные условия» теперь налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924

года нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский современник» – последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами, журнала в России. Дух журнала был вольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А.Н. Тихонова и К. Чуковского. В конце 1924 года, по выходе четвертой книжки, «Русский современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский современник» – только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русский современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, – ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное – чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский современник» не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», – а просто заставят Горького печататься в «Красной нови» и в других казенных

журналах, – и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть – жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решился не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников – и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 году он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 году, когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможна поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал и т.д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 году, основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Сознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, – но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е.П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел от-

личить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый, образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какую он ее создал своим воображением, – мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что он еще пошел. Коротко сказать – он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознал ли он весь трагизм этого – не решаюсь сказать. Вероятно – и да и нет, и вероятно – поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

<1938?>

О смерти Горького

Действительно ли Максим Горький и его сын могли быть убиты участниками последнего московского процесса? Кому и зачем могла быть нужна их смерть? Каковы были отношения Горького со Сталиным и Ягодой? Кто такой Крючков?

С такими вопросами многие обращались ко мне в последние дни. К сожалению, ответить на них я могу только предположительно, потому что непосредственная связь с Горьким, его семьей и его окружением окончательно порвалась у меня еще летом 1925 года. Сведения, полученные впоследствии, шли уже из вторых и третьих рук. Однако мне кажется, что обстановка московских событий мне более или менее знакома, а потому я вправе высказать о них свое мнение: отнюдь, разумеется, не свидетельство.

* * *

Повторяю, мои высказывания могут быть только предположительны, главным образом, еще и потому, что я принужден отчасти пользоваться данными московского процесса, в котором правда и ложь могут быть разделены и выяснены разве лишь будущим историком – и то при условии, что до него сохранятся необходимые и неоспоримые документы.

Во всем этом деле самое фантастическое и самое затруднительное обстоятельство – то, что мы не можем доверять признаниям обвиняемых. Некоторые из них, можно сказать, стоят выше обвинений, которые они сами на себя возводят. Таковы проф. Плетнев и доктор Левин. Оба – старики, прожившие долгую и ничем не запятнанную жизнь. Второго из них, Льва Григорьевича Левина, я хорошо знаю. В газетах были о нем напечатаны сведения слишком неточные. По тому, что сообщалось о Левине, читатель мог заключить, что это – какой-то мелкий провинциальный врач, раздобытый большевиками для темных дел. В действительности Левин долгие годы практиковал в Москве. Его специальностью были детские и внутренние болезни. Он был

домашним врачом своего коллеги – проф. Ф.Е. Рыбакова, заведовавшего психиатрической клиникой Московского университета. Кажется, именно через Рыбакова он стал одним из популярнейших врачей в среде писателей и артистов. Я сам и многие мои родственники были его постоянными пациентами с 1911 года, но еще в 1897 году, еще совсем молодым врачом, он спас одного из моих братьев от очень серьезной болезни. К политике он не имел никакого отношения, и к больному Ленину был приглашен по причине своей врачебной репутации. К «лаборатории» ГПУ он, разумеется, не имел никакого отношения: на процессе выяснилось, что во главе «лаборатории» стоял Казаков, которого он уличал в шарлатанстве. И вот, когда он признается, что ускорил смерть Горького, – все существо мое отказывается верить ему, как и Плетневу. Но и он, и Плетнев объявляют, что действовали под страшным давлением Ягоды, грозившего расправиться с их семьями, – я уже не знаю, что думать.

Зачем Ягоде была нужна смерть Горького?

Думаю, что могла быть нужна. В 1921–1928 годах. Горького смущало и тяготило полуопальное положение буреви́тника революции, принужденного жить за границей на положении чуть ли не эмигрантском. Ему хотелось быть там, где творится пролетарская революция. Сталин, расправившийся с его недругом Зиновьевым (имею в виду не казнь Зиновьева, а его предварительную опалу), дал Горькому возможность вернуться и занять то высокое положение арбитра по культурным вопросам, которого Горький не мог добиться даже при Ленине. Сама личность Сталина, конечно, ему в высшей степени импонировала: в глубине горьковской души всегда жило восхищение силою, властью, ее внешними атрибутами, которые презирал Ленин. Надо было послушать, с каким восторгом рассказывал Горький о пребывании императора Александра III в Нижнем Новгороде. Несомненно, он льстил Сталину не только в официальных речах и писаниях. Вполне допускаю, что в некоторых вопросах, второстепенного и бытового характера, Сталин со своей стороны прислушивался к его мнению. Не раз мне казалось, что некоторые уступки на религиозном «фронте», знаменитая реабилитация елок, не менее знаменитый призыв к зажиточности – все это происходило не без горьковского влияния. Словом, Сталин и Горький могли быть довольны друг другом. Тем не менее, зная Горького, не приходится сомневаться, что далеко не все в советской России было ему по душе. Как прежде, при Ленине, так и теперь, при Сталине, он официально восхищался «нашими достижениями» и проявлял оптимизм, но в частном порядке ворчал и критиковал. По доходившим до меня сведе-

ниям, он и от Сталина и Ягоды, как прежде от Ленина и Дзержинского, пытался кое-кого защищать, отстаивать. И опять, как перед его отъездом за границу, многие смотрели на него как на заступника, как на человека, с которым можно хотя бы отвести душу. Следовательно, и сталинская оппозиция, как бывало – зиновьевская, могла ему в известной степени доверяться, и если не все, то многие ее тайны должны были быть ему ведомы. И если, скажем, Рыкову или Бухарину не приходило в голову, что Горький способен их выдать, то Ягода, плохо знающий Горького и меряющий людей на свой аршин, вполне мог мечтать об устранении его, как потенциального доносчика. Именно всем этим и приходится объяснять тот факт, что Ягода приставил к нему своего соглядатая – Крючкова. Подозревать Горького в обыкновенной «контрреволюции» не могло прийти в голову и самому Ягоде. И если Крючков все-таки был приставлен, то его наблюдения должны были идти по двум линиям: во-первых, по линии слежки за посетителями, собеседниками и корреспондентами Горького, во-вторых – по линии слежки за сношениями самого Горького со Сталиным.

Должен заметить, впрочем, что, когда дело идет о Крючкове, выражение «приставлен» не совсем точно. Надо было сказать – «заагентурен», потому что тесная связь Горького с этим человеком началась задолго до того, как Ягода стал во главе ГПУ.

Петр Петрович Крючков (или Пе-Пе-Ка, как иногда называли его в доме Горького) некогда был помощником присяжного поверенного, но практикой не занимался. По словам Максима, сына Горького от первого брака, он служил в петербургском градоначальстве. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с Марией Федоровной Андреевой, второй женой Горького. Во всяком случае, в 1920 году (а может быть, и раньше) он уже состоял ее секретарем по управлению петербургскими театрами, жил на ее половине в квартире Горького и, не смущаясь разницею возрастов (Мария Федоровна значительно старше его), старался всем показать, что его ценят не только как секретаря. Он был недурен собой, хорошо одевался, имел пристрастие к шелковым чулкам, которые не всегда добывались легально. Когда в 1921 году Горький под давлением Зиновьева принужден был уехать за границу, Мария Федоровна вскоре последовала за ним в целях надзора за его политическим поведением и тратю денег. Разумеется, она взяла с собой Крючкова, с которым и поселилась в Берлине, тогда как сам Горький с сыном и невесткою жил за городом. За границей Мария Федоровна ничего не делала, но Крючкову устроила отличное место: пользуясь своими связями (ко-

торые в ту пору были сильнее горьковских), она добилась того, что Крючков был поставлен во главе советского книготоргового и издательского предприятия «Международная книга». Пост был как нельзя более подходящий: Крючков почти автоматически становился издателем Горького и посредником в сношениях Алексея Максимовича с внутрироссийскими журналами и издательствами. Таким образом, Крючков сделался не секретарем Горького, и даже не «министром финансов», а больше того: главным источником и надзирателем его денежных средств, — что и требовалось.

Крючковой опекой Горький не тяготился, потому что на приход и уход денег всегда смотрел сквозь пальцы. Кроме того, он должен был быть благодарен Крючкову за то, что тот избавил его от Андреевой. Несколько иначе смотрел на дело Максим, перенесший на Крючкова свою нелюбовь к мачехе. О роли Крючкова при Марии Федоровне отзывался он в нецензурных выражениях и всякий раз, когда заходила речь о Крючкове, принимался мяукать, изображать кота и приговаривать: «Кис-кис-кис». Горький хмурился и обрывал его. Впрочем, была у Максима еще причина недолго любить Крючкова: будучи крайне легкомыслен и склонен сорить деньгами, он сам претендовал на роль «министра финансов» при отце. Крючков был ему помехою и мешал транжирить.

Вернувшись в советскую Россию и нуждаясь в секретаре (его бывшая секретарша осталась за границей), Горький, естественно, обратился за помощью к Крючкову, тем более что Крючков уже расстался с Андреевой и даже, по слухам, женился. Первое время, по-видимому, все шло прилично, но затем люди, приезжавшие из России, стали рассказывать, что Горький «в плену» у Крючкова, который контролирует каждый его шаг, по-своему распоряжается его временем, присутствует при всех его разговорах с посетителями, даже с ближайшими друзьями, и т.д. Очевидно, Крючков обнаглел и стал действовать прямо во вред Горькому потому, что уже был заагентурен Ягодой. Об этом прямо и говорили уже примерно лет шесть тому назад. Вполне возможно, что Горький сам догадывался, в чем дело. Но зная его характер, можно быть уверенным, что он старался об этом не думать, потому что больше всего на свете любил иллюзии. Меж тем, как это ни тяжело вымолвить, очередным героем его воображения в ту пору сделался сам Ягода. Конечно, ему было неприятно думать, что этот милый Ягода, строитель великого Беломорского канала, чудесный «перековыватель душ», превращавший воров и проститутку в героев социалистического труда, приставил сыщика к нему, к искреннему своему почитателю. И он старался этого не замечать.

Есть основания предполагать, что сближению Горького с Ягодой способствовал сам Максим. Некогда на страницах «Возрождения» И.Д. Сургучев дал прекрасный портрет Максима-ребенка. К несчастью, он остался ребенком на всю жизнь. В тридцать лет с лишним его больше всего занимали ковбои, сыщики, клоуны, гангстерские фильмы, коллекция марок. Еще в 1918–1919 годах, будучи от природы добрым мальчиком, единственно по склонности к пинкертонизму, он принимал некоторое участие в деятельности Чека. Я поздно узнал об этом, только уже в 1925 году, когда одно лицо, приехавшее в Сорренто, передало Максиму предложение Дзержинского вернуться в Москву и вновь поступить на службу. Максим колебался: с одной стороны, ему не хотелось возвращаться в Россию, с другой – ему там обещали подарить автомобиль. Горький был против всей этой комбинации: понимал, что Максим – только веревочка, за которую хотят притянуть в Москву его самого. Кроме того, он боялся за сына. Говорил: «Когда у них там начнется склока, его прикончат вместе с другими, – а мне этого дурака жалко». Эти слова оказались пророческими.

Разоблачившееся прошлое Максима было одной из главных причин моего разрыва с Горьким. Дело не в том, однако. Важно, что по возвращении Горького в Москву, уже при Ягоде, Максим все-таки связался с ГПУ. Этим объясняется и то, что он, захватив жену, организовал знаменитую поездку отца на Соловки, а затем, в сопровождении самого Ягоды, – по Беломорскому каналу. Несомненно, Максим сделал Ягоду своим человеком в доме, и это обстоятельство имело роковые последствия для него самого.

Жена Максима, Надежда Алексеевна, по домашнему прозвищу Тимоша, была очень хороша собой. Ягода обратил на нее внимание. Не знаю, когда именно она уступила его домогательствам. В ту пору, когда я наблюдал ее каждодневно, ее поведение было совершенно безупречно. Можно думать, что и в Москве оно оставалось таким же, и, следовательно Ягоде, чтобы добиться ее благосклонности, приходилось мечтать об устранении Максима. И в самом деле, о ее связи с начальником ГПУ я узнал уже только после того, как Максим скончался.

Содействовать убийству Максима Крючков имел и личные основания – помимо «служебных». Как уже сказано, еще в заграничную пору Максим сопротивлялся крючковскому хозяйничанью в делах Горького. В СССР, когда средства Горького значительно увеличились, это сопротивление должно было возрасти, жадность Крюčkова – тоже. Крючкову нетрудно было сообразить, что в случае смерти Максима он совершенно завладеет Горьким, воля которого будет сло-

млена горем (ибо Алексей Максимович в сыне буквально души не чаял, хотя и частенько звал его ослом, идиотом и т.д.). В случае же смерти и самого Горького перед Крючковым открывалась перспектива широчайшего и бесконтрольного ворочения делами беспомощных, частью малолетних наследников. Поэтому к показаниям Крючкова об его соучастии в убийстве Максима можно отнестись с полным доверием.

Другое дело – роль Ягоды, Крючкова и всех врачей в смерти самого Горького. Не следует забывать, что за сорок лет до смерти Горький был серьезно болен туберкулезом, возникшим на почве покушения на самоубийство, когда он прострелил себе легкое. Туберкулез был залечен, но постоянно давал о себе знать бронхитами, плевритами и т.д.

Шестидесятивосьмилетний возраст и огорчение по поводу смерти Максима, несомненно, сильно расшатали здоровье Горького в последнее время. Любая очередная простуда легко могла вызвать смертельный исход. По-видимому, так и случилось. Показания самого Крючкова и врачей о том, как они содействовали смерти Горького, очень смутны, лишены конкретности, особенно по сравнению с их рассказами о том, как были вызваны болезнь и смерть Максима. Мне кажется, это можно объяснить тем, что о смерти Максима они говорили правду, о смерти же Горького возводили на себя небылицу, продиктованную им в тюрьме. Иными словами, я думаю, что Горький умер естественной смертью: Ягода за ним следил, мог ему не доверять, но не имел веских оснований его ликвидировать. «Пришить» его смерть убийцам Максима, нужно думать, было решено свыше, по соображениям политическим и демагогическим. Ведь, с какой стороны ни взгляни, убийство Максима есть всего только обыкновенное уголовное преступление, совершенное Ягодой на романтической почве, а Крючковым – на денежной. Политической цели и политического значения оно иметь не могло и, следовательно – не могло отяготить политический «пассив» Ягоды. Обвинение же в убийстве самого Горького, разумеется, сразу ставило дело на политическую почву, придавало ему тот смысл, ради которого был задуман и проведен весь этот процесс, представляющий собой отнюдь не сплошной вымысел, а сложный сплав вымысла с правдой.

Январь 1938

О Есенине

На столе у меня лежит книжка: Сергей Есенин, «Стихи и поэмы». Надо бы сказать: «Избранные стихи и поэмы», потому что сюда вошло сравнительно лишь небольшое из написанного Есениным. Однако же – как характерно сейчас появление этого томика и как выразительно все в нем: состав, предисловие, даже объем, даже внешний вид!

В книжке всего 228 страниц небольшого, почти карманного формата. Издание самое скромное. Бумага тонкая, чтобы томик вышел не толст, переплетец коричнево-серый, мышинового цвета, и на нем всего только монограмма: С. Е. На коленкорovém корешке – полнее: «Сергей Есенин». И ничего больше. Какая разница по сравнению с теми изданиями, которые выходили при жизни Есенина и в первые месяцы после его смерти! Вся книжка словно старается не бросаться в глаза, пройти сторонкой, проскользнуть незаметно в карман читателя... У нее есть к тому основания.

Самоубийство Есенина так очевидно связано было с его разочарованием в большевистской революции и нашло такой сильный отклик в кругах комсомола и рабочей интеллигенции, что начальство встревожилось и велело немедленно «прекратить есенинщину». Бесчисленные портреты Есенина, портреты его родных, знакомых и просто односельчан, виды деревни, где он родился, и дома, в котором он вырос, бесчисленные воспоминания о нем и статьи о его поэзии – все это разом, точно по волшебству, исчезло из советских газет и журналов. Зато появилось несколько статей, разъясняющих заблуждения Есенина и его несозвучность эпохе. Потом о Есенине замолчали вовсе. Самое имя его почти перестало упоминаться. Распродав (а может быть, и припрятав) сочинения Есенина, Госиздат новых изданий уже не печатал. Запретить Есенина было слишком неловко – его приглушили.

Став полузапретным, Есенин, однако же, не стал забвенным. Его помнят и тайно любят в России по сию пору. Издавать Есенина там сейчас дело не то чтобы нелегальное, но все же и не похвальное. Книжка, о которой идет речь, выпущена частным издательством. Пси-

хология издателей отразилась на ее внешности. Она вышла потому, что отвечает читательскому спросу. Но она старается не слишком бросаться в глаза, потому что и спрос этот – полузапретный.

Полузапретных книг много в СССР: это как раз те самые, которые читаются наиболее охотно. Они появляются не иначе как с казенными предисловиями, в которых изобличаются заблуждения авторов. Предисловий этих никто, разумеется, всерьез не принимает, но они делают свое дело: во-первых, играют роль фигового листа, во-вторых – приносят доход авторам-коммунистам. Это род косвенного налога или акцизного сбора: хочешь издать или прочитать неказенную книгу – уплати пошлину. Авторы предисловий суть служилые люди подсоветской Руси, кормящиеся за счет населения.

«Есенин не нашел в себе силы разлюбить то, что наш век велел ненавидеть... В свете грандиозных сдвигов последних лет, определивших путь крестьянского хозяйства к социализму на основе сплошной коллективизации, явственно обнаруживаются реакционные корни есенинского творчества. Теперь совершенно очевидна нелепость скороспелых попыток объявить Есенина после его смерти «национальным» и «подлинно крестьянским» поэтом. Место Есенина не в нашей эпохе, а позади ее».

Так сказано в предисловии. Объяснять трагедию Есенина тем, что он не предвидел и не оценил благ «сплошной коллективизации», есть, разумеется, лживая ерунда, порождение тупости и лаячества, но что касается «несозвучности» Есенина советской эпохе – тут автор предисловия прав: тут он заметил то, что все знают и без него. Именно «несозвучность» и определила всю драму Есенина. Он уверовал в революцию, увидел в ней правду или, по крайней мере, путь к правде, связал себя с ней неразрывно – и, наконец, в ней разочаровался.

Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

Когда Есенин прозрел, ему осталось лишь умереть. Его смерть потрясла великое множество людей (особенно молодежи), переживавших в ту самую пору приблизительно то же, что пережил Есенин. Как я уже говорил, правительству это потрясение показалось опасным, оно наложило на память Есенина род запрета – и с точки зрения своих интересов было в значительной мере право.

Но время шло. Со дня смерти Есенина минуло более шести лет. Обстоятельства изменились. Из тех, кто отраженно пережил драму

Есенина, как свою собственную, – одни последовали за ним (припомним волну самоубийств, которой отмечены были в России 1925–1927 годы); другие, надломленные, но не сломанные, смирились иль за-таились, третьи, махнув рукой, приспособились. Надо еще заметить, что кончилась и эпоха нэпа, которой, в особенности, было обострено разочарование Есенина и ему подобных. Словом, постепенно история Есенина перестала восприниматься так, как она воспринималась некогда, и стала значить совсем не то, что значила. Изменив свой смысл, она, однако ж, его не утратила. Можно даже сказать, что, несколько потеряв в политической остроте, она приобрела оттенок более глубокий, более отвлеченный, более возвышенный. Она стала общечеловечнее, сделалась близкой каждому, а не только тем, кто сам пережил то же самое.

Мне кажется, что сегодняшний читатель уже не воспринимает историю Есенина в конкретной связи с историей большевизма. Трагедия Есенина превращается вообще в трагедию человека, оскорбленного низостью того, что считал он своим идеалом. Раскаяние и бунт, отчаяние и разгул – вот что вычитывают сейчас в Есенине, уже не придавая особенного значения тому, в чем именно он раскаивается и против чего бунтует. Если угодно, мы тут присутствуем при очищении поэзии от слишком преходящего, слишком «гражданского». Время подергивает туманом частности, остается лишь сущность: драматическая коллизия и страдание, ею вызванное. Это страдание и этот мятеж сейчас особенно ясно вычитываются в Есенине; и то и другое дано на фоне такой же страдающей, такой же мятежной, так же утратившей свет России. Есенинский надрыв, с его взлетами и падениями, оказался сродни всей России. За это Есенина любили и любят, за это и должно его любить.

Впрочем, народы вообще любят смотреть на мучения поэтов. Русский народ – не менее, а, кажется, даже более, чем другие. Может быть, это потому, что сам он страдал более других; может быть, в муках поэтов он изживает свои собственные мучения – не только психологически, но и мистически, что уже гораздо серьезнее. В изничтожении русских поэтов, начавшемся вместе с началом самой поэзии, в ту ночь, когда Волынский избивал Тредьяковского, порой проступает нечто похожее на заклятие жертв. Не будем, однако же, углубляться в это. Каковы бы ни были причины – люди любят смотреть на такие вещи, как дети на трепетание бабочек, умирающих на булавках: со смесью жалости и жестокости, ужаса и восторга, с ясно сознаваемым любопытством и смутным благоговением перед совершающейся тайной. Когда поэтический путь кончается трагиче-

ской гибелью, народу кажется, что эта последняя точка прибавляет нечто и к самому творчеству. Должно быть, это потому, что такая гибель придает окончательную достоверность пройденным страданиям. Простодушные поклонники искусства всегда боятся искусственности. Они боятся истратить свое сочувствие на страдания ненастоящие. Трагическая смерть поэта успокаивает их, убеждая, что сочувствие было истрчено не напрасно. Фома неверный принял на себя тяжкий подвиг – знаменовать толпу, народ, хор.

Поэзия Блока в основах своих была большинству непонятна или чужда. Но в ней очень рано и очень верно расслышали, угадали, почувяли «роковую о гибели весть». Блока полюбили, не понимая, по существу, в чем его трагедия, но чувствуя несомненную ее подлинность. Любят всякое творчество, свидетельствующее об испепеляемой жизни, всякое, над которым можно поставить эпитафию: «Здесь человек сгорел». У нас это в особенности так. Может быть, впрочем, истинно велико только такое творчество. Точнее, может быть, всякое подлинное творчество есть самосожжение поэта – «священная жертва». Трагедия Есенина была гораздо менее сложна, менее значительна по внутреннему своему смыслу, чем блоковская, Есенин к тому же был менее мастером, своим страданиям, как и страстям, не умел он придать столь возвышенной формы – но подлинность самой его трагедии остается несомненной.

1932

Декольтированная лошадь

Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольте, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы.

Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в черной рубахе, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольте. Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей...

А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе – и ныне, сдастся мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет – лошадиный век.

* * *

Поэзия не есть ассортимент «красивых» слов и парфюмерных нежностей. Безобразное, грубое, пошлое суть такие же законные поэтические темы, как и все прочее. Но, даже изображая грубейшее словами грубейшими, пошлейшее – словами пошлейшими, поэт не должен, не может огрублять и опошлять мысль и смысл поэтического произведения. Грубость и плоскость могут быть темами поэзии, но не ее внутренними возбудителями. Поэт может изображать пошлость, но он не может становиться *глашатаем пошлости*.

Несчастье Маяковского заключается в том, что он всегда был таким глашатаем: сперва – нечаянным, потом – сознательным. Его литературная биография есть история продвижения от грубой пошлости несознательной – к пошлой грубости нарочитой.

Маяковский никогда, ни единой секунды не был новатором, «ре-

волюционером» в литературе, хотя выдавал себя за такового и хотя чуть ли не все его таким считали. Напротив, нет в нынешней русской литературе большего «контрреволюционера» (я не сказал – консерватора).

Эти слова нуждаются в пояснении.

* * *

Русский футуризм с самого начала делился на две группы: эго-футуристическую (Игорь Северянин, Грааль Апрельский, Игнатъев и др.) и футуристическую просто, во главе которой стояли покойный В. Хлебников, Крученых, Давид Бурлюк с двумя братьями. И эстетические взгляды, и оценки, и цели, и самое происхождение – все было у этих групп совершенно различно. Объединяло их, и то не вполне, лишь название, заимствованное у итальянцев и, в сущности, насильно пристегнутое особенно к первой, «северянинской», группе, которую, впрочем, мы оставим в покое: она не имеет отношения к нашей теме. Скажем несколько слов только о второй.

Хлебниково-крученевская группа базировалась на резком отделении формы от содержания. Вопросы формы ей представлялись не только центральными, но и единственно существенными в искусстве. (Отсюда и неизбывная связь нынешних теоретиков-формалистов с этой группой.) Это представление, естественно, толкало футуристов к поискам самостоятельной, автономной или, как они выражались, «самовитой» формы. «Самовитая» форма, именно ради утверждения и проявления своей «самовитости», должна была всемерно стремиться к освобождению от всякого содержания. Это, в свою очередь, вело сперва к словосочетаниям, вне смыслового принципа, а затем, с той же последовательностью, к попыткам образовать «самовитое слово» – слово, лишенное смысла. Такое «самовитое» внесмысловое слово объявлялось единственно законным материалом поэзии. Тут футуризм доходил до последнего логического своего вывода – до так называемого «заумного языка», отцом которого был Крученых. На этом языке и начали писать футуристы, но вскоре, по-видимому, просто соскучились. Обессмысленные звукосочетания, по существу, ничем друг от друга не различались. После того как было написано классическое «Дыр бул щыл» – писать уже было, в сущности, не к чему и нечего: все дальнейшее было бы лишь перепевом, повторением, вариантом. Надо было или заменить поэзию музыкой, или замолчать. Так и сделали.

Ошибки хлебниково-крученевской группы очевидны и просты. От-

части они даже смешны. Но оценки опять-таки оставим в стороне. Худо ли, хорошо ли, правотой ли своей или заблуждениями, но группа жила. В ее деятельности был известный пафос – пафос новаторства и борьбы. Она *пыталась* произвести литературную революцию. Даже роли внутри нее были распределены нормально. Вождем, пророком и энтузиастом был Хлебников, «гениальный кретин», как кто-то его назвал (в нем действительно были черты гениальности; кренистических, впрочем, было больше). Крученных служил доктринером, логиком, теоретиком. Бурлюк – барабанщиком, шутом, зазывалой.

Маяковский присоединился к группе года через три после ее возникновения, когда она уже вполне образовалась и почти до конца высказалась. На первых порах он как будто ничем особенно не выделялся:

Улица –

Лица у догов годов резче.

Это было «умеренней», чем «дыр бул щыл», но в том же духе. Вскоре, однако, Маяковский, по внешности не порывая с группой, изменил ей глубоко, в корне. Как все самые тайные и глубокие изменения, и эта была прежде всего – подменой.

Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия – белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Крученных и несчастного шута Бурлюка, в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский, без лишних рассуждений на практике своих стихов, подменил борьбу с содержанием (со *всяким* содержанием) огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. Маяковский молча произвел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции. В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь (положим – бессмысленный) смысл хлебниковского восстания в борьбе против содержания, – Маяковский пошел хуже, чем на соглашательство: не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое «безумство храбрых». Они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и постепенно сумел, так сказать, перевести капитал футуризма на свое имя. Сохранив славу новатора и революционера, уничтожил то самое, во имя чего было выкинуто знамя переворота. По отношению к революции футуристов Маяковский стал нэпманом.

Уже полоумный Хлебников начал литературную «переоценку цен-

ностей». Но каким бы страшным симптомом она ни была, все же она была подсказана чем-то бесконечно более «принципиальным» в эстетическом смысле. Она свидетельствовала о жуткой духовной *пустоте* футуристов. Маяковский на все эстетические «искания» наступил копытом. Его поэтика – более чем умеренная. В его формальных приемах нет ровно ничего, не заимствованного у предшествовавшей поэзии. Если бы Хлебников, Брюсов, Уитман, Блок, Андрей Белый, Гиппиус да еще раешники доброго старого времени отобрали у Маяковского то, что он взял от них, – от Маяковского бы осталось пустое место. «Новизною» он удивил только Шкловского, Брика да Яacobсона. Но его *содержание* было ново. Он первый сделал пошлость и грубость не материалом, но смыслом поэзии. Грубиян и пошляк заржали из его стихов: «Вот мы! Мы мыслим!» Пустоту, нулевую значимость заумной поэзии он заполнил новым содержанием: лошадиным, скотским, «простым, как мычание». На место кретина стал хам. И хам стал «голосом масс». Несчастный революционер Хлебников кончил дни в неизвестности, умер на гнилых досках, потому что он ничего не хотел для себя и ничего не дал улице. «Дыр бурщыл!» Кому это нужно? Это еще, если угодно, романтизм. Маяковский же предложил практический, общепонятный лозунг:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй, –
День твой последний приходит,
буржуй!

Не спорю, для этого и для многого тому подобного Маяковский нашел ряд выразительнейших, отлично составленных формул. И в награду за крылатое слово он теперь жует рябчиков, отнятых у буржуев. Новый буржуй, декольтированная лошадь взгромоздилась за стол, точь-в-точь как тогда в цирке. Если не в дамской шляпке, то в колпаке яacobинца. И то и другое одинаково ей пристало.

* * *

«Маяковский – поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». Был таким перед войной, когда восхищал и «пужал» подонков интеллигенции и буржуазии, выкрикивая брань и похабщину с эстрады Политехнического музея. И когда, в начале войны, сочинял подписи к немцеедским лубкам вроде знаменитого:

Декольтированная лошадь

С криком: Дейчланд юбер аллес!
Немцы с поля убирались.

И когда, бия себя в грудь, патриотически ораторствовал у памятника Скобелеву, перед генерал-губернаторским домом, там, где теперь памятник «Октябрю» и Московский совдеп!

И когда читал кроважадные стихи:

О панталоны венских кокоток
Вытрем наши штыки! –

эту позорную нечаянную пародию на Лермонтова:

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать *мундиры*
О русские штыки?

И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героическим приступом брать немецкие магазины. И остался им, когда, после Октября, писал знаменитый марш: «Левой, левой!» (музыка А.Лурье).

Пафос погрома и мордобоя – вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было и есть все равно: венская ли кокотка, витрина ли немецкого магазина в Москве, схваченный ли за горло буржуй – только бы тот, кого надо громить.

* * *

Но время шло. И вот уже перед нами – другой Маяковский: постаревший, усталый, растерявший зубы, – такой, каким смотрит он со страниц последнего, пятого, тома своих сочинений.

Ни благородней, ни умней, ни тоньше Маяковский не стал. Это – не его путь. Но забавно и поучительно наблюдать, как погромщик беззащитных превращается в защитника сильных; «революционер» – в благонамеренного охранителя нэповских устоев, недавний динамитчик – в сторожа при лабазе. Ход, впрочем, вполне естественный для такого «революционера», каков Маяковский: от «грабь награбленное другими» – к «береги награбленное тобой».

Теперь, став советским буржуем, Маяковский прячет коммунистические лозунги в карман. Точнее – вырабатывает их только для экспорта: к революции призываются мексиканские индейцы, нью-йорк-

ские рабочие, китайцы, английские шахтеры. В СССР «социальных противоречий» Маяковский не видит. Жизнь в СССР он изображает прекрасной, а если на что обрушивается, то лишь на «маленькие недостатки механизма», «на легкие неуклюжести быта». Как измельчали его темы! Он, топтавший копытами религию, любовь к родине, любовь к женщине, ныне борется с советским бюрократизмом, с растратчиками, со взяточниками, с системой протекции... Предводитель хулиганов, он благонамеренно и почтенно осуждает хулиганов. А к чему призывает? «Каждый, думающий о счастье своем, покупай немедленно выигрышный заем!» «Спрячь облигации, чтобы крепки они. Облигации этой удержу нет: лежит и дорожает пять лет». Какой путь: из громил – в базарные зазывалы.

«На любовном фронте», бывало, Маяковский вверх дном переворачивал «буржуазную мораль». А теперь – «надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел». Вот он голос благоразумия, умеренности и аккуратности.

Бывало, нет большей радости, чем «сбросить Лермонтова с парохода современности», оплевать дорогое, унижить высокое. Теперь Маяковский оберегает советские авторитеты не только от оскорбления, но даже от излишней фамильярности: «Я зываю к вам от всех великих: – милые, не обращайтесь с ними фамильярно!» Ибо почтительное сердце Маяковского сжимается, когда он видит:

Гигиенические подтяжки
Имени Семашки

или что-нибудь «кощунственное» в этом роде.

Мелкопомещанская жизнь в СССР одну за другой подсовывает Маяковскому свои мелкотравчатые темочки, и он ими не только не брезгует – он по уши увяз в них. Некогда певец хама протестующего, он стал певцом хама благополучного: певцом его радостей и печалей, охранителем его благ и целителем недугов.

При этом мысль Маяковского сохранила, конечно, свою постоянную грубость. Свою работу на пользу нэпствующего начальства Маяковский считает выполнением «социального заказа», а труд революционного поэта откровенно связывает с получением гонораров. Недаром, говоря о низком уровне мексиканской поэзии, он рассуждает: «Причина, я думаю, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя». Недаром также, зазывая Горького в СССР (безнадежная, кстати сказать, задача) – Маяковский в виде самого убедительного аргумента божится:

Декольтированная лошадь

Я знаю – Вас ценит и власть, и
партия,
Вам дали бы все – от любви
до квартир.

* * *

Что Маяковский стареет, постепенно выходит в тираж, что намечается и крепчает уже даже в СССР литературная «переоценка Маяковского» – я говорю отнюдь не на основании только моих собственных наблюдений, это прежде всего стал чувствовать не кто иной, как сам Маяковский, и его последняя книга в этом отношении показательна.

Брюзжание на молодежь, на «нынешних», выставление напоказ старых заслуг – первый и верный признак старости. И все это есть в «Послании к пролетарским поэтам» в «Четырехэтажной халтуре». Уже недавний застрельщик новаторства (хотя бы и самозванный) – Маяковский плачет и причитает – над чем бы вы думали? Над профанацией литературы! О чем скорбит? О забытых заветах! Что видит вокруг себя? Упадок. Этому трудно поверить, но вот прямые слова Маяковского:

С молотка литература пущена.
Где вы, сеятели правды или звезд
сеятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина...
Нынче стала зелень веток в редкость.
Гол
Литературы ствол.

Это ли не типичное брюзжание старика на молодых? От общих рассуждений о «нынешней» литературе Маяковский пытается перейти в наступление. Одного за другим то высмеивает, то объявляет он бездарностями поэтов более молодых, тех, в ком видит возможных наследников уже уплывающей от него славы. Достается по очереди от него Казину, Радимову, Безыменскому, Уткину, Доронину – всем, кого справедливо ли, нет ли, но выдвигала в последние годы критика и молва. И наконец, последний, решительный признак старости: желание казаться молодым, не отставать от молодежи.

– «Я кажусь вам академиком с большим задом?» – спрашивает Маяковский и тут же миролюбиво-заискивающе предлагает: «Оставим

распределение орденов и наградных, бросим, товарищи, наклеивать ярлычки!»

Бедный Маяковский! Он то сердится, то заискивает, то лягается, то помахивает хвостом – и все одинаково неуклюже.

Еще более неуклюже выходит у него поучение к молодежи, напечатанное здесь же, под заглавием: «Как делать стихи?» Это – первое, сколько я помню, «теоретическое» выступление Маяковского. К сожалению, недостаток места не позволяет мне остановиться подробно на этом беспорядочном, бессистемном перечне поэтических «правил». Грубость и глупость формальных суждений Маяковского превосходит всякие ожидания: это все, что я могу сказать, не утомляя неподготовленного читателя анализом, который к тому же занял бы слишком много места. Читая «поэтику» Маяковского, удивляешься, каким образом, при столь жалких понятиях о поэтическом мастерстве, удавалось ему писать хотя бы даже такие стихи, как он писал? Очевидно, как это часто бывает, «муза» Маяковского, его внутренний инстинкт – все-таки бесконечно выше и тоньше его жалкого ума. Нет ничего более убогого в литературе о поэзии, нежели эти рассуждения Маяковского – эта смесь невежества, наивности, хвастовства и, конечно, грубости.

* * *

Однажды, не так давно, Марина Цветаева обратилась к Маяковскому со стихами:

Превыше церквей и труб,
Рожденный в огне и дыми.
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках, Владимир!

Кажется, это был один из последних поэтических приветов, посланных Маяковскому. Впрочем, «тяжелоступ» остался верен себе и ответил на него бранью.

1927

Литература и власть в сов. России¹

Будущий исследователь, который поставит своей целью изучить историю литературных течений в СССР, тотчас же столкнется с явлением, в высшей степени для него непривычным, но чрезвычайно важным и представляющим собой как бы ключ, без которого эту историю невозможно ни проследить, ни понять. Он увидит, что наиболее деятельная роль в развитии литературных событий на сей раз принадлежит не отдельным авторам и не писательским группам, но самой государственной власти.

Вмешательство государства в литературу само по себе, конечно, не ново. Но совершенно новые те формы и в особенности то значение, которое оно приобрело в советской России чуть ли не с первых дней после октябрьского переворота 1917 года.

История литературы знает два основных вида давления со стороны власти: запретительный и покровительственный. Первый из них открыто носит характер государственный и сводится к разнообразным цензурным мероприятиям, которых цель – обеспечить известную литературную неприкосновенность существующему режиму, представителям власти, иногда – господствующей религии и т.п. Точного инструмента для измерения цензурных давлений не существует. Несомненно, что цензурный пресс в СССР действует в настоящее время сильнее, нежели где бы то ни было и когда бы то ни было. Но, во-первых, предварительная цензура введена в СССР только с 1922 года; во-вторых, как бы ни было сильно ее действие, глубоко заблуждаются те, кто считает цензуру главным и характерным орудием в литературной политике советского правительства. Цензура действует негативно: она способна многое пресечь, но бессильна создать что-либо. Между тем литературная интервенция советской

¹Предлагаемая статья написана по предложению одного иностранного журнала. Этим объясняется некоторая ее схематичность, а также то обстоятельство, что в главе о футуристах автору пришлось отчасти повторить мысли, уже знакомые читателям «Возрождения».

власти тем-то и примечательна, что преследует цели вполне активные, творческие. В соответствии с этими целями советское правительство, не отказываясь от мер запретительных, еще гораздо настойчивей применяет меры иного рода. Их, однако ж, нельзя назвать покровительственными в обычном смысле этого слова.

Покровительство, которое нередко оказывалось владельческими особами и вельможами отдельным писателям или целым литературным течениям, обычно носило характер частный, меценатский, даже в тех сравнительно редких случаях, когда оно прямо преследовало политические цели и осуществлялось за счет государства. Не то мы видим в СССР: вопрос о покровительстве той или иной литературной группе там обсуждается и решается высшими органами власти, как то: Народный комиссариат по просвещению, Центральный Комитет коммунистической партии и т.д. При этом необходимо заметить, что такое покровительство в СССР всегда более или менее условно и временно: государство констатирует полезность данного течения и оказывает ему всевозможную помощь не потому, что считает его в политическом и литературном отношении вполне желательным, но потому, что видит в нем известные признаки, позволяющие надеяться, что при надлежащем руководстве это течение, может быть, приведет к образованию той истинной литературы коммунистического общества, которая составляет постоянную мечту советского правительства. При этом всякий раз наступает в конце концов разочарование и покровительство переносится на другую группу. Таким образом, дело идет, в сущности, не о покровительстве тому или иному уже существующему литературному направлению (чему примеры имеются в истории литературы), но о вполне оригинальном и весьма деятельном стремлении советского правительства создать некое новое направление, новую литературную школу. История советской литературы и есть не что иное, как история соответствующих усилий правительства, осложненная теми коллизиями, которые возникают на этой почве отчасти между властью и литературой, отчасти внутри самой литературы. Эта история еще не закончена. Но она уже привела к известным результатам и позволяет сделать кое-какие выводы. Однако, прежде чем обратиться к перипетиям этой истории, необходимо сказать несколько положительных слов о причинах, которые побуждали и побуждают советскую власть уже четырнадцать лет вести наступательную борьбу «на литературном фронте».

Искусство имеет классовую природу и выражает идеологию породившего его класса. Все художественное мировоззрение коммунизма зиждется на этом положении. Отсюда же делает он прямой вы-

вод: поскольку диктатура коммунистической партии считается диктатурой пролетариата, постольку переворот политический и социальный должен вызвать и соответствующий переворот в искусстве. Прежняя литература, буржуазная и интеллигентская, должна быть вытеснена литературой пролетарской, выражающей философские, общественные и всякие другие идеалы пролетариата, а также изображающей его быт и его психологию. Неудивительно, что создание такой литературы сделалось одной из ближайших задач коммунистической партии очень рано – почти тотчас же после октябрьского переворота. Ее наличность должна была содействовать правительству одновременно в двух направлениях, тесно соприкасающихся друг с другом и дополняющих друг друга очень своеобразно.

Рассуждения о политических обстоятельствах октябрьского переворота вывели бы нас слишком далеко за пределы нашей темы. Ограничимся тем, что напомним о факте общеизвестном: очутившись у власти, партия Ленина была не менее других озадачена своим успехом и долго не верила в его прочность. Это потому, что истинная, глубокая сущность ее воззрений и ее программы была чрезвычайно мало знакома как раз тем массам, на которые она опиралась. Разочарование грозило обозначиться очень скоро после того, как правительство приступит к осуществлению своей программы. Поэтому вопрос агитационный с самого начала стал перед партией чрезвычайно остро и в такой же степени необычайно: уж придя к власти, ей было необходимо внушить своим, так сказать, «избирателям», что она то и есть выразительница и осуществительница их воззрений, их воли. Конечно, страна была тотчас наводнена небывалым количеством изданий, непосредственно трактующих социально-политические темы. Но наряду с этим решено было использовать в агитационных целях и литературу художественную. Разоблачение пороков буржуазного общества; радужное изображение будущего коммунистического строя; призывы сплотиться вокруг правительства для отпора внутреннему и внешнему врагу молодой рабоче-крестьянской республики – таковы были (и остаются донныне) основные мотивы той новой литературы, которой предстояло быть созданной, чтобы формировать новое общественное сознание. В то же время, однако, на нее возлагалась обязанность служить и выразительницей этого сознания, как если бы оно уже формировалось само собой. Литература должна была изображать объективный показатель того, что идеология народных масс самым счастливым образом совпадает с идеологией правительства. Иными словами, она должна была обслуживать единую агитационную задачу, но с двух сторон: служить одновремен-

но и причиной, и следствием новых общественных настроений.

Неосуществимое логически, это двойное задание на практике облегчалось тем, что в действительности если новые настроения и существовали, то в самом зачаточном, смутном виде и в самом только тончайшем слое рабочей интеллигенции, давно распропагандированной, но малограмотной и, конечно, бессильной что-либо предпринять в литературной области. Задача правительства, таким образом, упрощалась волей-неволей: нужно было только найти известный контингент литературно опытных людей, т.е. прежних писателей, которые могли бы и обучать общество новым идеям (разумеется, под руководством партии), и одновременно изображать независимый голос этого общества.

Затруднения обозначились, однако же, внутри самой партии. В ту пору многие в ней еще не утратили революционного энтузиазма и веры в возможность сочетать преданность доктрине с практической деятельностью. (По выражению Ленина, партия еще болела «детской болезнью левизны».) Ссылаясь на авторитет некоторых теоретиков марксизма, эти горячие головы заявляли, что новой литературе следует не только казаться, но и действительно быть созданием пролетариата. Возникшее разногласие повело к длительному спору, принципиально не разрешенному до сих пор, но на практике тотчас приведенному к сосуществованию обеих систем. Решено было, не отказываясь от использования существующих писателей, постепенно готовить кадры новых, не отравленных ядом буржуазной культуры, пролетариев по воззрениям и даже по самому происхождению. Этот-то компромисс и лег в основу всей будущей литературной политики советского правительства и предопределил многое в тех событиях, которые составляют историю советской литературы с самого начала по нынешний день.

* * *

Русский футуризм, возникший осенью 1910 года, почти ничего не имел общего с итальянским, кроме названия. Его теоретики основывались на решительном отделении формы от содержания. Вопросы формы им представлялись не только главными, но единственно существенными в поэзии. Это, естественно, толкало их на поиски «самовитой» формы, которая именно ради утверждения и проявления «самовитости» должна была стремиться к освобождению от всякого содержания. На этом пути футуристы пришли сперва к внесмысловым словосочетаниям, а затем, довольно последовательно, к провозглашению «самовитого» слова, т.е. слова, свободного от смыслового содержания.

Такое «самовитое» слово и было объявлено единственным законным материалом поэзии. Тут футуризм подошел к последнему своему выводу – к «заумному языку». На этом «языке» и начали писать футуристы, но довольно скоро соскучились. Обесмысленные звуко-сочетания ничем в сущности друг от друга не различались. После нескольких образцов писать было уже нечего и не к чему: все дальнейшее было бы лишь самоповторением. К началу 1913 года весь путь «заумной поэзии» был пройден, – освобождение поэзии оказалось уничтожением поэзии. Оставалось лишь замолчать.

В ту пору в Москве появился огромного роста юноша, лет девятнадцати, в дырявых штиблетах, в черной рубаше, раскрытой чуть не до пояса, с лошадиными челюстями и голодными глазами, в которых попеременно играли то крайняя робость, то злобная дерзость. Это был Владимир Маяковский. Футуристы еще шумели – Маяковский пристал к футуристам и незаметным образом произвел самую решительную контрреволюцию внутри футуристической литературной революции. Не споря с ее главарями теоретически, даже выказывая им всяческое почтение, на практике он подменил борьбу с содержанием (со *всяким* содержанием) – снижением и огрублением содержания. Для первоначального футуризма вся область мысли, равно как и область чувства, просто не существовала. «Заумная поэзия» была выражением предельного нигилизма, граничившего с кретинизмом (чего не отрицали даже некоторые ее сторонники). Маяковский, напротив, явился с некоторым запасом мыслей, окрашенных очень ярко.

Русскому невежеству всегда были свойственны: крайняя смелость мысли и экстагическая склонность к низвержению кумиров, к переоценке ценностей. Мыслители этого склада, обычно – из недоучившихся гимназистов или семинаристов, не раз были изображены в литературе: они ужасали Достоевского и повергали в насмешливую грусть Чехова. Маяковский первый из них сам явился в литературу. Мир идей он подверг быстрому и решительному пересмотру – сложное упростил, глубокое обмелил, возвышенное унизил и втоптал в грязь. Разумеется, Богу досталось в особенности. Интеллектуальная улица обрела в нем своего глашатая. Как водится, растерялись и некоторые из людей более высокого уровня, особенно из тех, что боятся отстать от века. В поэзии Маяковского услышали «новое слово» и открыли новаторства даже формальные. На самом деле его поэтика более чем умеренная: она вся заимствована из старой литературы. Лишь в области словаря и синтаксиса Маяковский в самом деле если не нов, то смел. Уже с конца XVIII столетия русские поэты стремились к упрощению поэтического языка. Маяковский решитель-

но перешел тот предел, за которым поэтический язык перестает отличаться от базарного (именно так определил его «заслугу» один советский исследователь).

С началом войны открылась для Маяковского настоящая улица. Без шапки, размахивая плащом, он ходил по Москве, во главе тех «патриотических» толп, от которых всегда сторонился патриотизм истинный, и, став на тумбу, читал стихи, кровожадные до отказа.

Летом 1915 года, когда московская чернь громила витрины германских фирм, он и в этих шествиях принимал участие. Но когда до него дошла очередь отправляться на фронт, он сумел устроиться в Петербурге.

Когда социальная катастрофа обозначилась, он сделался революционером. Его истинным пафосом всегда был пафос погрома, то есть насилия и надругательства надо всем, что физически слабо и беззащитно, будь то отвлеченная мысль, немецкая колбасная или схваченный за горло буржуа. Он и к октябрьской революции пристал потому, что расслышал в ней рев погрома.

Конечно, и злейший враг марксизма не отождествил бы погромных призывов Маяковского с идеологией пролетариата, как она рисуется по Марксу. Но для большевиков, только что приступивших к поискам нужных людей, на первых порах он казался находкой. Он был атеист; у него было мало общего с ортодоксальным марксизмом – зато с ненавистной большевикам русской литературной традицией у него не было ничего, наконец, он обладал несомненным литературным даром и непочтенною, но широкою известностью. Словом, пришелся он как нельзя более кстати, и, как мы ниже увидим, в этом союзе большевикам никогда не пришлось раскаиваться.

Первоначальный футуризм к этому времени уже затих, но у Маяковского были подражатели и ученики – довольно многочисленная и шумливая поэтическая богема. Вот эта группа и оказалась первой, на которую было обращено покровительство власти. С весны 1918 года начали брать на учет бумажные запасы и национализировать типографии. Для выпуска книг и периодических изданий требовались особые разрешения. Эта мера действовала лучше всякой цензуры – число «буржуазных» изданий таяло с каждым днем. К осени выпуск частных газет и журналов прекратился вовсе, деятельность книгоиздательств почти заглохла. Исключение составляли футуристы, получившие бумагу и типографский труд беспрепятственно и почти бесплатно. Этой физической монополии автоматически сопутствовала идейная: антифутуристическая критика умолкла, и футуристы оказались во всех смыслах господами положения.

Однако, будучи совершенно невинны по части политики, они даже не поняли, что от них требуется. С Маяковским их связывала общность чисто формальных стихотворческих интересов. Политическая тематика Маяковского представлялась им его частным делом, и в этой области они за ним не последовали, отчасти потому, что боялись казаться подражателями, а главным образом потому, что социальная революция их не прельщала и даже не занимала. Они искренно думали, что им покровительствуют ради их стремления к стилистическим и провидческим новшествам. Они даже старались оправдать такое доверие и изощрялись в изобретательности. Это повело к образованию множества мелких групп, самые имена которых трудно уже припомнить. Так родились фракции имажинистов, экспрессионистов, футуристов, ничевоков и т.д. Фракции, впрочем, мало разнились друг от друга, легко менялись названия и принципы, и все одинаково, задыхались от отсутствия поэтической темы.

Покровительство власти выразилось по отношению к ним еще в одной, довольно неожиданной форме. Меж тем как частная торговля вообще была запрещена, футуристам разрешалось открывать кафе, с эстрады которых они ежевечерне читали свои произведения. Таким образом они стали монополистами ресторанного промысла и зарабатывали недурно. Публика в общем избегала по вечерам выходить из дому – на улицах грабили. Но все-таки молодежь, зубные врачи, адвокаты, снобы из буржуазии, художественная и театральная богема, неуравновешенные дамы, ищущие новых впечатлений, наконец – просто запоздалые прохожие шли к футуристам в большом количестве. Очень скоро стали примешиваться сюда дезертиры, воры, налетчики, сыщики, агенты ЧК, проститутки и сутенеры, – словом, ночная улица. Постепенно этот контингент публики сделался даже преобладающим. Разумеется, тут же бойко шла тайная торговля спиртом и кокаином. На стенах висели картины, афиши, плакаты «заумного» содержания – вперемешку с дырявыми штанами, стоптанными штиблетами и продавленными цилиндрами. Поэты с размалеванными лицами выкрикивали полубесмысленные стихи: один, огромный, голый до пояса, с длинными волосами, обсыпанными золотой пудрой, проповедовал поэзию вовсе бессловесную: он разбивал лбом деревянные доски, довольно толстые, совсем юная поэтесса, дочь почтенных провинциалов, читала стихи, сплошь состоявшие из одних только слов, которые в печати повторить невозможно.

Советская власть почувствовала довольно скоро, что на положительное сотрудничество футуристов в деле коммунистической про-

паганды рассчитывать не приходится. Однако захват «передовых литературных позиций» футуристами, как правильно замечает советский критик Полонский, приносил известную пользу, ибо способствовал разрушению и разложению русской литературной традиции, как бы расчищая место для будущей коммунистической литературы. Поэтому, уже поняв «творческий провал» футуризма, правительство продолжало его поддерживать, но уже без особого увлечения и без всяких иллюзий. Истинной себе помощи оно уже подыскивало в другом месте. Замечательно, что футуристы решительно не сознавали своего положения: они чувствовали себя настолько прочно, что, по свидетельству того же Полонского, пытались требовать, чтобы власть *издала декрет* о признании футуризма господствующей литературной школой!

* * *

Как мы уже говорили, часть большевиков настаивала на том, чтобы основы будущей коммунистической культуры закладывались руками подлинного пролетариата. Поэтому в Москве, Петербурге, Казани и в других городах были основаны *пролеткульты*. В состав каждого из них входила литературная студия, служившая как бы питомником для выращивания пролетарских писателей. Несколько литераторов (в том числе Андрей Белый, Вяч. Иванов и автор этих строк – в Москве, Н. Гумилев – в Петербурге) читали лекции и вели практические занятия по истории и теории словесности с молодыми представителями рабочей интеллигенции. Некоторые студисты уже ранее выступали в литературе. (Об одном из них, М. Герасимове, мне самому случилось сочувственно отзываться в печати еще в 1915 году.)

По мысли большевиков, пролетарские писатели должны были проходить в пролеткультах известную учебу под руководством «буржуазных специалистов», а затем, «овладев техникой», применить ее для самостоятельного творчества. Иными словами – переняв от лекторов буржуазную форму, наполнить ее пролетарским содержанием. С социально-политической точки зрения это было, конечно же, умнее, нежели пытаться создать пролетарскую литературу руками футуристов. Но руководители коммунистической партии принадлежали к той русской революционной интеллигенции, литературные знания и взгляды которой всегда отличались (и отличаются до сих пор) крайнею примитивностью. Поэтому законы литературного развития и на сей раз не были приняты во внимание, но дали о себе знать очень скоро. Среди учеников пролеткульта (особенно в Мос-

кве) нашлись люди с несомненными зачатками поэтического дарования. Таковы Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Поле-таев. Культурный их уровень был невысок, но они хотели учиться и умели работать. Еще слабо развитый, но верный художественный инстинкт подсказывал им простые истины о том, что не все в поэзии определяется классовым сознанием и что цель поэзии не исчерпывается агитацией. Знакомство с теорией и историей литературы все более укрепляло в них эти мысли и сказывалось на их собственных поэтических опытах. Этого мало: по мере того как наши ученики действительно овладевали литературной техникой, закон неотделимости формы от содержания сказывался на них все отчетливей: «буржуазная» поэтика оказывала влияние на их тематику. Короче говоря, правительство вскоре увидело, что творчество пролетарских поэтов оказывается недостаточно пролетарским, то есть не таким, каково оно должно быть по Марксу и Ленину. В результате этого весной 1919 года, к исходу всего лишь второго семестра, занятия с «буржуазными специалистами» были внезапно прерваны под тем предлогом, что пролетарским поэтам должно принять участие в гражданской войне. Затем пролеткульты были постепенно закрыты.

Через несколько месяцев пролетарские поэты вернулись с фронта. Наиболее одаренные объединились в издательство «Кузница». Однако слишком рано лишенные руководства литературного и непрерывно подвергаемые политическому давлению со стороны коммунистической партии, тщетно пытались они примирить противоречия между своей художественной совестью и тем, что они считали своим политическим долгом. Избитые революционные темы и крикливую, но банальную фразеологию выцветших прокламаций 1905 года старались они приукрасить и оживить не идущей к делу поэтикой, наспех усвоенной от символистов и футуристов. Получалось нечто безвкусное, неестественное и вымученное, равно бессильное и в эстетическом и в агитационном отношении. Так же как футуристов, правительство еще снабжало пролетарских писателей деньгами и типографскими средствами, но взаимное охлаждение становилось все очевиднее. Молодые авторы тяготились навязанной им тематикой, а правительство, по свидетельству Вяч. Полонского, которого мы уже цитировали, ставило в вину участникам «Кузницы» то, что они «оторвались от своего класса и временами теряли с ним тесную психологическую и даже идеологическую связь».

Таким образом, из двух одновременных опытов выяснилось то самое, что и должно было предвидеть: во-первых – что из подонков буржуазной литературы нельзя сделать певцов пролетарской революции;

во-вторых – что и представители подлинного пролетариата, поскольку они становятся на путь художественного творчества и подчиняются его внутренним законам, оказываются в противоречии с литературными требованиями коммунистической партии. И те большевики, которые считали возможным делание коммунистической литературы руками буржуазных авторов, и те, которые стояли за выдвижение авторов-пролетариатов, одинаково потерпели поражение. Но именно поэтому ни те ни другие не отказались от своих позиций. Обе тенденции в литературной политике советской власти сохранились и впредь, но им было уже суждено по-новому проявиться в новых условиях, созданных важным политическим событием: подошел 1921 год, а с ним и эпоха нэпа – новой экономической политики, изначально изменившей весь жизненный строй республики.

* * *

В предыдущую эпоху частное книгоиздательство свелось к самым незначительным размерам, книготорговля же была национализирована всецело; частные и кооперативные издания получали сбыт только в тех случаях, когда государство скупало их и передавало в свои распространительные органы. Но все это происходило в условиях инфляции, когда ни в издательском, ни в распространительном аппарате большевиков коммерческий расчет не играл никакой роли и во внимание не принимался. Правительству было безразлично – продавать книги или раздавать их даром. Поэтому оно не столько торговало книгами, сколько, в целях все той же агитации, распределяло их бесплатно по бесчисленному множеству библиотек, устроенных при каждом учреждении, заводе, фабрике, в городах, селах и деревнях. Нельзя отрицать, что количество читателей по сравнению с дореволюционной порой увеличилось: отчасти потому, что умы были возбуждены, отчасти же потому, что мелкому чиновнику, служащему, рабочему, крестьянину книга стала доступнее. Однако это увеличение далеко отставало от роста тиражей. Книги печатались в непомерно больших количествах. Все дело очутилось в руках советских чиновников, которые печатали, скупали и «распределяли» книги, не считаясь ни с запросами читателей, ни с уровнем их понимания, ни даже с агитационными задачами, заботясь прежде всего о том, чтобы так или иначе «проявить деятельность» (протекция и взятка также играли немаловажную роль). В конце концов деревенская малограмотная Россия по всему своему необъятному простору оказалась засыпана не только агитационными изданиями, но и специальными трудами по эко-

номическим вопросам, по высшей математике, по истории философии и т.д. В деревне, где население едва умело читать по складам, посылались исследования «О связи приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» и даже «О звуковых тестах японского языка». Все это оценивалось населением в соответствии с качеством бумаги; бумага тонкая ценилась в особенности – папиросных гильз не было, книги курились, а не читались. И все-таки, несмотря на такое усиленное распределение, казенные книжные склады были завалены. В 1922–1923 годах издания предыдущих лет миллионами пудов отправлялись на бумажные фабрики для переработки.

С началом нэпа все должно было измениться разом. По новому лозунгу Ленина советская бюрократия стала «учиться торговать». Издательским и книготорговым учреждениям отныне было запрещено работать в убыток. Поэтому им пришлось не только считаться с запросами книжного рынка, но и стремиться к тому, чтобы неизбежные убытки от издания специально коммунистической литературы по политическим и социальным вопросам покрывались за счет изданий наиболее ходких. Одной из прибыльных отраслей могла стать литература художественная, таким образом, власть очутилась перед необходимостью повести *новую литературную политику*.

Ликвидация прежней политики не представляла трудностей: нужно было всего лишь ускорить разрыв отношений уже подорванных. Так и случилось. Футуристам (за исключением Маяковского, о котором речь будет еще впереди) тотчас прекратили выдачу субсидий, после чего все движение резко пошло на убыль: серьезных читателей у него никогда не было, снобам оно надоело, а искусственная поддержка со стороны властей прекратилась. Что касается пролетарской литературы, столь же убыточной, как футуристическая, то выдаваемые ей субсидии были значительно урезаны: пролетарские писатели очутились в задних рядах литературы, на положении бедных родственников, с которыми неудобно порвать, но которыми тяготятся.

Выполнить положительную сторону задачи оказалось труднее. Государственному издательству приходилось теперь капитулировать перед той русской литературой, за которой стояли читательские круги, но которая всегда трактовалась большевиками как мелкобуржуазная и в основе своей враждебная пролетарской революции. Идя на эту капитуляцию, большевики могли утешать себя только тем, что она столь же временна, как и нэп, ее породивший, и стремиться к тому, чтобы книги, которые предстояло теперь издавать, по крайней мере, не выражали слишком открыто антикоммунистических настроений литературы и общества.

Между тем положение осложнялось: благодаря нэпу воскресли частные издательства. Естественно, что эти предприятия, более гибкие и в торговле, и в литературном отношении, к тому же издавна связанные с писателями, а главное – не возбуждавшие того политического и морального одиума, которым были окружены коммунисты, тотчас составили сильную конкуренцию государственному издательству и в коммерческом отношении, и в смысле привлечения сотрудников. Убедившись в том, что обычные способы конкуренции (в том числе более высокая оплата литературного труда) не приносит достаточных результатов, что писатели все же предпочитают иметь дело с частными издателями, правительство решило прибегнуть к воздействию иного порядка. До сих пор в России не существовало другой цензуры, кроме военной, имевшей специальную задачу следить за тем, чтобы в печать не проникали сведения, касавшиеся обороны страны, передвижения войск и т.п., теперь, в целях борьбы с частными издательствами, была введена общая предварительная цензура художественной литературы. Эта мера давала не только возможность установить «идейный» надзор за литературой, но и позволила стеснить деятельность частных издательств до крайности.

К 1923 году результат нажима вполне сказался: между тем как в других областях частные предприятия переживали пору расцвета, частные журналы закрылись вовсе, частные и кооперативные издательства, поскольку еще уцелели, могли печатать только работы историко-литературные; ряд беллетристов и поэтов, еще не покинувших Россию (как покинули ее Бальмонт, Бунин, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Мережковский, Ремизов), не умерших (как Блок) и не расстрелянных (как Гумилев), лишился возможности печататься где бы то ни было; прочие силою обстоятельств были загнаны в новые, созданные правительством журналы, в Государственное издательство и его ответвления. Тогда-то и началось бытие той литературной группы, которая известна Европе под слишком широким и потому неточным именем советской литературы и которая в самой России носит более точное и ограничительное название литературы *попутчиков*.

* * *

Десятилетнее существование группы попутчиков богато событиями. Она то пополнялась, то убывала, переживала периоды относительного расцвета и упадка, внутри и возникали и распадались более тесные кружки, разгорались и меркли отдельные имена. Ни дарованиями, ни возрастом, ни литературной манерой попутчики не однород-

ны. Однако при всей пестроте и текучести нетрудно в них различить то общее, что их связывало и еще связывает друг с другом.

В большинстве случаев это писатели или выступившие после 1914 года, или не успевшие до тех пор проявить свои дарования, – люди, сложившиеся в эпоху войны и революции. Революция стоит в центре их внимания, они потрясены ею, но это потрясение преимущественно эмоциональное, не интеллектуальное. В нем преобладает *изумление* перед тем стихийным процессом, который совершается в глубине и гуще России, отчасти будучи вызван большевистской революцией, отчасти сам уже составляет ее. Революция для попутчиков есть явление, само по себе столь поразительное, что его прежде всего хочется запечатлеть во всей полноте и неприкосновенности. Они предпочитают его зарисовывать, нежели осмысливать, – потому, между прочим, что весь его смысл нередко для них заключается именно в его бессмысленности. Революция для них фантастична, постигнуть ее – значит вскрыть ее непостижность. Потому-то в реалистических изображениях революции лишь некоторые (и не наиболее даровитые) следуют реалистической традиции Толстого (отчасти воспринимаемой через Горького). Другие, более чуткие, идут по стопам Достоевского, Гоголя, Ремизова, Андрея Белого, Свифта и даже Э.Т.А.Гофмана. Замысловатость композиции свойственна большинству попутчиков; у Федина, Каверина, Пильняка, Никитина, Козакова она порой достигает крайней сложности – при ее помощи стараются они передать хаотическую фантастику революционной эпохи. Многим из них не чуждо художническое любование стихийным размахом революции, ее хтонической грубостью, первобытной жестокостью: эти мотивы особенно подчеркнуты у Всеволода Иванова, Бабеля, Артема Веселого, Пильняка и сказались на самом стиле их произведений. Даже авторы, наиболее склонные к непритязательному фотографированию действительности (как Сейфуллина, Пантелеймон Романов, Шишков, Катаев), прежде всего влекутся к изображению тех причудливых, парадоксальных, нередко уродливых бытовых форм, которые возникают на пересечении нового порядка с исконными формами русской жизни. У Булгакова («Роковые яйца», «Дьяволиада») и у Зощенки, одного из наиболее зорких бытописателей революционных будней, изображение нового быта доведено до гротеска. Бытовой экзотике соответствует психологическая; по всему пространству России, во всех слоях населения попутчики находят людей, выбитых революцией из колеи; герои попутчиков не богаты идеями, они даже редко бывают умны, но психологическая сложность и даже вычурность весьма им свойственны. Таковы в особенности

персонажи Леонова, Олеси, отчасти Лидина, ранние рассказы Слонимского делают целую галерею чудаков и маньяков. Наконец, как одну из заметных особенностей попутчиков, должно отметить, что почти все они уделяют много внимания изображению и развитию фабулы: подвижная эпоха представлена у них в подвижном повествовании, чем нарушается традиция бессюжетного рассказа, господствовавшая в русской словесности со времен Чехова.

Ни на первых порах, ни впоследствии попутчики не создали ни одной вещи исключительной ценности и значения. Великих писателей среди них нет и не было. Но молодость большинства из них, обновленная тематика, свежесть приемов, довольно высокий уровень мастерства по сравнению с пролетарской литературой, а в особенности отсутствием «марксистского подхода» к изображаемым событиям и к самому искусству – все это обеспечило им, с одной стороны, сочувствие и интерес читателей, с другой – враждебное недоверие правоверных большевиков. В самом деле, изображение революции как хаоса и фантастики решительно шло вразрез с официальной версией, представляющей революцию как сознательно коммунистическое движение масс под руководством возлюбленных вождей. Больше того: попутчики слишком часто свидетельствовали о том, что хаос и фантастика возникают как раз на пересечении нового социального и политического порядка с исконно чуждой ему психологией населения; что если действительно происходит в России какой-то глубокий духовный процесс, связанный с революцией, что если ищет Россия некой «новой правды», то вовсе не на путях марксистского мировоззрения.

Левые коммунисты смотрели на попутчиков косо и со своей точки зрения были, конечно, правы. Но то было время нэпа, когда компромисс господствовал по всей жизни, когда в деревне ориентировались на богатого мужика, а в городе на дельца-спекулянта. В литературе тому же духу соответствовала ориентация на попутчиков. Возникшая из хозяйственных нужд Государственного издательства, первоначально подсказанная его торговой политикой, в высших правительственных кругах она постепенно проецировалась в виде целой теории, которую особенно горячо отстаивал А.Воронский, редактор журнала «Красная новь». Тогда-то и создалось самое прозвище *попутчиков*, т.е. людей, еще не просвещенных светом марксизма, но которым, однако же, *по пути* с революцией, что они – люди нового времени, порождение новой России, и с которыми самой революции тоже по пути – до тех пор, пока пролетариат еще не овладел литературной техникой и не может взять дело литературы в свои руки. Последний пункт, впрочем, выдвигался более для утешения партийных ортодоксов: по-

сле неудачного опыта с пролеткультами вопрос об овладении литературной техникой откладывался на неопределенный срок. Однако покровительствовать попутчикам предлагалось не безусловно, а лишь поскольку удастся перевоспитать их в марксистском духе при помощи редакторского и цензурного нажима. Возлагались также надежды на действие так называемого социального заказа, то есть на то, что правительственный спрос на агитационно полезные писания вызовет соответствующее предложение со стороны самих попутчиков.

Таким образом, очень скоро, если не с самого начала, попутчики очутились под двойным влиянием: с одной стороны, власть всемерно навязывала им не только смысл, но и тематику, и даже некоторое формальное направление, в котором должно развиваться их творчество; с другой стороны, сама жизнь, и суд общества, и суд собственной совести толкали их вовсе в иную сторону. Под этими двумя воздействиями и протекала, и протекает поныне их деятельность.

Когда «романтическая эпоха революции» сменилась нэпом, Маяковскому пришлось перестроить лиру. Из рьяного революционера он сделался благонамеренным охранителем нового, не слишком революционного порядка. Закрыв глаза на социальные противоречия в самой России, он порой еще звал иностранных рабочих на баррикады, но больше писал сатирические и злободневные стихи, обсуждая очередные задачи советских будней; обличая бюрократов, взяточников, хулиганов, пьяниц; призывал ходить в баню и не бить жен, проповедовал уважение к собственности, к семье, к начальству; советовал подписываться на выигрышные займы; дошел до того, что советские тресты заказывали ему рекламные двустушия о своих изделиях, до папирос включительно. Все это обеспечивало ему благоволение властей и оплачивалось отлично, но низводило его на степень газетного стихотворца-фельетониста. В попутчиках его раздражала их популярность, и то, что они позволяли себе роскошь чисто художественных исканий, тогда как он сам превратился в литературного поденщика, и то, что, с его точки зрения, эти искания были реакционны. Сюда примешивалась и ревность: правительство, которому он служил с первых дней революции, он ревновал к новым любимцам, которых заслуги были еще весьма гадательны, а провинности уже очевидны. В 1923 году, вместе с несколькими друзьями, он основал журнал «ЛЕФ» («Левый фронт»), в котором выставил напоказ свои заслуги и пытался нападать на попутчиков. К несчастью «Лефа», обстрел попутчиков со старых футуристических позиций не достигал цели в глазах начальства: скомпрометировать попутчиков можно было только на почве марксизма, но по этой ча-

сти сотрудники «Лефа» были несведущи, во-первых, и сами весьма уязвимы – во-вторых. Журнал влачил жалкое существование, читателей у него не было. Субсидии выдавались скупо – и то единственно ради личных заслуг Маяковского.

Настоящий поход на попутчиков начался в то же время, но с другой стороны. Дело в том, что пролетарские писатели старшего поколения (группа «Кузнец») не смели бунтовать и рады были, что изредка их печатают в журналах Воронского рядом с попутчиками. Но к седьмому году революции подросло второе поколение, мало и плохо писавшее, но уже встревоженное конкуренцией попутчиков. Этой молодежи нетрудно было привлечь на свою сторону некоторых старых большевиков, отчасти принципиально стоявших за пролетаризацию литературы, отчасти вообще недовольных новым курсом правительственной политики и потому готовых примкнуть к любой левой оппозиции. Так возник журнал «На посту», избличавший буржуазно-идеалистическую природу попутчиков, их контрреволюционность. Воронского и пролетарских писателей, вошедших в «Красную новь», сотрудники «На посту» объявили предателями рабочего класса, а себя выдвинули как истинных пролетариев (что, между прочим, не всегда соответствовало истине) и строителей новой культуры. Комсомольский журнал «Молодая гвардия» занял ту же позицию, и натиск на Воронского и попутчиков удвоился. Именно в эту пору советская критика все более стала превращаться в политический донос, что и сделалось постепенно ее традицией.

Спор между врагами попутчиков и их защитниками (у Воронского были, конечно, сторонники) длился долго и протекал бурно. Обе стороны доказывали свою верность заветам Маркса и Ленина. Кончилось тем, что сама коммунистическая партия сочла нужным вмешаться со всею силой непогрешимости и авторитета. Выслушав представителей той и другой стороны, 1 июля 1924 года центральный комитет партии вынес знаменитую резолюцию по литературному вопросу.

Констатируя, что в настоящий момент еще нет в наличности такой пролетарской литературы, которая могла бы претендовать на литературную гегемонию, резолюция тем не менее указала, что «партия должна помочь пролетписателям заработать себе историческое право на эту гегемонию», для чего «оказывать им материальную и моральную поддержку». Далее, указав, что «нейтрального искусства нет и не может быть в классовом обществе» и что литература попутчиков не соответствует пролетарской идеологии, резолюция все же признала существование попутчиков допустимым и полезным в настоящий пе-

реходный момент, ибо в числе их имеются «специалисты литературной техники», которую должно усвоить от попутчиков так же, как и от классиков, – в порядке усвоения культурного наследия буржуазии.

Таким образом, резолюция сводилась к принятию основных положений Воронского и сохранению status quo. Поскольку же тактика Воронского апробировалась теперь верховным авторитетом непогрешимой партии (которая тут же торжественно декларировала свою способность не только «распознавать безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений», но и «руководить литературой в целом» и даже разбираться в вопросе «о форме и стиле литературных произведений») – резолюция способствовала несомненному успокоению страстей. Идеологи пролетарской литературы приостановили свое наступление. Некий чекист Варейкис до того даже расчувствовался, что написал статью о необходимости «не слишком травить писателей». Попутчики радовались, что им дана передышка, пока пролетариат не превзойдет их в литературном умении. Бодро веруя в то, что такой миг наступит еще нескоро, они обрели душевное спокойствие, необходимое для работы. Воронский и его сторонники явно торжествовали победу, ободряя попутчиков и советуя им на радостях показать себя путем «усиления продукции» и «повышения качества». Разумеется, даже и самая благорасположенная к ним часть коммунистической критики повторяла на каждом шагу, что попутчики должны постепенно выровнять свою идеологию, приблизив ее к идеологии правящего класса и стараясь содействовать предначертаниям власти, – но попутчики с этим не торопились. Они осмелели даже настолько, что именно в это время были написаны самые, может быть, «контрреволюционные» из их произведений. Пролетарская молодежь, получив афронт, деятельней взялась за учение; так, например, Гладков написал «Цемент», роман беспомощный и безвкусный, но все же свидетельствующий о старании чего-то добиться трудом и усидчивостью. Словом, в советской литературе уже обозначилась эпоха сравнительно либеральная и, следственно, плодотворная, – как вдруг произошло событие, разом нарушившее перемирие, смешавшее все карты, выдвинувшее на сцену ряд новых действующих лиц и ускорившее наступление того, что вообще рано или поздно должно было случиться. Этим событием была смерть Есенина.

* * *

Сергей Есенин начал печатать свои стихи незадолго до войны, когда восемнадцатилетним белокурым парнем он прибыл в Петербург

прямиком из деревни. Сам родом крестьянин, мужика почитал он носителем истинно русской идеи. Вся европейская городская, промышленная Россия представлялась ему ошибкою, ложью, которую должно разрушить, до основания скрыть, после чего мужик построит новую, деревенскую, избяную, хлебородную Русь – сосуд высшей религиозной и общественной правды. Критика этих воззрений не входит в нашу задачу. Возможно, что к 1917 году они окончательно сложились и определили судьбу Есенина. Он пристал к октябрьской революции, оттого что увидел в ней разрушение старой лжи, необходимое для построения новой правды. Он не разделял ее коммунистических целей, но она казалась ему началом пути к тому, что «больше революции». В ее бунтарском пафосе ему мерещился залог грядущей революции духа.

Его личная жизнь была в высшей степени беспорядочна. Нелепый брак с Айседорой Дункан (в 1922 году), а затем пьяные скандалы в Берлине, Париже, Нью-Йорке доставили ему печальную известность в глазах Европы, не имевшей возможности оценить ни его поэзию, ни талант, за который в России его любили даже те, кому были чужды его воззрения и самые принципы его поэтики. Разочарование в большевизме началось у него еще перед женитьбой. Но когда в конце 1923 года, в самый разгар нэпа он вернулся в Москву – не было предела его отвращению к этому торжествующему мещанству, к торгашеству, прикрытому революционными фразами. Он запил и забуянил, как никогда. На улицах, в кабаках поносил он большевиков и читал стихи, в которых проклинал поддельных революционеров, обманувших его мечту. Его не трогали, потому что боялись признать открыто, что поэт-крестьянин, поэт-революционер возненавидел рабоче-крестьянскую, революционную власть. Наконец, в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года, в Петербурге, Есенин повесился на ремне чемодана, привезенного из Европы. Надрезав руку, он написал последние стихи своей кровью, на клочке бумаги.

Официально считалось, что Есенин покончил с собой на почве личных жизненных неудач. Маяковский, всегда готовый к услугам правительства, написал стихи, в которых, обращаясь к умершему, развязно укорял его в недостатке стойкости, приличной революционеру. Но вскоре власти почувствовали, что всеобщая скорбь о Есенине и повышенный интерес к его личности и поэзии носят оттенок весьма нежелательный. В самом деле, истинные причины есенинской смерти оказались понятны и даже близки гораздо более широким кругам, чем можно было предполагать. Великое множество русских людей пережило трагедию Есенина как свою собственную, – для этого

вовсе даже не нужно было полностью принимать его концепцию революции. Достаточно было почувствовать, что Есенина обманула мечта о революции как о пути к новой правде, и что в этом обмане больше всего повинны большевики. Особенной остроты это чувство достигало не у тех, кто, приемля революцию, с самого начала не принимал большевиков, но как раз у тех, кто, подобно Есенину, так или иначе мечты связывал с Октябрем. «Есенинские настроения» с неожиданной силой вдруг проявились среди рабочей молодежи и в комсомоле. Приказано было экстренно «прекратить есенинщину»; газеты и журналы разом обратились против Есенина, а затем вовсе умолкли о нем – до такой степени, что его имя почти перестало встречаться в советской прессе. Правительство было встревожено.

Этой тревогой тотчас воспользовались партийные и литературные круги, враждебные попутчикам. Они изо всех сил кричали, что массы уходят от коммунизма в мистическое революционерство, в народничество, в религию, потому что отсутствует строгий марксистский надзор за литературой; вспомнили про тот пункт резолюции центрального комитета, где говорилось, что руководство литературой должно осуществляться самою партией через посредство критики, и требовали, чтобы этот пункт был наконец приведен в жизнь. Иными словами, не имея возможности требовать прямой и немедленной ликвидации попутчиков, с их защитниками, требовали немедленной ликвидации всей непартийной критики и экстренного пополнения рядов критики партийной. Таким путем надеялись в недалеком будущем сделать существование попутчиков невозможным вовсе, а пока что – усилить нажим на них.

Эта вторая, ближайшая часть задачи удалась как нельзя лучше. Весь цензурно-редакционный аппарат оказался терроризирован, и деятельность попутчиков стеснена до крайности. Не нужно думать, что перед тем их положение было легко. Они и в те лучшие времена свои жили под вечным гнетом цензуры, под страхом критического доноса и в непрестанной заботе о том, чтобы высказывать свои наблюдения, но оставаться лично неуязвимыми (что, между прочим, весьма отразилось на их литературных приемах, в особенности на стремлении вести повествование не от своего имени, а от имени вымышленного повествователя, которого формально нельзя отождествить с автором). Даже наиболее расположенные критики и редакторы, как Воронский, никогда не переставали «выпрямлять» их воззрения, навязывать им сюжеты и самые приемы письма. В сущности, попутчики вели постоянную игру в прятки с большевиками; не раз удавалось им обмануть всесильного партнера, не раз они сами были пойманы

и уличены. Неудивительно, что одни проявляли при этом немалое мужество и упорство, другие – слабость, уступчивость, в которых вряд ли мы вправе их упрекнуть. Некоторые доходили до прямого прислужничества. И все-таки, жертвуя своими силами, качеством своего труда, порой даже совестью, они делали важное и благое дело. Но после того как враги их набрали силу, а защитники ослабели, их положение стало исключительно тяжело. Наконец разразился над ними еще удар: Воронский, имевший неосторожность связаться в чисто политическую борьбу Сталина с Троцким, в конце 1927 года был сослан. Вероятно, он пострадал не только за политическую, но и за литературную свою деятельность. Продолжать его дело по отношению к попутчикам охотников не нашлось. Попутчики остались без покровительства. Грядущее не сулило им ничего хорошего.

Казалось, группа «На посту» получила реванш. Новые пролетарские писатели, оттеснив «Кузницу», заняли командные должности во Всероссийской ассоциации пролетарских писателей и готовились занять место попутчиков – если не в умах читателей, то на страницах казенных журналов, ради чего, в сущности, и велась ими борьба. Момент был тем более благоприятен, что намечалось уже свертывание нэпа и, следовательно, новая перестройка всего жизненного уклада. Но тут ворвалась на сцену новая сила, созидательная по данному ей заданию, разрушительная по результатам своей деятельности.

Уже начиная примерно с 1927 года высшие учебные заведения стали в большом количестве выпускать молодых марксистов, получивших ускоренную подготовку для критической и редакционной деятельности. Остатки немарксистской критики были немедленно изгнаны отовсюду, но на этом дело не остановилось. Молодым людям не стоило особенного труда доказать, что старые критики-большевики отравлены пережитками буржуазной культуры, в которой они воспитались. Так погиб ряд славных партийных репутаций – Луначарского в том числе. Молодежь согнала стариков с насиженных редакторских кресел и со страниц журналов. Но это еще не значило, что в ее собственной среде царило согласие. Напротив, полемика возгоралась среди победителей, и не прошло года, как советская критика превратилась в войну всех против всех.

Марксистская критика исследует литературное произведение с единственной целью определить, является ли его автор последовательным марксистом. Эта задача сама по себе ведет к расхождениям; но трудность ее особенно возрастает оттого, что она должна и осуществляться путем применения строго марксистских методов литературного исследования, а эти методы, по собственному призна-

нию большевиков, до сих пор не разработаны. Расходясь в оценке отдельных произведений, новые критики с первых шагов очутились перед необходимостью каждый раз чуть ли не создавать собственный метод и тут же его защищать от натиска противников, в свою очередь несогласных друг с другом. В нормальной обстановке такие споры, при всей их сложности, могли бы быть плодотворны. В советских условиях они даже не могут быть доведены до конца, ибо арбитрами здесь являются партийные органы, состоящие из людей, в литературоведении некомпетентных и в судьбах литературы как таковой незаинтересованных. Спорщикам приходится аргументировать в пределах их понимания, то есть насильно и часто некстати припаянными цитатами из Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Сталина. Такая цитата сразу решает не только научную судьбу спора, но и жизненную судьбу спорщиков. Уличенный в ошибке рискует быть исключен из партии, ошельмован и выброшен на улицу, если не сослан. Зато удачной цитатой человек возносит себя на вершину критического Олимпа и повергает в грязь противника, пока новый счастливец не свергнет его самого.

Естественно, что при таких обстоятельствах всеобщий спор быстро превратился в сеть политических доносов и утратил всякий научный смысл. К середине 1929 года это побоище достигло высшего напряжения. Но на поэтах и беллетристах его последствия сказались еще раньше. Понравиться даже всемогущему критику стало опасно, ибо рано или поздно в своем неминуемом падении он мог увлечь за собою тех, кого выдвигал. Нередко так и случалось. Редакционные коллегии журналов то и дело менялись в составе или меняли ориентацию. Писатель, рукописи которого принимались вчера охотно, сегодня уже напрасно пытался пристроить их. Каждая книга любого журнала пестрела новыми именами, которым не суждено было появиться ни в одной из следующих. Общая неуверенность в завтрашнем дне и общая судьба постигли равно и попутчиков, и пролетариев. Все одинаково оказались на подозрении. Постепенно, съедая себя самое, новая критика, призванная «организовать литературу», съедала и литературу.

Всю эту последнюю эпоху, которая продолжается и поныне, всего вернее назвать эпохой террора, когда любое слово есть повод для неожиданных обвинений. Раньше цензура и критики преследовали лишь вредное; ныне вредным объявлено бесполезное. Если раньше карались лишь явно выраженные уклоны вправо, то ныне столь же опасно быть уличенным в уклоне влево. Кто видит темные явления советской жизни, тот клеветает на советскую республику; кто их не

видит, тот злобно стремится усыпить бдительность пролетариата. Если герои не коммунисты – значит, автор не интересуется коммунизмом, если герои коммунисты, то либо автор их оклеветал, либо не так похвалил, либо не понимает, в чем истинная добродетель коммуниста. Если и безупречный коммунист ходит в грязной сорочке – значит, автор не понимает, что коммунисты своим примером должны учить чистоплотности; если он ходит в чистой – значит, автор не понимает, что коммунисту некогда думать о себе... Примеры такие можно привести в бесконечном множестве. Суть их сводится не только к тому, что казуистика марксистских критиков не может выдержать ни одно литературное произведение и даже ни одна его частность. За преследованием отдельных промахов здесь лежит страшная общая идея о том, что литература должна выражать истину, полнота же истины никакой личности, даже личности коммуниста недоступна и составляет прерогативу одной лишь коммунистической партии. С тех пор как эта идея начала все явственней проступать в советской критике, пролетарские писатели очутились в положении людей, так же обреченных заблуждаться, как и попутчики, и, в сущности, так же подлежащих уничтожению, иными словами, советская критика находится накануне того, чтобы провозгласить вполне инквизиционное положение, в силу которого литература должна быть уничтожена, чтобы избавиться от греха, в котором она пребывает по самой своей природе.

Уже с 1926 года опасность быть «разоблаченным» и сброшенным с пьедестала почувствовал даже сам Маяковский. Не отваживаясь вступать в борьбу (и тем проявив отличное понимание обстановки), довольно долго старался он умиловить противников. Наконец, три года спустя, видя, что постепенно его окружают со всех сторон, он придумал обходное движение, выдвинул мысль о необходимости заменить *литературу вымысла литературой факта*, которая, видимо, должна была относиться к литературе вымысла, как фотография к живописи. Замысел остался неразработан, потому что в марте 1930 года¹ Маяковский застрелился (на любовной почве). Стратегически этот маневр вряд ли можно признать удачным, потому что, в сущности, он означал полное отступление из области художественной литературы в область репортажа (допустим – художественно украшенного). Но кое-какие тактические временные выгоды он мог принести в том смысле, что, не охраняя литературы в высоком смысле, сохранял для некоторых возможность литературного заработка.

¹Маяковский застрелился 14 апреля. – Ред.

По этому пути и пошло очень большое количество писателей. Уже два года журналы наполнены описаниями поездок по всевозможным заводам, колхозам, фабрикам, по диким местам, где производятся работы, предусмотренные пятилетним планом. Писатели путешествуют целыми «бригадами». Наиболее изобретательные забираются в глубь Урала, Сибири и Туркестана, на острова, лежащие за полярным кругом: экзотические предметы таких путевых очерков уводят от нудной жизни из Москвы и Петербурга и позволяют под маской географии, этнографии, фольклора скрыть последние попытки художественного творчества.

Однако под пеплом еще есть огонь. Еще появляются повести и романы, написанные то попутчиками, то пролетариями, но все более суживается область допускаемых тем, мыслей, чувств. Одни умолкают вовсе, другие насилуют себя, как Леонов, пытаюсь следовать указаниям критики и никогда не имея возможности угодить ей. Ныне попутчики и пролетарии уже одинаково задыхаются в тисках партийного руководства. Недалек день, когда даже литература очерков подвергнется критическому пересмотру и от нее тоже не останется ничего, ибо ведь и фотограф вносит в свое ремесло личное, творческое начало: он выбирает сюжет съемки, ее момент и угол.

Советская литература переживает самый тяжелый, может быть роковой, период существования. Облегчить или изменить ее участь могло бы только правительство, крепко и навсегда взявшее ее судьбу в свои руки. Но сделает ли оно это и может ли сделать, не перестав быть собой? Художественное творчество или возникает в глубине творческой личности, или не возникает вовсе. Марксизм, как учение, отрицающее личность, неизбежно приводит к отрицанию литературы. Четырнадцать лет стараясь создать художественную литературу на марксистской основе, советское правительство искало того, что не осуществило и что ему в действительности не нужно. Поскольку это правительство было последовательно, оно было неискренно, ибо заботилось об агитации, а не о литературе. Поскольку оно было отчасти искренно, оно было непоследовательно и действовало под влиянием тех идеалистических пережитков, в которых некогда воспитывалось и которые еще заставляют его допускать возможность марксистского искусства. Теоретически непоследовательны и те молодые марксисты, которые еще ныне пытаются организовать ортодоксальную коммунистическую литературу. Они, однако, могут гордиться тем, что уничтожают всякую литературу на деле.

Белый коридор

I

К концу 1918 года, в числе многих московских писателей (Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, Пастернака и др.), я очутился сотрудником Тео, т.е. Театрального отдела Наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведовать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа.

Писатели в Тео были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда являлись и неизвестно куда пропадали, высказав свое мнение. В Тео преимущественно заседали, но, вероятно, не было и двух заседаний с одинаковым составом участников. Поэтому ни один вопрос не ставился точно и ни одно дело не доводилось до конца. Впрочем, никто и не знал, что надо делать. Говорили преимущественно «к порядку дня» и перманентно «организовывались», неизвестно, с какою целью. Однако заседали секционно, коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции и мандаты, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Все пересаживались, как крыловский квартет.

Были разные секции. Вячеслав Иванов, например, заведовал историко-театральной, а Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником) стоял во главе репертуарной, в которой сидел и я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались проташить классический репертуар: Мольера, Шекспира, Гоголя, Островского. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то «делегаты с мест», и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: «Теща в дом – все вверх дном», «Денщик

подвел» и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания – в остановившихся типографиях, на несуществующей бумаге. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в штиблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Однажды в Тео, на лестнице, я встретил Андрея Белого. Перед тем мы не виделись месяца два. На нем лица не было. Кажется, мы даже ничего не сказали друг другу – только посмотрели в глаза. Через несколько дней, возвратясь домой с рынка, где пытался купить муки, я застал его у себя. Он писал мне записку – один молодой поэт выхлопотал нам аудиенцию у Луначарского, который готов выслушать писателей: аудиенция завтра в восемь часов вечера, встреча у Троицких ворот Кремля.

* * *

Усталые, голодные, назаседавшие на заседаниях и настоявшиеся в очередях, мы встретились в темноте у манежа. Пришли: Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак, Георгий Чулков, еще кто-то. Никто не опоздал. Двинулись по мосту, к воротам. У кого-то в руках – пропуск на столько-то человек. Часовой каждого трогает за плечо и считает вслух: «Один, другой, третий...», – гуськом пропускает нас в темную щель ворот. В Кремле тишина, снег, ночь.

Сейчас же за Троицкими воротами, к арке, соединяющей Большой дворец с Оружейной палатой, идет узкая улица. Заходим налево, в комендатуру. Опять проверка – и новые пропуска: в *Белый коридор*. Минуем Потешный дворец и входим в большую дверь, почти под Оружейной палатой. За дверью темно, только где-то в глубине здания, в полуподвале, виднеется смутно освещенный гараж. Подымаемся

по темной лестнице. На поворотах стоят часовые. Наконец – площадка, тяжелая дверь, а за ней ярко освещенный коридор.

Не знаю, большевики ли дали ему это имя, или он так звался раньше, – но коридор действительно белый: типичный коридор старого казенного здания – прямой, чистый, сводчатый. Гладкие белые стены, белые двери справа и слева, как в гостинице. Широкая красная дорожка стелется до конца, где коридор упирается в зеркало.

В ту пору Белый коридор был населен сановниками. Там жили Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Каждый апартамент состоял из трех-четырёх комнат. Коридор жил довольно замкнутой жизнью, не лишенной уюта и своеобразия. Сюда не допускался простой народ, и здесь можно было не притворяться. На этой почве случались маленькие конфузы. Наутро после взрыва в Леонтьевском переулке, когда весь Кремль был охвачен паникой, когда (по тогдашнему выражению Каменева) все думали, что «уже началось», Ольге Давыдовне было необходимо куда-то ехать. Она шла по коридору. Теща Демьяна Бедного, простая женщина, увидала ее, подбежала и наспех перекрестила.

Мы вошли к Луначарскому. Просторная комната; типично дворцовая мебель восьмидесятых годов, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом. Вероятно, до революции здесь жили дворцовые служащие.

Поздоровавшись, сели мы как-то нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас, посреди комнаты. Позади его помещался писатель Иван Рукавишников, козлородый, рыжий, в зеленом френче. Когда мы вошли, он уже сидел в большом кресле, с которого не поднялся ни при нашем появлении, ни потом. Он только слегка кивнул головой, что-то промычав. Его присутствие, так же как неподвижность, слегка удивило нас. Но позже все объяснилось.

Луначарский откинулся назад, сверкнув пенсне, внимательно осмотрел нас (мне показалось – пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он неумен, самовлюблен и склонен к вычурам. Против ожидания, он говорил совсем просто. Любование собой сказало только в чрезвычайной пространности его речи, а ее плавности мешало непрерывное подрыгивание ног.

Подробностей того, что сказал Луначарский, я, конечно, не помню. В общем это была вполне характерная речь либерального министра из очень нелиберального правительства, с приличной долей даже легкого как бы фрондирования. Все, однако, сводилось к тому,

что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой «весны» он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к «весне», а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть (это выражение заметно ласкало слух оратора, и он его произнес многократно, с победоносным каждый раз взором) – рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабочая власть желает нам всяческого успеха, но просит помнить, что лес рубят – щепки летят.

Все это, повторяю, было высказано очень складно и длинно, но не оставляло сомнений в том, что летящие щепки (это выражение мне запомнилось в точности) – это и есть писатели. Видя, должно быть, наши вытянутые физиономии, Луначарский захотел нас утешить. В заключение он прибавил, что ему известно, как тяжело нам служить в учреждениях, и что, разумеется, дело писателей – писать, а не заседать, но это можно облегчить, если устроить еще одно учреждение, а именно литературный отдел Наркомпроса, в параллель к театральному. Он даже пообещал, что вскоре начнется обширнейшая серия заседаний на тему об организации такого отдела, и мы будем привлечены к участию в этих заседаниях.

После этих слов стало уже окончательно ясно, что с ним говорить не о чем и не к чему. Однако мы все ощущали такой стыд за него, что не имели сил просто встать и откланяться. Мы переглянулись между собою, и наконец кто-то ему ответил несколько слов, ничего не значащих. Казалось, аудиенция кончена. Но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес:

– Пр-рошу... сслова...

Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахинею. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-азволил п-п-предложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-дааа... дворец из стекла и мрррамора... и ал-л-люминия... м-м-мда-а... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны, – и как его? Это самое... – коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-авительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это все кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные сло-

ва и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом, ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяча пятистам сорока восьми с половиной квадратным саженям, а каждая комната – восемь сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.

Луначарскому, видимо, было неловко, он смущенно на нас поглядел, но у нас лица были каменные. Когда Рукавишников затих, мы встали и ушли, молча пожав руку Луначарскому. С Рукавишниковым не прощались. У подъезда стояли сани с медвежьей полостью. Кто спросил туго набитого кучера:

– Это за кем лошадь?

– За товарищем Рукавишниковым.

Тот же часовой, те же Троицкие ворота, за ними – тьма. Прочитав пропуск, часовой гуськом выпускает нас в узкую щель и считает вслух: «Один, другой, третий»... Каждого трогает за плечо. Так слепой циклоп Полифем, боясь упустить Одиссея со спутниками, считал и щупал своих баранов у выхода из пещеры.

Проходим по мосту. Молча идем дальше. Почти всем по пути: на Арбат, на Смоленский бульвар, в Хамовники...

* * *

Рукавишников, плодовитый, но безвкусный писатель, был родом из нижегородских миллионеров. Промотался и пропился он, кажется, еще до революции. Он был женат на бывшей цирковой артистке, очень хорошенькой, чем и объясняется его положение в Кремле. Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию – цирковую, которую и возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда, рядом с автомобилем Каменево́й, появился парный выезд Рукавишниковой: вороные кони под синей сеткой – из придворных конюшен. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные ни более и ни менее как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже.

Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Моховой, взрывая снежные кучи, под свист мальчишек, выбрасывая из ноздрей струи белого пара, широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи жались к сторонке и шептали:

– С нами крестная сила!

Однажды мы в Театральном отделе прозаседали часов до пяти. Я сидел далеко от Каменевой. Вдруг получаю от нее записку. Пишет, что заседание затянулось, а между тем у Балтрушайтиса есть две ирландские пьесы, которые необходимо экстренно прочесть и обсудить в репертуарной секции. Так вот – свободен ли я сегодня после девяти часов вечера? Отвечаю на той же записке: «Да» – и спустя несколько минут получаю от секретаря полоску бумаги с красной печатью и подписью Каменевой: пропуск в Кремль. Секретарь шепчет:

– Ольга Давыдовна просит собраться у нее на дому, потому что здесь нетоплено и нельзя задерживать низших служащих.

Я подумал, что и впрямь уж лучше слушать ирландские пьесы в тепле, чем в холоде. С Неглинной пошел по сугробам к себе на Девичье Поле, а вечером – с Девичьего Поля в Кремль.

Дверь Каменевых – в самом конце Белого коридора, направо. Постучав, попадаю в столовую. Посредине комнаты – большой круглый стол. Несколько стульев. В углу, слева от входа – камин. Стены голые, коричнево-серые. Вообще у комнаты вид нежилой, казарменный. Кроме входной в ней еще две двери, из которых левая закрыта. Хозяйка ведет меня в правую, в кабинет Каменева.

Войдя, вижу, что «наших», из репертуарной секции, никого еще нет. Каменев в новом, еще не обмятом костюме из коричневой кожи, беседует с двумя или тремя людьми большевистского типа. Знакомимся, но, по русскому обучаю, фамилии так произносятся, что не разобрать их. Немного поговорив со мной, Ольга Давыдовна исчезает. Каменев продолжает разговор со своими гостями. Зачем они здесь? Впрочем, они, вероятно, уйдут, когда начнется наше заседание.

От тепла я давно отвык. В толстом свитере, в кожаной куртке на байковой подкладке, в валенках – мне становится слишком жарко, размаривает. Чтобы не задремать, разглядываю комнату. Ковер, большой письменный стол, телефон. Мягкая мебель – точно такая, как у Луначарского: очевидно, весь Белый коридор ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темно-зеленый. Подхожу, вижу за стеклами корешки, улыбаюсь.

В ту пору Книжная лавка писателей, где работал и я, почти одна торговала на всю Москву. Мы хорошо знали рынок. Огромный спрос был на философию, на стихи и на художественные издания, в особенности на последние. Новый покупатель кинулся на них жадно. Шел к нам «за искусством» и сознательный рабочий, и молодой пролеткультовец, и партиец. Но всего больше – попросту спекулянт,

забронированный сорока мандатами, спешащий превратить падающие советские деньги в более прочные ценности. Конечно, золото, камни, валюта – лучше, но хранить их опасно. А книги пока еще разрешаются. Ну, конечно, и украшение для жилища, культурный лоск. Помню, один подкатил к лавке с разобранным книжным шкафом американской системы.

– Вот, купил шкаф по случаю. Теперь надо в него книг набрать.

Бенуа, Грабарь, издания Общины св. Евгении, всевозможные монографии о художниках. «Царская и императорская охота», Ровинский, Мутер, Рейнак, книги вел. кн. Николая Михайловича, издания «Скорпиона», «Грифа», «Альционы», «Золотое Руно», «Аполлон», «Старые Годы», даже «роскошное» сыгинское издание «Войны и мира» – все это было нарасхват, вместе со словарем Брокгауза и с изданием классиков. Требовалось все видное, переплетенное, многотомное.

Все эти Грабари, Бенуа, «Скорпионы» да «Альционы» глянули на меня из-за стекол каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, не разрезано. Да и где же так скоро прочесть все это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни советские дамы, знавшие только Эрфуртскую программу, спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились «салонами». По обязанности, они покровительствовали пролетарским писателям, но «у себя», на равной ноге, хотелось им принимать «буржуазных».

Меж тем собрались «наши». Пришел Балтрушайтис с папкой в руках (вот они где, ирландские пьесы!), за ним – Чулков, Иван Новиков, Волькенштейн. Пришел Сураварди, о котором надо сказать особо. Родом индус, он приехал в Россию из Оксфорда, в 1916 году, в качестве туриста. Побывал в Петербурге, в Киеве, в Крыму, а к концу 1917 года очутился в Москве. С изумительной быстротой научился он русскому языку и вскоре в литературной и театральной Москве стал всеобщим любимцем. Бывал всюду, работал в Художественном театре, основательно ознакомился с русской литературой и сумел полюбить не только ее, но и самую Россию, полюбить бескорыстно, в самые тяжкие годы ее. С нами он голодал, холодал, с нами же очутился и в репертуарной секции Тео. В 1920 году он бежал из советской России (его не хотели выпустить) и долгие годы жил в Праге, в Берлине, в Париже, жизнью русского эмигранта. Сейчас он в Индии.

Вдруг появился Вяч. Иванов, с ним еще кто-то из секции историко-театральной. Их неожиданный приход я старался объяснить себе тем, что, должно быть, на этот раз решено расширить состав «при-

сутствия»: должно быть, ирландские пьесы этого требуют... Так ли, иначе ли, но, по-видимому, все наконец в сборе. Можно и заседать, скоро десять. Однако Каменев со своими знакомыми не уходит.

Сураварди мне шепчет:

– Кажется, нас заманили в гости?

Я пожимаю плечами:

– Надеюсь, нет.

Вдруг шум, восклицания, смех в столовой – и разом вваливается целая кавалькада: Иван Рукавишников в своем зеленом френче, за ним Луначарский, сияющий, оживленный, между двух дам: одна – жена Рукавишникова, в черном шелковом платье, с бесчисленными оборками, с огромным вырезом на груди, другая – секретарша Луначарского, с длиннейшим, словно приклеенным носом. Вполне придворная тонкость: она в точно таком же платье, как госпожа Рукавишникова, только вырез гораздо меньше. Очевидно, эту компанию ждали. В комнате прибавляют света, мужчины осанятся, дамы щебечут. Теперь я уже и сам начинаю думать, что Сураварди прав: мы действительно угодили в гости. Хочу спросить Балтрушайтиса, в чем дело, но в эту минуту Луначарский, усевшись к письменному столу, громко спрашивает:

– Итак, можно приступить к чтению?

Все занимают места. Я смотрю на Балтрушайтиса: разве не он будет читать? В руках у него по-прежнему папка с ирландскими пьесами. Луначарский говорит:

– Я предложу вашему вниманию две пьесы Ивана Васильевича.

Как? Пьесы Рукавишникова? А ирландские? Но дело сделано: очевидно, за наше жалованье мы обязаны не только служить в Тео, но и составлять литературный салон Ольги Давыдовны.

Луначарский начинает читать. Час от часу не легче! Он читает по книге! Значит, мы должны слушать рукавишниковские пьесы, да еще не новые, а давно напечатанные, которые, даже если бы было нужно, мы могли бы прочесть сами. Это значит: нас заманили, чтобы фактом нашего присутствия чтение старых пьес мужа г-жи Рукавишниковой превратить в литературное событие.

Рукавишников был не бездарен, но пошл. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами вперемежку с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Луначарский читал по всем правилам драматического искусства, за разных лиц – на разные голоса. Видимо, к чтению он заранее подготовился. Слушать его кривляние бы-

ло тяжело. «Часовщик» тянулся долго. Надоел припев, повторявшийся много раз и, кажется, очень нравившийся Луначарскому. Слегка раскачиваясь и поблескивая пенсне, он произносил стремительной скороговоркой:

Быстро, быстро, быстро, быстро...

потом обрывал, выдерживал паузу и медленно говорил:

Мчится время...

и опять, после паузы, поскорее:

...в мастерской часовщика.

Когда оно эдак промчалось раз десять, пьеса кончилась. Но так как в Кремле время мчится не так быстро, как в мастерской часовщика (и как нам хотелось бы), то всем надоело. Хозяин пригласил пить чай.

Стол в столовой не только был «сервирован», но и, так сказать, маскирован. Сервирован узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это – дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанного топленным маслом, а в сахарнице – куски грязного, так называемого «игранного» сахара: свое название он получил от того, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы.

Общий разговор не налаживался. «Они» – между собой, «мы» – между собой. Один Вячеслав Иванов сумел найти общую тему с хозяевами. Меж тем близилась полночь, а впереди предстояла еще целая пьеса.

Опять перешли в кабинет. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. Есть на мельнице inferнальный кот. Он не говорит, но на протяжении всей пьесы то и дело кричит «мяу». Луначарского давно уже нет на свете, и как-то неловко сейчас вспоминать его долгое, звучное, истомное мяуканье с руладами. Но тогда было невыносимо смешно смотреть, с каким артистическим увлечением мяукал

министр народного просвещения. И главное – невозможно было отделаться от забавной мысли о том, как он это мяуканье репетировал, – может быть, вместе с автором.

После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декадентщина не подходит и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишникова. Поэтому разговор сразу принял общий характер. Большевики говорили что-то большевистское, но некстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти? Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами – вплоть до Агриппы Неттесгеймского. Наконец – не могу этого утаить – кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута: о «творчестве» Рукавишникова говорили, как будто всерьез, и его имя хоть без восторгов, но все же произносилось наряду с разными высокими именами: дескать, Гете полагал вот что, а Рукавишников – вот что, Новалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников – иначе. Так что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э-э» или «угу» или уже вовсе без обиняков: «ммм». Дело в том, что он был, по обыкновению, пьян.

Был второй час на исходе. Стали прощаться. Хозяева уговаривали побыть еще. Вячеслав Иванов сказал с улыбкой:

– Нет, пора. Хорошо вам, вы остаетесь в Акрополе, а нам еще идти в город.

Противившись с обитателями Акрополя, мы вышли. Опять у подъезда лошади Рукавишниковых. Опять Полифем у ворот считает нас, трогая за плечо: «Один, другой, третий... Проходи!» Ночь. Мороз. Впереди – Воздвиженка – непроглядная. Кажется, что не хватит сил дойти до дому.

Ничего. Дойдем. Бог нас не оставит.

III

К началу 1920 года я уже не служил в Театральном отделе, зато заведовал двумя маленькими учреждениями: московским отделением издательства «Всемирная литература» и Московской Книжной Палатой. Одно помещалось на Знаменке, другое – на Девичьем Поле. Оба находились под вечной угрозой уплотнения и выселения. Лично я тоже мучился, живя в полуподвальном этаже, в квартире, не топленной больше года. С улицы, сквозь гнилые рамы, текли в комнаты потоки талого снега. Стекла были на палец покрыты льдом. Я стал

мечтать о том, чтобы сразу избавиться от всех трех кризисов, отыскав такую квартиру, в которую можно было бы поместить и оба мои учреждения, и себя самого. Весь январь и половина февраля ушли на бесплодные поиски.

Приближение болезни я почти всегда ощущаю заранее. Так было и в этот раз. Чувствовал, что уже больше месяца на ногах мне не продержаться: слягу от изнурения и истощения. Однако решил напрячь последние силы. Ходил из конца в конец города, осматривая разгромленные квартиры – без окон, без дверей, без обоев, с ваннами, полными заледеневших нечистот, с полами, прожженными до земляного наката, потому что на них перед этим разводились костры. Никуда нельзя было въехать без ремонта, о котором при тогдашних обстоятельствах нечего было и думать. Между тем я слабел с каждым днем. Наконец я решил идти к Каменеву, как председателю Московского совета: пусть он мне даст письмо в центральный жилищный отдел. Я позвонил к нему по телефону; он мне назначил свидание вечером, у себя на дому.

Я пришел в условленный час, но его еще не было. Ольга Давыдовна, у которой к тому времени почему-то отняли Театральный отдел и дали в заведование отдел социального обеспечения, сидела в столовой за круглым столом со своим подчиненным – коммунистом Дивильковским. Случайно я кое-что знал о нем. Это был старый большевик, честный человек, не сумевший сделать карьеры; по-видимому, он страдал горловой чахоткой, был тощ, зелен лицом, очень бледен и обременен семейством. Кстати сказать, это отец того Дивильковского, который впоследствии состоял при Воровском и был ранен в Лозанне, когда Воровский был убит. Другой сын, лет двенадцати, в ту зиму захворал туберкулезом; его поместили в санаторий, где находился один мой родственник; бедный мальчик мечтал иметь монте-кристо, случайно у меня было такое ружьишко, которое я ему и послал – в подарок от неизвестного.

Ольга Давыдовна долго мытарилась Дивильковского разговором о съезде каких-то работниц, близоруко ныряла в портфель, доставала оттуда бесчисленные листы ремингтонированной бумаги и без умолку тараторила: энергично проводила какую-то кампанию. Дивильковский кашлял и смиренно с ней соглашался. Я сидел у камина, и, как в прошлое посещение, меня разморило от непривычного тепла.

Наконец, насытись программами и проектами, она спросила у Дивильковского:

– Как ваш мальчик?

– Плох. Доктор велел давать портвейну или коньяку с молоком –

да где же их достанешь?

Я думаю, что это было сказано не без тайной надежды: вся Москва знала, что именно у Каменевых вино водится в изобилии. В частности, «каменевский» коньяк, которым они кое-кого угощали, даже славился.

Казалось, Ольга Давыдовна была тронута:

– Бедный мальчик, я дам ему рису. Кажется, у нас и вино найдется.

Потом опять пошли разговоры, потом пришел Каменев, потом Ольга Давыдовна выбежала из комнаты и вернулась с крошечным мешочком – не более полуфунта.

– Вот рис для вашего сына.

А вино? Вино было забыто, затараторено. Дивильковский взял рис, низко кланялся, благодарил, ушел.

Я изложил Каменеву свое дело. Он долго молчал, а потом ответил мне так:

– Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать. Но поверьте – вам от этого будет только хуже.

– Почему хуже?

– А вот почему. Сейчас они просто для вас ничего не сделают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для житья давно заняты, а пустуют такие, в которые вселиться немислимо.

Я молчу, но сам чувствую, как лицо у меня вытягивается. Каменев после паузы продолжает:

– Конечно, у них есть припрятанные квартиры. Но ведь вы же и сами знаете, что это – преступники, они торгуют квартирами, а задаром их вам никогда не укажут.

Снова молчание.

– Если вы непременно хотите, я дам письмо, – повторяет Каменев, – только ведь вы меня же потом проклянете.

Молчу. Надо поблагодарить и уйти, но подняться почти нет сил, потому что я болен, а главное – потому что после Каменева уже обращаться некуда. Покуда я здесь – вдруг что-нибудь еще наклонится? Если же я уйду, все будет кончено, и надеяться больше не на что. Должно быть, все это написано у меня на лице, и Каменев неожиданно спрашивает, не без легкого раздражения:

– Ну, а что бы вы раньше сделали в таком случае?

– Раньше – я бы купил «Русское слово» и снял бы квартиру по объявлению.

Каменев не ответил; он уходит в свой кабинет и возвращается в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Прощается. Я тоже хочу уйти, но Ольга Давыдовна меня удерживает:

– Посидите, пожалуйста, я с вами хотела посоветоваться по одному делу.

Опять сажусь у огня и, к стыду своему, чувствую, что я рад остаться: в ушах шумит, сердце тяжело бьется, к ногам и рукам привязаны пудовые гири. Тащиться домой через всю Москву нет сил.

Из просителя я превращаюсь в знакомого. Мы с Ольгой Давыдовной коротаем вечер. Она в черной юбке и в белой батистовой кофточке. Должно быть, за день она тоже немного устала, прическа ее рассыпалась. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не рождаются, а делаются; идея о природном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу – певицей или танцовщицей; дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Этой чепухи я уже много слышал на своем веку – и от большевиков, и не только от них. Возражаю лениво, не для того, чтобы переубедить ее, а для того только, чтобы не вводить в заблуждение мнимым согласием. Боже мой! Что за странная женщина! Дала бы мне спокойно отдохнуть и посидеть в тепле! Не тут-то было, ей нужно перемалывать «культурные» темы! Вместо того, чтобы самой отдохнуть, она произносит передо мной целую речь – интересно знать, которую за сегодняшний день?

После всевозможных околесниц для меня становится ясно, что Ольга Давыдовна не хочет примириться с утратой Театрального отдела. Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт. В чем состоит разница, мне не ясно, да и неинтересно, но нельзя сомневаться, что Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит – опять будут морить людей заседаниями, в которых я лично могу не участвовать, потому что у меня две службы, но в которых заставят участвовать тех, у кого нет службы и кого можно за неучастие обвинить в саботаже. Мне хочется выгородить товарищей, и я начинаю доказывать Ольге Давыдовне, что писателей звать не стоит, что они могут читать лекции по своей специальности, когда все будет готово, но организовывать они ничего не умеют, это не их дело. Между прочим, оно так и есть в дей-

ствительности, но Ольга Давыдовна мечтает именно хорошенько по-заседать. К счастью, в эту минуту входит толстая баба в валенках – прислуга. Она зовет Ольгу Давыдовну к сыну. Ольга Давыдовна убегает.

В ожидании, пока она вернется, я прогуливаюсь по комнате. Подхожу к окну, возле которого стоят высокие деревянные козлы. На них – картонная модель театральной сцены, замеченная мною еще в прошлое посещение. Она потрепалась, покрылась пылью, занавес висит косяком. Заглядываю внутрь и вижу пустую сцену без декораций, посередине которой лежит желтая кобура револьвера. Тогда это зрелище показалось мне олицетворением театральной деятельности Ольги Давыдовны, и я улыбнулся. Теперь вспоминаю его, как предзнаменование гораздо более мрачное.

Ольга Давыдовна возвращается и говорит сокрушенным голосом:

– Что за несчастный мальчик! Хворает уже больше месяца! Совсем уже было поправился – а вот сегодня опять ему хуже. А ведь какой способный! Прекрасно учится, необыкновенно живо все схватывает, прямо на лету! Всего четырнадцать лет (кажется, она сказала именно четырнадцать) – а уже организовал союз молодых коммунистов из кремлевских ребят... У них все на военную ногу.

Если не ошибаюсь, этот потешный полк маленького Каменева развился впоследствии в комсомол. О сыне Ольга Давыдовна говорит долго, неинтересно, но мне даже приятно слушать от нее эти человеческие, не из книжек нахватавшие слова. И даже становится жаль ее: живет в каких-то затверженных абстракциях, схемах, мыслях, не ею созданных; недаровитая и неумная, все-то она норовит стать в позу, сыграть какую-то непосильную роль, вылезть из кожи, прыгнуть выше головы. Говорит о работницах, которых не знает, об искусстве, которого тоже не знает и не понимает. А вероятно, если бы взялась за посильное и подходящее дело – была бы хорошим зубным врачом... или просто хорошей хозяйкой, доброй матерью. Ведь вот есть же в ней настоящее материнское чувство...

И вдруг...

Вдруг – отвратительно, безобразно, постыдно, без всякого перехода, без паузы, как привычный следователь, который хочет поймать свидетеля, Ольга Каменева ошарашивает меня вопросом:

– А как по-вашему, Балтрушайтис искренне сочувствует советской власти?

Этот шпионский вопрос вдвойне мерзок потому, что Балтрушайтис, как всем известно, личный знакомый Каменевых. Он бывает у них запросто, а между тем Ольга Давыдовна шпионит о нем околь-

ными путями. И этот вопрос еще вчетверо, вдесятеро, в тысячу раз мерзок тем, когда и как задан. Оказывается, она говорила о больном сыне для того только, чтобы неожиданной подцепить меня. Конечно, это уж очень нехитрый прием, пригодный разве только для уловления уж очень простых и неподготовленных людей. И конечно — Ольга Давыдовна знает, что вряд ли я на него попадусь. Тем не менее вслед за вопросом о благонадежности Балтрушайтиса она спрашивает о Бальмонте, о Брюсове, о целом ряде писателей. При этом, то щурясь, то поднимая к глазам лорнетку, она изо всех сил глядит мне в лицо. Ни оборвать, ни замять этот разговор нельзя, потому что это для нее будет значить, что тема о любви писателей к советской власти кажется мне рискованной. И вот я поддерживаю этот разговор, как ни в чем ни бывало, и мы беседуем, перебирая знакомых одного за другим, и выходит по моим сведениям, что все это люди с точки зрения преданности советской власти отменнейшие. Похоже на разговор Чичикова с Маниловым. Вся трудность для меня заключается в том, что о каждом человеке надо сказать по-разному, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-нибудь показался Ольге Давыдовне менее благонадежным, чем другие.

После небольшой паузы, глядя в огонь и рассеянно мешая кочергой уголья, Ольга Давыдовна полунебрежно, но в то же время не скрывая легкой досады, спрашивает:

— А вы, значит, по-прежнему заведуете московским отделением «Всемирной литературы»?

— Да, — отвечаю я, но этот вопрос заставляет меня снова насторожиться.

Дело в том, что идея этого издательства принадлежала Максиму Горькому, который и стоял во главе его. В то же время мне было известно, что между семействами Горького и Каменева идет вражда. Когда в Москве учреждался Театральный отдел, на заведование им претендовала жена Горького, М.Ф. Андреева, бывшая артистка Художественного театра. По разным причинам кандидатура Андреевой в Москве провалилась, и вместо Всероссийского театрального отдела ей дали в заведование маленький петербургский отдел, а управлять всероссийским посадили г-жу Каменеву. Андреева, однако же, не сдавалась и, говорят, вела под Каменеву подкопы. Ольга Давыдовна всячески защищалась и, между прочим, на помощь призвала Мейерхольда. В начале 1919 года, будучи в Петербурге, я даже от нечего делать сымпровизировал на эту тему целую былинку в народном духе. В квартире Горького она имела большой успех. Теперь я помню из нее лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка:
Свет-княгинюшка, Ольга Давыдовна,
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай своево коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку».
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее о сыру землю... –

и т.д.

Памятуя все это, я предвидел, что вопросы мне будут заданы каверзные, и решил держать ухо востро. Ольга Давыдовна, все тем же небрежным тоном, как бы стараясь дать мне понять, что предмет разговора не особенно ее занимает, сказала:

– Говорят, Горький по уши ушел в свою «Всемирную литературу», так что сам уже даже ничего и не пишет. Это верно?

– Не знаю, откуда у вас такие сведения, – отвечал я. – Мне, напротив, показалось, что он делами издательства интересуется даже меньше, чем можно было ожидать.

Это была правда. Кроме того, я думал, что лишаю Ольгу Давыдовну возможности злословить дальше. Поэтому я был очень доволен своим ответом, но радость моя была преждевременна. Оказалось, что тут-то я и попался. Ольга Давыдовна словно ждала моих слов – и тотчас же оживилась:

– А, значит, верно мне говорили, что «Всемирная литература» устроена только для того, чтобы такие-то (она назвала мне фамилии, которые я здесь опускаю) могли мошенничать за счет государства? Ну, разумеется! Я просто не понимаю, как можете вы работать в издательстве Горького. Это же гнездо мошенников, потому что он сам мошенник и покровитель мошенников!

К счастью моему, в эту самую минуту, не стучась, в комнату ввалились два красноармейца с винтовками. Снег сыпался с их шинелей – на улице шла метель. У одного из них в руках был пакет.

– Товарищу Каменеву от товарища Ленина.

Ольга Давыдовна протянула руку.

– Товарища Каменева нет дома. Дайте мне.

– Приказано в собственные руки. Нам намедни попало за то, что вашему сынку отдали.

Ольга Давыдовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет и относит его в соседнюю комнату. Красноармейцы уходят. Она снова садится перед камином и говорит:

– Экие чудаки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверить решительно все что угодно. Он был совсем еще маленьким, когда его царские жандармы допрашивали – и то ничего не добились. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса». Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но, когда раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, – признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика.

«Вот тебе на! – думаю я. – Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть – отбывает каторгу, может быть – рискует жизнью, а потом, когда партия приходит наконец к власти – пронцательный мальчишка, чуть ли не озаренный свыше, этакий домашний оракул, объявляет его «предателем рабочего класса» – и мальчишке этому верят».

Тем временем Ольга Давыдовна тараторит:

– А какой самостоятельный – вы и представить себе не можете! В прошлом году пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем Раскольниковым. Мы не хотели пускать – опасно все-таки, – но он настоял на своем. Я потом говорю товарищу Раскольникову: «Он, наверное, вам мешал? И не рады были, что взяли?» А товарищ Раскольников отвечает: «Что вы! Да он у вас молодчина! Приехали мы с ним в Нижний. Там всякого народа ждет меня по делам – видимо-невидимо. А он взял револьвер, стал у моих дверей – никого не пустил!» Вернулся наш Лютик совсем другим: возмужал, окреп, вырос... Товарищ Раскольников тогда командовал флотом. И представьте – он нашего Лютика там, на Волге, одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки – как матросы носят. Ну – настоящий маленький матросик!

Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей!

А Ольга Давыдовна не унимается:

– Мне даже вспомнилось: ведь и раньше, бывало, детей одевали в солдатскую форму или в матросскую...

Вдруг она умолкает, пристально и как бы с удивлением глядит на меня, и я чувствую, что моя мысль ей передалась. Но она надеется, что это еще только ее мысль, что я не вспомнил еще о наследнике. Она хочет что-нибудь поскорее добавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, – и топит себя еще глубже.

– То есть я хочу сказать, – бормочет она, – что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком. Ведь вот и раньше бывало, что с детства записывали во флот...

Я смотрю на нее. Я вижу, что она знает мои мысли. Она хочет как-нибудь оборвать разговор, но ей дьявольски не везет, от волнения она начинает выбалтывать как раз то самое, что хотела бы скрыть, и в полном замешательстве она срывается окончательно:

– Только бы он был жив и здоров!

Я нарочно молчу, чтобы заставить ее глубже почувствовать происшедшее.

Пауза. Потом она встает, поправляет волосы и говорит неестественным голосом, как на сцене:

– Что же это Лев Борисович не приходит? Мы бы все вместе выпили чаю.

Но я встаю и прощаюсь. Опять часовой, мост, башня-Кутафья. За башнею – тьма: Воздвиженка, Арбат, Плющиха. Иду, натываясь на снеговые сугробы, еле волоча ноги, задыхаясь и обливаясь потом от слабости.

Две недели спустя я слег – на три месяца, но начавшаяся болезнь мучила меня с перерывами восемь лет.

В Белом коридоре я больше никогда не был – Бог миловал.

Кровавая пища

Недавно, в статье о Есенине, мимоходом, коснулся я темы об ужасной судьбе русских писателей. После того несколько друзей упрекнули меня в преувеличении. Но преувеличения нет. В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей.

«Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пииты, Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца».

Так, с холодной живописностью историка, хотя, впрочем, не совсем точно, рассказывает Пушкин. В собрании сочинений Тредьяковского имеется его подлинная жалоба на Волынского. В ней вся история изложена куда подробнее и страшнее, на многих страницах, с униженными причитаниями и дрожью глубоко спрятанного самолюбия. Презренное и ужасное сплетены в ней. Невозможно читать ее без смеха, готового перейти в слезы, – но ведь на то это и Тредьяковский, всеобщее посмешище русской литературы, которая стольким ему обязана.

За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что подымает он руку, эшафот и петля – вот краткий перечень лавров, венчающих «чело» русского писателя. Я пишу не историю литературы, я даже не заглядываю ни в какую «историю», я говорю по памяти, да и ту не особенно напрягаю. При этом – говорю только об умерших, не называя живых, с которыми мы встречаемся каждый день, которые плечом к плечу с нами совершают свой путь к гибели. И вот: вслед за Тредьяковским – Радищев; «вслед Радищеву» – Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко... В недавние дни:

прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю скольких пришлось по две, по три «казни» – одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не возводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Разве Рылеев, Бестужев и Гумилев перед смертью не узнали, что есть каземат? Еще ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?

Но это – только «бичи и железы», воздействия слишком сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных, более мягких и даже вежливых? Разве над всеми поголовно не измывались цензоры всех эпох и мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку, чуть не по очереди, без разбору, за то именно, что – писатель? А полицейский надзор, который порой поручался родному отцу (это было с Пушкиным)? А прижимательства и придирки начальства, отравлявшие каждую минуту жизни? А дикая, одуряющая нищета, с алчностью издателей, с судорожной работой наспех – с этой великой казнью для всякого художника: быть недовольным своими созданиями? А «широкая публика», своим рыночным спросом вечно снижающая литературный уровень и обрекающая писателя шутовству, в той или иной степени?

От начальства и общества не отставали семьи и ближние. Я не делаю «методологической ошибки», когда, тривиально выражаясь, валю всех в одну кучу. Русскому писателю казни не избежать: а уж кто, как и когда будет ее исполнителем, как сложатся обстоятельства, это дело случая:

Глаза усталые смежи,
В стихах, пожалуй, ворожи,
Но помни, что придет пора, –
И шею брей для топора.

И снова идет череда: голодный Костров; «благополучный» Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; измученный завистниками Озеров; Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от «свиных рыл» и сам себя уморивший Гоголь; дальше – Кольцов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от них, от семьи, куда глаза глядят, в

ночь, в смерть Лев Толстой; задушенный Блок, загнанный большевиками Гершензон, доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых; несчастных – вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик «счастливого» русского писателя, кончил все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца. Такая смерть в семьдесят два года не говорит о счастливой жизни. И наконец, последнее поколение: только из числа моих знакомых, из тех, кого знал я лично, чьи руки жал, – одиннадцать человек кончили самоубийством.

Я называл имена без порядка и системы, без «иерархии», как вспомнились. И, разумеется, этот синодик убиенных нетрудно было бы весьма увеличить. Сколько еще пало жертвой того общественного пафоса, который так бурно и откровенно выразил городничий в своих проклятиях «бумагомаракам, щелкоперам проклятым»? Того пафоса, коим охвачен был на моих глазах некий франтоватый молодой человек: в Берлине, перед витриной русского книжного магазина, он сказал своей даме:

– И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!

Это был маленький Дантес, совсем микроскопический. Или, если угодно, городничий, потому что ведь Дантес сделал то самое, о чем городничий думал. А городничий думал то самое, что, по преданию, сказано было о смерти Лермонтова: «Собаке собачья смерть».

Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженерном корпусе, где он учился и где еще живо было предание о Рылееве. Посему в корпусе было правило: за сочинение *чего бы то ни было, даже к прославлению начальства и власти клонящегося* – порка: пятнадцать розог, буде сочинено в прозе, и двадцать пять – за стихи.

* * *

«Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» – сказал Гоголь.

Ровно сто лет тому назад Мицкевич писал из Парижа стихи «К друзьям москалям». Должно быть, думал и он, как Гоголь, потому что воскликнул: «Благородная шея Рылеева, которую, как брат, обнимал я, – висит по приказу царя, прикрученная к позорному дереву. Проклятие народам, казнящим своих пророков!»

Но то был Мицкевич, бунтарь и враг. Но когда прикончили Лермонтова, графиня Ростопчина, отнюдь не крамольница, писала:

Не трогайте ее, зловещей сей цевницы,
Поэты русские, она вам смерть дает!

Кровавая пища

Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она грозу зовет!

С тех пор это не прекращается. В чем же дело? Неужто так низок и дик народ русский, что эти проклятия им заслужены? Да может ли он после этого равняться с другими народами? Да смеет ли он смотреть в глаза им?

Я думаю – может и смеет. И вовсе не потому, что другие, более культурные народы не лучше его. Не потому, что и у них дело обстоит так же. Нет, совсем по иной причине. Конечно, мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андрея Шенье и многое другое – но до такого изничтожения писателей, не мытьем, так катаньем, как в России, все-таки не доходили нигде. И, однако же, это не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости. Это потому, что ни одна литература (говорю в общем) не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель – пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственности в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы. И вот поэтому – древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории, так часто и так явственно проявляется. Дантесы и мартыновы сыщутся везде, да не везде у них столь обширное поле действий. Если принять слово Мицкевича, как правое, – придется проклясть все народы, кроме тех, у которых пророков никогда не было.

У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет...

Ну, разумеется, зыряне да чукчи никого и не казнят.

Дело пророков – пророчествовать, дело народов – побивать их камнями. Пока пророк живет (и, конечно, не может ужиться) среди своего народа:

Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Когда же он наконец побит, – его имя, и слово, и славу поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми покаянными словами: «Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!» И дети отвечают: «Да: он был велик воистину, и мы удивля-

емся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побили бы». А сами меж тем побивают идущих следом. Так совершается и пишется история литературы.

Несколько лет тому назад, высказывая впервые эти мысли, я думал, что основная причина здесь именно в неизбежном *столкновении* пророка с народом, писателя с обществом, с близкими. Этой причины не отрицаю и теперь, но думаю, что она не единственная, даже не главная. Может быть, столкновение есть лишь неизбежный повод, возникающий из гораздо более глубокой причины. Кажется, что народ *должен* побивать, чтобы затем «причислить к лику» и приобщаться к откровению побитого. Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание. Избиение пророка становится жертвенным актом, заклинанием. Оно полагает самую неразрывную, кровавую связь между пророком и народом, будь то народ русский или всякий другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов, по сокровенной природе своей, таинственно, *ритуально*. В русской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет родник пророчества. Этого да не будет...

И все-таки, если русским писателям должно и суждено гибнуть, то – как бы это сказать? Естественно, что каждый из них, по священной человеческой слабости, вправе мечтать, чтобы чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к согражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным голосом еще все-таки говорил:

– Дорогие мои, я знаю, что рано иль поздно вы меня прикончите. Но все-таки – может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо.

1932

Комментарии

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Блок – Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960-1963.
БП – Ходасевич Владислав. Стихотворения. Л., 1989
(«Библиотека поэта», большая серия).
Возр. – газета «Возрождение» (Париж).
ВЛ – журнал «Вопросы литературы».
КТ – Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991.
ЛН – Литературное наследство.
Мин. – Минувшее: исторический альманах. М.–СПб. Вып. 1-19.
НГ – Неизвестный Горький: К 125-летию со дня рождения. М., 1994 /
Горький и его эпоха: Материалы и исследования. Вып.3.
РЛ – журнал «Русская литература»
СЗ – журнал «Современные записки» (Париж)
Собр. соч. – Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996.
СС – Ходасевич Владислав. Собрание сочинений /
Под ред. Дж. Мальмстада и Р.Хьюза.
Ann Arbor, 1983-1990. Т. 1-2.

НЕКРОПОЛЬ

Книга воспоминаний «Некрополь» была выпущена книгоиздательством «Петрополис», переместившимся из гитлеровского Берлина в Брюссель, в 1939 г. Вышла в свет она еще при жизни Ходасевича и упоминалась в газетных и журнальных обзорах. См., напр., в воспоминаниях В.С.Яновского: «Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Незадолго до того вышла его книга «Некрополь». Я вел тогда критический отдел в «Иллюстрированной России». В его книге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попадались и условные, попросту серые страницы. Я так и написал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич умирает»

(Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти. СПб., 1993. С.115; ср. также его рецензию, подписанную В.С.Я., в журнале «Русские записки». 1939. Кн. XVIII. Июнь). «Некрополь» был репринтно воспроизведен в 1976 г. издательством YMCA-Press (Париж). В России после 1986 г. публиковался (как целиком, так и отдельными очерками) неоднократно. Отметим, что из сборника «Колелемый треножник» в последний момент был исключен очерк о Есенине. Мемуарные очерки, составившие книгу, публиковались в различных изданиях; при включении в сборник они редактировались Ходасевичем. Разночтения нами не учитываются.

Конец Ренаты

Впервые: Возр. 1928. 12–14 апр. Воспоминания Н.И.Петровской о Брюсове опубликованы: Мин. Т. 8 / Публ. Э.Гарэтто. Частично: ЛН. Т.85. М., 1976. / Публ. Ю.А.Красовского.

...ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству... – Петровская издала единственный сборник рассказов «Sanctus Amor» (М., 1908; по ее письмам к Ходасевичу видно, что оба стремились издать свои первые книги одновременно), помимо этого печаталась в символистских журналах и альманахах («Весы», «Перевал», «Гриф»), в различных московских газетах («Утро России», «Накануне», «Голос Москвы», «Московская газета», «Руль», «Новь», «Столичное утро» и др.), после революции – в берлинско-московской сменовеховской газете «Накануне».

...Символисты не хотели отделять писателя от человека... – более подробно концепция символистского жизнетворчества незадолго до мемуаров о Петровской была изложена в статье Ходасевича «О символизме» (Возр. 1928. 12 янв. Перепечатано: КТ).

...Выпуская впервые «Будем как солнце»... – первое издание книги К.Д.Бальмонта «Будем как солнце» (М., 1903; репринтное воспроизведение – в кн.: Бальмонт К.Д. Стихотворения. М., 1989) было посвящено ряду людей: В.Я.Брюсову, С.А.Полякову, Ю.К.Балтрушайтису, Г.Бахману, М.А.Дурнову, М.А.Лохвицкой, Д.Кристенсен, Л.Савицкой (в последующих изданиях посвящение отсутствует). *Модест Александрович Дурнов* (1868–1928) – художник и скульптор, писавший также стихи.

«Из жизни бедной и случайной...» – из стихотворения В.Я.Брюсова «Золото» (1899). В первой строке Ходасевич заменил эпитет (в оригинале – «бледной»).

Нина скрывала свои года. – По общераспространенным сведениям, Петров-

ская родилась в 1884 г., однако, как следует из ее писем к В.Я.Брюсову, она была заметно старше (родилась в 1879).

Была невестой одного... – в экземпляре «Некрополя», принадлежавшем В.В.Вейдле, Ходасевич пометил, что Петровская была невестой Василия Алексеевича Маклакова (1869–1957), видного юриста и деятеля кадетской партии (Русская мысль. 1976. 3 июня).

«Скорпион» и «Гриф». – Два наиболее известных символистских издательства. Владельцем «Скорпиона» был С.А.Поляков, владельцем «Грифа» – московский адвокат и поэт С.А.Соколов, муж Петровской. Подробнее о них Ходасевич писал в очерках «О меценатах» и «Памяти Сергея Кречетова» (Собр. соч. Т. 4).

«Очень мила, довольно умная». – Из письма Блока к матери от 14-15 января 1904 г. (Блок. Т. 8. С.81). Ходасевич намеренно опустил продолжение фразы: «умнее мужа», т.к. ко времени газетной публикации очерка С.А.Соколов был жив.

«Берем мы миги, их губя». – Из стихотворения Брюсова «Habet illa in alvo».

«Истекаю клюквенным соком!»... – реплика Паяца из пьесы А.Блока «Балаганчик» (Блок. Т. 4. С.19).

...«любовь к любви». – Очевидно, имеется в виду стихотворение К.Д.Бальмонта «Хвалите» (сборник «Белый зодчий»): «Хвалите, хвалите, хвалите, хвалите, / Безумно любите, хвалите Любовь...» Впрочем, подобных образцов в символистской поэзии немало.

Первым влюбился в нее поэт... – К.Д.Бальмонт. См. запись в дневнике Брюсова, датированную 26–31 октября 1903 г.: «Нина Петровская предалась мистике. Бальмонт жаловался, что она лишила его своих “милостей”» (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 36 об).

В 1904 году... – сближение Белого с Петровской началось с ноября 1903 г. в декабре он пишет стихотворение «Преданье», навеянное этими отношениями, в январе 1904 г. «произошло то, что назревало уже в ряде месяцев – мое падение с Ниной Ивановной» (более подробно см.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» //Ново-Басманная, 19. М., 1990; статья служит превосходным комментарием к воспоминаниям Ходасевича).

...сиять перед другой... – имеется в виду Любовь Дмитриевна Блок. Имя ее матери – Анна, т.е. имя матери Богородицы.

...Жены, облеченной в Солнце. – Этот образ из Апокалипсиса (Откр., 12: 1) широко использовался в мифологии русского символизма.

...шепелявые, колченогие мистики... – имеется в виду московское окружение Андрея Белого начала века, в том числе кружок «аргонавтов» и, видимо, специально С.М.Соловьев, названный «мистиком» в поэме Белого «Первое свидание». Литературный источник образа Ходасевича – пье-

са Блока «Балаганчик», где мистики являются действующими лицами. *Весной 1905 г.* ... – Ходасевич здесь неточен. Брюсов рассказал эту историю в письме к З.Н.Гиппиус, написанном между 16 и 21 апреля 1907 г.: «На лекции Бориса Николаевича подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и *спустила курок*. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С.А.Соколов. – Н.Б.), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. <...> Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, – совсем как в лермонтовском “Фаталисте”» (ЛН. Т.85. С.694). Инцидент, происшедший 14 апреля 1907 г., описан также Андреем Белым в книге «Между двух революций» (М., 1990. С.239).

...с «прохожими»... – см. в письмах Петровской к Ходасевичу: «“Прохожих” больше не принимаю» (Из переписки Н.И.Петровской / Публ. Р.Л.Щербакова и Е.А.Муравьевой // Мин. Т. 14. С.373. Письмо от 29 апреля 1907 г.); «Сейчас придет один Прохожий, о котором я Вам однажды расскажу. *He теперь*, потому что еще это *не прошлое*» (Письмо от 11 мая 1907 г. // Там же. С.378).

Нина переходила от полосы к полосе... – воспоминания Ходасевича хорошо подтверждаются письмами Петровской к Брюсову (РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 18–22; РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 95).

San Pietro – собор Св. Петра в Риме.

...после пятилетнего нищенского существования в Берлине. – О Петровской в Берлине см. воспоминания Р.Гуля (Новый журнал. 1979. №137) и в его книге «Я унес Россию». (Т.1. Россия в Берлине. Нью-Йорк, 1984), а также письма самой Петровской (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э.Гарэтто // Мин. Т.8; Garetto Elda. Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V.F.Chodasevic e M.Gor'kij // Europa orientalis. 1995. Vol. XIV. №2).

В дневнике Блока... – Блок узнал об этом из письма Андрея Белого (см.: Блок. Т.7. С.82).

Брюсов

Впервые: СЗ. 1925. Кн. XXIII. По мнению самого Ходасевича, публикация этих воспоминаний была одной из причин отказа ему в пролонгации советского заграничного паспорта и, как следствие, перехода на положение эмигранта (см.: Hughes R., Malmstad J. Vladislav Khodasevich to Mikhail Karpovich: Six Letters // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1986. Vol. XIX. P. 142–143).

- ...с его младшим братом. – Александром Яковлевичем Брюсовым (печатался под псевдонимом Alexander, 1885–1966), впоследствии поэтом и историком.
- «Новости дня» – московская бульварная газета (1883–1906). В 1890-е гг. неоднократно писала о символистах, представляя их в крайне непривлекательном виде. См., напр.: Х.У. Позеры // 1895. 30 авг.; Comte Ours [Л.М.Медведев]. Смесь // 1900. 13 апреля; [б.п.]. Наброски // 1900. 23 апр.; Безобразов П. Наши декадентики // 1900. 2 нояб., и др.
- «Chefs d'oeuvre» – первая книга стихов Брюсова (М., 1895; 2-е изд. – М.: 1896).
- ...тропические фантазии – на берегах Яузы... – отсылка к стихотворению Брюсова «Ночью» (1895): «Дремлет Москва, точно самка спящего страуса <...> Тянется шея – беззвучная, черная Яуза».
- «Родину я ненавижу»... – из стихотворения Брюсова «Я действительности нашей не вижу...» (1896).
- Дед Брюсова... – более подробно см.: Брюсов Валерий. Автобиография // Русская литература XX века. М., 1914. Т. I. С.104-105; Брюсов В. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.
- ...устраивались спиритические сеансы. – Брюсов увлекался спиритизмом по крайней мере с начала 1890-х гг. и регулярно участвовал в сеансах. Наиболее подробно о его отношении к спиритизму см.: Брюсов В. Ко всем, кто ищет // Миропольский А.Л. Лествица. М., [1902]; перепечатано: Брюсов Валерий. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990; Богомолов Н.А. К семантике слова «декадент» у молодого Брюсова // Пятые Тыняновские чтения: Тезисы материалов и материалы для обсуждения. Рига, 1990; Grossman Joan D. Alternate Beliefs: Spiritualism and Pantheism among the Early Modernists // Christianity and the Eastern Slavs. Berkeley e.a., 1995. Vol. III (California Slavic Studies, XVIII). В спиритическом журнале «Ребус» Брюсов печатался в 1900–1902 гг., но спиритизмом продолжал интересоваться и позднее, регулярно рецензируя книги о нем в журнале «Весы».
- «Обручение Даши». – Русская мысль. 1913. №12; отд. изд. – М., 1915.
- Argumenta baculina – от лат. baculum (посох, палка).
- «Тень несозданных созданий...» – стихотворение Брюсова, впервые опубликованное в 3-м выпуске сборника «Русские символисты» (М., 1895). Его разбор см. в статье Ходасевича «Juvenilia» Брюсова. (СС. Т.1).
- Иоанна Матвеевна Брюсова, урожд. Рунт (1876–1965) – жена Брюсова.
- Шестеркин Михаил Иванович (1866–1908) – художник, организатор различных художественных объединений. Его жена А.А.Шестеркина фигурирует в списке Брюсова «Мои прекрасные дамы» в 1899–1903 гг. Письма Брюсова к ней частично опубликованы: ЛН. Т. 85. С.622–656.
- Фидус – псевдоним немецкого художника Гуго Хеппенера (1868–1948). По

его рисунку выполнена обложка к первому изданию сборника стихов Бальмонта «Будем как Солнце». Рисунки Фидуса, принадлежавшие Брюсову, воспроизведены: ЛН. Т.98. М., 1991. Кн.1. С.56, 58, 60.

Брунеллески Умберто (1879–1949) – итальянский художник, живший в Париже. Его рисунки печатались в журнале «Весы» (в частности, все оформление №3 за 1905 г.).

Феофилактов Николай Петрович (1878–1941) – художник, участвовавший во многих изданиях «Скорпиона», в том числе оформлявший номера «Весов».

Чима да Конельяно (ок. 1459–1517) – венецианский художник-пейзажист. ...новоиспеченным студентом... – Ходасевич учился на юридическом (позже – на историко-филологическом) факультете Московского университета. Подробнее см.: Колкер Юрий. Университетские годы В.Ф.Ходасевича // Русская мысль. 1986. 6 июня.

Соловьев Сергей Михайлович (1885–1943) – поэт-символист, критик, близкий друг Андрея Белого.

...последнюю строчку... – стихотворение Блока «Жду я смерти близ денницы...» (январь 1904) завершается строками: «Царски-каменной улыбки / Не забуду на земли». Следует отметить, что в рукописи оно было снабжено эпиграфом из стих. Брюсова «Призыв»: «Приходи путем знакомым...»

Марина Цветаева рассказала о своих литературных взаимоотношениях с Брюсовым в очерке «Герой труда» (Воля России. 1926. №9/10–11; Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 4). Отношение Брюсова к поэзии Цветаевой можно толковать различно. См.: Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910–1922). М., 1986; Богомоллов Н. Важная ступень // ВЛ. 1987. №9.

«Искусство», «Перевал» – журналы символистского лагеря (1906–1907), заметную роль в которых играл основатель издательства «Гриф» С.А.Соколов. Следует отметить, что в «Искусстве» Брюсов печатался сам.

«Бальдеру – Локи» – стихотворение Брюсова (ноябрь 1904), вписанное в ряд его произведений, связанных с мифологизированными отношениями между ним, Андреем Белым и Н.И.Петровской. Подробнее см. в примечаниях к этому стихотворению (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. Т.1. С. 624–625) и в статье С.С.Гречишкина и А.В.Лаврова «Биографические источники романа Брюсова “Огненный Ангел”».

Тиняков Александр Иванович (один из многих псевдонимов – Одинокий, 1886–1934) – поэт, публицист, литературный критик. Подробнее о нем см. в воспоминаниях Ходасевича «Неудачники» (Возр. 1935, 10 и 12 января; перепечатано: КТ), а также в письмах к Б.А.Садовскому (наст. изд.). Долгие годы Брюсов был для Тинякова «учителем жизни» (см.

его воспоминания «Валерий Яковлевич Брюсов» // Последние новости [Пг.]. 1923. 17 дек.).

Гумилев мне рассказывал... – аналогичный эпизод описан в очерке Г.Иванова о Тинякове (см.: Иванов Георгий. Собр.соч.: В 3т. М., 1994. Т.3. С.392–393), однако не исключено, что автор, слегка фантазируя, пересказал именно эпизод из воспоминаний Ходасевича, опубликованных ранее.

Коневской (Ореус) Иван Иванович (1877–1901) – поэт, очень высоко ценившийся Брюсовым. См. в воспоминаниях Н.И.Петровской: «Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта, и как на человека» (Мин. Т. 8. С. 43). О Коневском Брюсов написал статью «Мудрое дитя» (Мир искусства. 1901. №8/9). См. также публикацию их переписки (ЛН. Т.98. Кн.1/Публ. А.В.Лаврова, В.Я.Мордерер и А.Е.Парниса).

З.Н.Гиппиус. – О ее отношениях с Брюсовым см. публикации ее переписки с Брюсовым (ЛН. Т. 85 / Публ. А.Н.Дубовикова; Российский литературоведческий журнал. 1994. №5/6 / Публ. М.В.Толмачева, комм. Т.В.Воронцовой) и воспоминания «Одержимый» (Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991).

...любовь к Бальмонту... – в отношениях Брюсова и Бальмонта были периоды глубокого взаимного восхищения и столь же глубоких расхождений, доходивших до взаимных оскорблений. См.: Переписка <Брюсова> с К.Д.Бальмонтом / Публ. А.А.Нинова, Р.Л.Щербакова // ЛН. Т.98. Кн.1.

Александр Михайлович Добролюбов (1876–1944?) – поэт, впоследствии ушедший «в народ» и основавший секту «добролюбовцев». Брюсов высоко ценил поэзию и личность Добролюбова. См.: Иванова Е.В. В.Брюсов и А.Добролюбов // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1981. №3.

Надежда Яковлевна Брюсова (1881–1951) – музыковед, профессор Московской консерватории. Увлекалась теориями Добролюбова, состояла с ним в переписке.

«*Мы, как священнослужители...*» – из стихотв. Брюсова «В Дамаск» (1903).

«*Я, дрожа, сжимаю труп...*» – из стихотв. Брюсова «Бальдеру Локи» (1904).

«*Где же мы? На страстном ложе?...*» – из стихотв. Брюсова «В застенке» (1904).

«*...«не люби, не сочувствуй...*» – неточно цитируется стихотворение Брюсова «Юному поэту» (1896).

Митра – бог солнца в древнеиранской мифологии.

«*Они Ее видят!...*» – из стихотворения Брюсова «Младшим» (1903).

...работал годами над книгой... – имеется в виду книга Брюсова «Сны человечества», над которой он работал в 1911–1917 гг., включая туда и стихи, написанные ранее.

...цикл стихотворений о разных способах самоубийства... – в книге «Все напевы» такого цикла нет. В нем есть лишь стихотворение «Самоубийца». Не исключено, что Ходасевич имеет в виду стихотворение «Демон самоубийства» или поэму «Подземное жилище», вошедшие в сборник «Зеркало теней».

«Опыты» – книга стихов Брюсова, изданная в 1918 г. Ее полное название – «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам».

Пэон первый – ритмический вариант хоря, в котором ударения падают на первый, пятый, девятый и т.д. слоги. Некоторыми стиховедами (в т.ч. и во времена Ходасевича) считается отдельным размером.

...у меня есть такое стихотворение... – «Мышь» (Руль. 1908.; 26 апр.; перепеч.: БП).

Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991) – поэт и переводчик, знакомый Брюсова. См.: Шервинский С.В. Ранние встречи с Валерием Брюсовым // Брюсовские чтения 1963 г. Ереван, 1964 (то же – в его книге «От знакомства к родству». Ереван, 1986).

«Быть может, все в жизни лишь средство...» – из стихотворения Брюсова «Поэту» (1907).

...одна стареющая дама... – А.А.Шестеркина.

Родители ее жили в Серпухове... – ошибка памяти Ходасевича: родители Львовой жили в Подольске.

Стихи ее были очень зелены... – они собраны в книге «Старая сказка» (1-е изд., с предисловием Брюсова, – М., 1913; 2-е издание, посмертное – М., 1914). Ходасевич не раз писал о стихах Львовой (см.: СС. Т.2. По указателю).

«Стихи Нелли» – см.: Лавров А.В. «Новые стихи Нелли» – литературная мистификация Валерия Брюсова // М., 1987. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1985.

...бежал в Петербург... – о своих переживаниях в первые дни после самоубийства Львовой Брюсов поведал в письмах к А.А.Шестеркиной. О визите его к Мережковским в Петербурге рассказала З.Н.Гиппиус (Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. С. 270–271 и комм.). После пребывания в Петербурге он отправился в санаторий доктора Максимовича в Майоренгофе (Майори) под Ригой. Подробнее об отношениях Брюсова и Львовой см.: Лавров А.В. Вокруг гибели Надежды Львовой // De Visu. 1993. №2 (3).

«Мертвый, в гробе мирно спи...» – неточная цитата (первая строка должна читаться: «Спящий в гробе, мирно спи...») из баллады В.А.Жуковского «Торжество победителей» (1823).

Осенью 1914 г. ... – очевидно, ошибка Ходасевича. Сколько можно судить по газетной хронике, 24 июля 1914 г. был устроен обед в честь Брюсова, уез-

- жавшего военным корреспондентом; в августе 1914 г. состоялся прием Брюсова польскими писателями, но не как юбиляра, а как прибывшего из Москвы видного литератора. Чествование Брюсова в связи с 20-летием его литературной деятельности состоялось в Москве в январе 1915 г.
- Он был антисемит.* – По сообщению Л.С.Киссиной, это место мемуаров не соответствует действительности: С.В.Киссин (о котором подробнее см. в очерке «Муни») и Л.Я.Брюсова венчались по лютеранскому обряду, при котором пышная свадебная церемония не обязательна. Об отсутствии у Брюсова явно выраженного антисемитизма свидетельствуют и другие довольно многочисленные факты.
- ...в Москве, в декабре 1924 года.* – Явная ошибка памяти или, возможно, опечатка: пятидесятилетие Брюсова отмечалось 17 декабря 1923 г. Афиша вечера воспроизведена: ЛН. Т. 85. С. 240.
- Эрфуртская программа.* – Программа социал-демократической партии Германии, принятая на съезде в г. Эрфурте в 1891 г.
- Карамзин... рассказывает об аристократе...* – см.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 226. Комментатор данного издания Ю.М.Лотман полагает, что речь идет о Кондорсе.
- «Австралийская песня».* – («Из песен австралийских дикарей», 1), первое четверостишие которой цитирует Ходасевич, по плану Брюсова должна была открывать книгу «Сны человечества».
- ...оно напечатано в «Лютне»...* – см.: «Литературный источник «Каменщика» – стихотворение П.Л.Лаврова «Новая тюрьма» (сб. «Лютня». Лейпциг, 1879 и три издания 1893–1897)» (Брюсов В. Собр. соч. Т.1. С. 613).
- «Falsus Valerius, duplex lingus!»* («Лицемерный Валерий, с лживым языком») – неточно цитируемые (слов «duplex lingus» в оригинале нет) строки из латинского послания А.Я.Брюсова к брату. См.: «...в 1904 году у нас с ним даже произошла своеобразная переписка стихами. Прочитав стихи Валерия “К согражданам” <...> я передал ему следующее послание, написанное на латинском языке <...> Валерий не ответил мне тогда, но вскоре напечатал стихотворение, озаглавленное “Одному из братьев, упрекнувшему меня, что мои стихи лишены общественного значения”» (Брюсов А.Я. Воспоминания о брате // Брюсовские чтения 1962 года. Ереван, 1963. С.299–300. Ответные стихи Брюсова см.: Собр.соч. Т.1. С.438).
- В 1913 г. он был приглашен...* – неточность: Брюсов заведовал литературно-критическим отделом «Русской мысли» в 1910–1912 гг. С начала 1913 г. его место заняла Л.Я.Гуревич.
- Струве П.Б. (1870–1944)* – экономист, политический деятель, один из лидеров партии кадетов.
- Макинцян (Макинцян) Павел Никитич (1888–1938)* – армянский общественный деятель, активно помогавший Брюсову в работе над сборни-

КОММЕНТАРИИ

- ком «Поэзия Армении». О «Красной книге ВЧК» (она переиздана в 1989) Ходасевич подробно пишет в очерке «Книжная палата» (КТ). «Все равно...» – из стихотворения Брюсова «Гребцы триремы» (1904).
- Липскеров Константин Абрамович (1889–1954)* – поэт, переводчик с восточных языков, друг Ходасевича.
- ...заявил себя коммунистом* – Брюсов вступил в РКП(б) в 1920 г.
- Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936)* – советский политический деятель; председателем Московского совета он был в 1918–1919 гг.
- Лито* – Литературный отдел Народного комиссариата по просвещению. С февраля 1920 г. Брюсов был заместителем заведующего Лито, а с ноября 1920 г. – заведующим.
- ...я принялся хлопотать о переводе моего писательского пайка...* – См. об этом эпизоде подробнее в переписке Ходасевича с М.О.Гершензоном (De Visu. 1993. №5 (6). С. 24–25 / Публ. И.Андреевой).
- ...самые первые строки Брюсова...* – очевидно, имеется в виду заметка «Несколько слов о тотализаторе» (Русский спорт. 1889. 16 сентября). В 1921 была опубликована его статья «Об организации школ Гукона» (Вестник коннозаводства и коневодства. 1921. №1–6).
- Г.А.Койранский (1883 – ?)* – один из трех братьев Койранских, известных в литературе. Печатал стихи и рецензии под псевдонимом Г.Тверской. Регулярно лечил от наркомании и нервных болезней Н.И.Петровскую.

Андрей Белый

О творчестве Андрея Белого Ходасевич писал неоднократно. В данном виде воспоминания впервые появились в книге «Некрополь». См. также статьи «Андрей Белый: Черты из жизни» (Возр. 1934. 8, 13 и 15 февр.), «Андрей Белый» (Возр. 1934. 13 янв.) и «Начало века» (Возр. 1934. 28 июня и 5 июля) (войдут в Собр. соч.), «От полуправды к неправде» (Возр. 1938. 27 мая). В комментарии учтены примечания А.В.Лаврова к републикации этого очерка (РЛ. 1989. №1).

- ...«С чувством конкретной любви...»* – следует иметь в виду, что слово «конкретный» для Белого принадлежало к антропософской лексике.
- ...девятнадцать лет...* – с 1904 по 1923 гг.
- ...он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было...* – см. в статье Н.Н.Берберовой «Памяти Ходасевича»: «...ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, «сильнее смерти» любовь, которую он чувствовал к автору «Петербурга». Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до

- последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу» (СЗ. 1939. Кн. LXXIX. С. 259).
- ...«возвышающему обману»... – из стихотворения А.С.Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман».
- ...сын профессора математики... – Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) был профессором Московского университета.
- «Это мой папа»... – об этом случае (происшедшем, однако, не в концерте, а на обсуждении доклада Д.С.Мережковского «Русская культура и религия» в Московском Психологическом обществе 8 декабря 1901 г.) Белый вспоминал в книге «Начало века» (М., 1990. С.198). Об участии Н.В.Бугаева в этом заседании см.: Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927. С.111–112.
- Его мать... – Александра Дмитриевна Бугаева, урожд. Егорова (1858–1922).
- На каком-то чествовании Тургенева... – имеются в виду публичные чествования И.С.Тургенева в Москве в феврале–марте 1879 г.
- Е.П.Леткова (1856–1937). – Ходасевич был знаком с ней (см. письмо от 8 июля 1921 г. // ВЛ. 1987. №9 / Публ. Евг. Бенья). Ср. также: Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1990. С.102.
- ...сердце ее еще не чуждо волнений. – См. в черновике письма В.Я.Брюсова к З.Н.Гиппиус, относящегося ко времени похорон Н.В.Бугаева: «Еще были мы у Бугаева. Он по-прежнему как ангел и очень мило хлопочет о делах трех измерений, беседует с гробовщиками, с секретарями и т.п. А мать его рассказывает, как она покупала себе траур. По отзывам одних, это – «красивейшая женщина в Москве», по отзывам других – «вавилонская блудница». Оба отзыва не далеки один от другого. У такой матери и должен быть сыном ангелоподобный Андрей. Так Алеша – сын Карамазова» (Российский литературоведческий журнал. 1994. №5/6. С.301).
- «Аблеуховы – Летаевы – Коробкины». – Статья перепечатана в кн.: Ходасевич Владислав. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954, а также: РЛ. 1989. №1. Однако в обеих перепечатках авторский текст сильно искажен.
- ...он окончил математический. – Белый учился на естественном отделении физико-математического факультета в 1899–1903 гг., а на историко-филологическом – в 1904–1906 гг.
- ...об этом рассказано им самим. – В книге «На рубеже двух столетий». См. также: Лавров А.В. Мифотворчество «аргонатов» // Миф. Фольклор. Литература. Л., 1978; Лавров А.В. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980; Лавров А.В. Юношеская художественная проза Андрея Белого // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981.
- ...когда совершался между ними разрыв. – Летом 1904 г.

«Золотое руно» – московский символистский журнал, выходивший в 1906–1909 гг.

...я прочту подражание вам. – Стихотворение Белого «Преданье» (вошло в книгу «Золото в лазури». М., 1904) было написано не только до разрыва с Петровской, но и до начала превращения их духовных отношений в «чувственные». Стихотворение Брюсова (с датой: 1904, ноябрь – 1905, март – 1906, январь) было впервые опубликовано лишь в 1934 г. (см.: Брюсов В. Собр. соч. Т.3. С.290–292).

...Белый познакомился с молодым поэтом... – Белый познакомился со стихами имеющегося здесь в виду Блока еще в 1901 г., с самого начала 1903 г. они состояли в переписке, однако впервые встретились лишь во время приезда Блока с женою в Москву в январе 1904 г. Имя Блока и его жены в этом фрагменте воспоминаний Ходасевичем не названо, т.к. Л.Д.Блок еще была жива.

В своих воспоминаниях... – имеются в виду «Воспоминания о Блоке» (Эпопея. 1922–1923. №1–4; отд. изд.– М., 1995) и относящиеся к Блоку части мемуарной трилогии. Отношения Блока и Белого описаны в них совершенно по-разному. Ходасевич представлял себе историю этих отношений из рассказов самого Белого.

...уже знакомой некоторым московским мистикам... – очевидно, прежде всего имеется в виду С.М.Соловьев. Более подробно см. в статьях В.Н.Орлова «История одной “дружбы-вражды”» и «История одной любви» в его книге «Пути и судьбы», (Л., 1971).

...дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. – В качестве комментария к этому месту А.В.Лавров цитирует запись Белого 1923 г.: «...разрыв санкционирован в августе же, когда я заявляю Н.И.Петровской, что я – неумолим; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я – влюблен в Л.Д.Блок; ее пронизательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство».

...история романа представляется мне в таком виде. – Важные источники для реконструкции этой истории, которых не знал Ходасевич, – «И были и небылицы о Блоке и о себе» Л.Д.Блок (Bremen, 1977; частично – Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т.1) и письма Л.Д.Блок к Белому (РГБ. Ф.25. Карт.9. Ед.хр.18; в отрывках опубликованы: ЛН. М., 1982. Т.92. Кн.3).

...литературно мстил своему сопернику... – очевидно, имеется в виду не только названный А.В.Лавровым Г.И.Чулков (подтверждением чему служит запись Белого: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л.Д. в связи с Г.И.Ч<улковым>; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попорченную любовь и за профанацию – углубляется»), но и сам Блок, против которого Белый весь-

- ма резко выступает в памфлетном рассказе «Куст» (Золотое руно. 1906. №7/9; ср. письмо Л.Д.Блок к Белому от 2 октября 1906 г. // ЛН. Т.92. Кн. 3. С.258) и в 1907 г. доводит дело до очень резкого разрыва отношений. Он *провел несколько месяцев за границей...* – с октября 1906 г. по февраль 1907 г. Белый жил в Мюнхене и Париже. «Кубок метелей» (М., 1908) был начат за границей, но окончен уже в Москве.
- ...из-за личных горестей...* – по всей вероятности, имеется в виду осложнение отношений между Ходасевичем и его первой женой, М.Э.Рындиной. В конце 1907 г. они расстались.
- ...молодому петербургскому беллетристу...* – имеется в виду прозаик Сергей Абрамович Ауслендер (1886 или 1888–1943 [1937?]), которому посвящена книга рассказов Петровской; героиня романа Ауслендера «Последний спутник» имеет Петровскую прототипом. В письмах к Брюсову Петровская так определяла свое отношение к Ауслендеру: «Нигде не была, даже с Владей (В.Ф.Ходасевичем. – Н.Б.) не пошла обедать, сидела одна, сонная, и кашляла. Так до сумерек. А потом, только не «в золотой час» (в Петербурге ужасная погода), а в серый, пришел Ауслендер. <...> Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком. Поверь, быть с Зайцевыми, Стражевыми и московскими мальчишками в тысячу раз хуже. В нем есть настоящая тонкость души. А я иногда люблю быть с людьми, когда они не грубые, как Бунин, и не хамы, как Зайцев» (Письмо из Петербурга от 25 сентября 1907 г.); «Мальчик не умный, душа у него неподвижна, напряжение нервной энергии минимальное. Это другая, не наша порода души. Не знаю, сумею ли из него создать что-нибудь настоящее. Может ли быть творчество из ничего?» (Письмо из Венеции от 20 марта 1908 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 19).
- ...Белый приехал...* – Белый был в Петербурге с 8 октября до середины месяца и с 1 по 18 ноября 1907 г. С Ходасевичем он мог видаться в любой из этих приездов.
- «Вена»* – известный петербургский ресторан, место регулярных встреч литературной богемы.
- ...домино и маска явились в его стихах...* – имеется в виду сквозная тема ряда стихотворений из сборника «Пепел».
- ...в Петровско-Разумовское...* – там, в гроте сада Петровской сельскохозяйственной академии 21 ноября 1869 г. членами организации «Народная расправа» был убит студент И.И.Иванов. События этого «нечаевского дела» отразились в романе Ф.М.Достоевского «Бесы». Ходасевич особенно отмечает эту поездку, очевидно, в связи с весьма значимой для романа Белого «Петербург» темой провокации. См.: Лавров А.В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого // Андрей

Белый: Проблемы творчества. М., 1988 (там же библиография). Для Ходасевича Петровско-Разумовское было связано с детскими годами (см. очерк «Младенчество» и стихотворение «В заседании» // КТ).

...о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года... – имеется в виду семья Михаила Сергеевича (1862–1903) и Ольги Михайловны (1855–1903) Соловьевых, сыном которых был ближайший друг Белого С.М.Соловьев. Встречи с Соловьевыми подробно описаны в мемуарах Белого, а также в поэме «Первое свидание», отсылка к тексту которой содержится в комментируемой фразе («Год – девятисотый: зори, зори!...»).

Летом 1908 г. ... – Ходасевич жил на даче в Старом Гирееве. Белый относил окончательное оформление идеи разграничения ритма и метра подробно описанной в его статьях «Лирика и эксперимент» и «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», вошедших в книгу «Символизм», (М., 1910) к июлю 1908 г.

...в кружке ритмистов... – кружок по изучению ритма, образованный при книгоиздательстве «Мусагет»; существовал с апреля 1910 г. Документальных данных об участии Ходасевича в нем не обнаружено. Более подробно см.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1981. Вып. 515; Письма С.П.Боброва к Андрею Белому 1909–1912 / Публ. К.Ю.Постоутенко // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1, а также в письмах В.Ф.Ахрамовича, С.Н.Дурылина и других корреспондентов Белого (РГБ. Ф. 25).

...мадмуазель Штаневич! ... – Вера Оскаровна Станевич (1890–1967), поэтесса-дилетантка, переводчица и критик, жена поэта Ю.П.Анисимова. Участвовала в работе ритмического кружка, активно переписывалась с Белым. См. о ней: «Обожая всякого рода экстравагантности, она иногда ходила дома в коротких штанишках и вообще отличалась мужскими замашками. Поэтому А.Белый, в которого она была влюблена, называл ее не Станевич (ее фамилия), а Штаневич» (Локс Константин. Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / Публ. Е.В.Пастернак и К.М.Поливанова // Мин. Т.15. С. 45).

«Надоел Пастернак». – Б.Л.Пастернак и Белый были знакомы с 1910 г. Об их биографических контактах см.: Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым / Публ. Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. Об отношениях Пастернака и Ходасевича см. статьи Дж.Мальмстада, Е.В.Пастернак и Н.А.Богомолова (Литературное обозрение. 1990. №2).

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) описала свои отношения с Белым и опубликовала письма Белого к себе в мемуарах «Человек и время: История человеческого становления» (М., 1982). Подробнее о ее

взаимоотношениях с Ходасевичем см. в его очерках «Диск» (КТ) и «Мариэтта Шагинян» (Собр. соч. Т.4).

- ...я поселился в деревне...* – в уже упоминавшемся имении Старое Гирево.
- Потом Белый женился...* – Белый жил вместе с Анной Алексеевной Тургеневой начиная с ноября 1910г., 26 ноября уехал с нею в заграничное путешествие (Италия, Африка, Палестина), в мае 1911 г. вернулся в Россию и вновь уехал за границу, в Брюссель, 16 марта 1912 г. С основателем Антропософского общества Рудольфом Штейнером Белый впервые встретился в Кельне 7 мая 1912 г., а в Швейцарии он жил с февраля 1914 г.
- Гетеанум* – антропософский храм, строившийся в городке Дорнахе, недалеко от Базеля. Белый действительно работал на его строительстве резчиком по дереву.
- Убийство Распутина* произошло 17 декабря 1916 г.
- Гершензон Михаил Осипович (1869–1925)* – литературовед, историк, философ. Более подробно Ходасевич пишет о нем в воспоминаниях «Гершензон». Некролог Гершензона, написанный Белым, см.: Россия. 1925. №5 (14).
- Бердяев Николай Александрович (1874–1948)* – философ, публицист. Присутствие Белого на собрании у Бердяевых подтверждается его записями «Жизнь без Аси» (РЛ. 1989. №1. С. 130).
- «Московский чудак», «Москва под ударом»* – первая и вторая части романа Белого «Москва». Продолжение их – роман «Маски».
- По своей неизменной склонности к чертежам...* – чертежи, о которых говорит Ходасевич, нам неизвестны. Однако Белый действительно любил графически изображать различные мыслительные конструкции. См., напр., сложные чертежи в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г. (Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. №1/2)
- ...провокационная деятельность департамента полиции...* – речь идет о разоблачении двойничества Е.Ф.Азефа (1908) и аналогичной деятельности убийцы П.А.Столыпина Д.Богрова (1911). Подробнее см.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С.265–277.
- ...читал лекции в Пролеткульте...* – см.: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В.Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988 (то же – в кн.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995); Богомолов Н.А. Андрей Белый и советские писатели // Там же; ср. комментарии А.В.Лаврова (РЛ. 1989. №1. С.131).
- С конца 1920 г. я жил в Петербурге.* – Ходасевич перебрался в Петроград в ноябре 1920 г., Белый приехал туда 31 марта 1921 г.
- Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов, 1878–1946)* – критик, публицист, историк литературы и культуры. Близкий друг Белого.
- «Принес поэму «Первое свидание»...* – см. примеч. к стихотв. «Буря» (БП).

- ...первую свою статью обо мне... – «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (Записки мечтателей. 1922. №5). Вторая – «Тяжелая лира и русская лирика» (СЗ. 1923. Кн. XV).
- Он давно мечтал выехать за границу. – Это желание документировано (см. в комм. А.В.Лаврова) с начала 1920-х. Разрешение на выезд было получено в сентябре 1921 г., а уехал в Берлин Белый 20 октября 1921 г.
- ...дорогими ему обитателями Дорнаха. – Имеется в виду прежде всего А.А.Тургенева. См. в письме Ходасевича к М.О.Гершензону: «Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Куиковым (sic!), – какую-то жестокую и истерическую месть ее – за что?» (De Visu. 1993. №5 (6). С. 29). Ходасевич знал о многих обстоятельствах отношений между Белым и его женой из попавшего ему в руки письма Белого, много лет спустя опубликованного Н.Н.Берберовой (Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. Кн. 5).
- Рапалльский договор, приведший к нормализации отношений между РСФСР и Германией, был заключен 16 апреля 1922 г.
- ...миссию Белого Дорнах решил игнорировать... – о своих претензиях к Антропософскому обществу Белый рассказал в книге «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994). См. также: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Мин. Т. 6, 8, 9; Malmstad John E. Andrej Belyj at Home and Abroad (1917–1923) // Europa Orientalis. 1989. Vol. 8.
- ...его истерики. – Истерика Белого, связанные с ней обстоятельства и картины послевоенного Берлина описаны в книге Белого «Одна из обителей царства теней» (Л., 1924), хотя и с многочисленными преувеличениями и искажениями. См. также описание берлинской жизни Белого в письмах Ходасевича к М.О.Гершензону от 14 и 29 ноября 1922 г. (De Visu. 1993. №5 (6). С.29, 31).
- ...«выкрикивая в форточку»... – см. ремарку в стихотворении «Маленький балаган на маленькой планете Земля»: «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва».
- Mariechen – о ней подробнее см. в примечаниях к стихотворению «An Mariechen» (БП), а также в мемуарах А.В.Бахраха (Континент. 1975. №3; то же – Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995).
- Каплун (Сумский) Соломон Гитманович (1891–1940) – заведующий издательством «Эпоха», видный член партии меньшевиков. Принадлежал к семье, многие члены которой всячески старались облегчить Белому жизнь в России.
- Лурье Вера Осиповна (род. 1901) – поэтесса, член петроградской студии «Звучащая раковина», ученица Н.С.Гумилева. О ней см. в предисловии То-

- маса Р.Бейера в кн.: Лурье Вера. Стихотворения. Berlin, 1987 (там же – ее стихи, обращенные к Белому); Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье // *Континент*. 1990. №62; Лурье В.И. Воспоминания о Гумилеве / Публ. Н.М.Иванниковой // *De Visu*. 1992. №6 (7). Bohmig M. Вера Лурье: поэтесса и очевидица нашего века // *Europa Orientalis*. 1995. Vol.XIV. №2.
- ...появилась в Берлине Нина Петровская...* – она приехала в Берлин из Италии в сентябре 1922 г., активно печаталась в сменовеховской берлинско-московской газете «Накануне». Подробнее см. в примеч. к очерку «Конец Ренаты».
- ...свидание Ренаты с Огненным Ангелом.* – Главные герои романа Брюсова «Огненный Ангел». О последних встречах с Белым Петровская писала: «А.Белого я разлюбила навсегда. И жалко!.. Сколько людей ушло из души и стали чужими. Отпадают, как сухие ветки. Иные – так просто отживают, иные... хуже... вырывают с болью чувства к себе, а иные так вылиняли, что ничего не осталось» (Мин. Т.8. С.110–111).
- ...в двух часах езды от Берлина.* – В курортном городке Саарове.
- Берберова Нина Николаевна (1901–1993)* – прозаик, поэтесса, мемуаристка. Третья жена Ходасевича. Об эпизоде, рассказанном Ходасевичем, см. в ее мемуарной книге «Курсив мой» (перепеч.: Воспоминания об Андрее Белом. С.330–331). Так называемая «берлинская редакция» книги «Начало века» опубликована лишь частично (Беседа. 1923. №2; СЗ. Кн. XVI–XVII; ВЛ. 1974. №6 / Публ. С.Григорьянца).
- Васильева Клавдия Николаевна (1886–1970)* – вторая жена Белого, автор «Воспоминаний о Белом» (Berkeley, 1981 / Публ. Дж. Мальмстада; частично – Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995).
- ...тоже выхлопатывал себе визу.* – М.О.Гершензон вернулся в Россию в августе 1923 г.
- ...одна дама...* – по сообщению А.В.Бахраха (*Континент*. 1975. №3), это была В.А.Зайцева, жена писателя Б.К.Зайцева.
- ...я не выдержал...* – более подробно этот случай описан Н.Н.Берберовой и А.В.Бахрахом. В восприятии Белого этот эпизод выглядел по-другому (см. его письмо к А.М.Горькому от 8 апреля 1924 г. // Андрей Белый: Проблемы творчества. С.302, в тексте статьи А.М.Крюковой «М.Горький и Андрей Белый»).
- Летом 1923 г. ...* – восстановление отношений с Брюсовым действительно произошло в Коктебеле, но не в 1923 г., а летом 1924-го.
- История этой работы своеобразна.* – История создания и публикации мемуарной трилогии (отдельные тома которой Ходасевич рецензировал) подробно изложена А.В.Лавровым в статье «Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого» (Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1990). См. также статью Л.С.Флейшмана «Мемуары Бело-

го» (Andrey Bely: Spirit of Symbolism. Ithaca & Lnd., 1987).

- ...письма Блока... – имеется в виду книга «Письма Александра Блока к родным» (Т.1 – Л., 1927; второй том вышел лишь в 1932). Не менее важным для Белого было появление «Дневника Ал.Блока» (Л., 1928. Т.1–2).
 ...появившийся только в конце 1937 г. ... – неоднократно повторенная неточность Ходасевича: книга «Между двух революций» вышла в 1935 г. На титульном листе обозначен 1934 г.
 «Золотому блеску верил...» – из стихотворения Белого «Друзьям» (1907).

Муни

Последние новости. 1926. 30 сент. Судьба С.В.Киссина была связана для Ходасевича не только с многочисленными личными переживаниями, не только послужила поводом для создания целого ряда стихотворений (см. БП), но и осмыслялась как чрезвычайно значимая в контексте русской культуры первых двух десятилетий XX века. Подробнее см.: Андреева И. «Огромной рифмой связало нас...»: К истории отношений Ходасевича и Муни // De Visu. 1993. №2 (3). Там же – библиография сочинений Муни и некоторые его стихотворения.

...28 марта 1916 г. – Ошибка памяти Ходасевича или опечатка: Муни застрелился 22 марта.

...тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм... – имеются в виду многочисленные подражательницы американской танцовщицы Айседоры Дункан, гастролировавшей в России и бывшей чрезвычайно популярной. Ходасевич знал «босоножество» изнутри, т.к. был близко знаком с Т.Саввинской, ученицей школы Рабенек, подражательницы Дункан.

...санинцы и огарки. – Разного рода эротические общества. Роман М.П.Арцыбашева «Санин» массовым читателем воспринимался как проповедь «свободной любви» (см.: Новополин Г. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1909. С. 116–126). Дело орловского общества «огарков» нашумело в 1907 г. (см.: Амфитеатров А.В. Против течения. СПб., 1908).

В одном стихотворном письме 1909 года... – письмо от июня 1909 г. (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 56), где строки эти находятся в следующем контексте, восходящем к евангельской притче о сеятеле и к стих. «Свободы деятель пустынный...» Пушкина:

...Если семена
Его при камени упали,

К чему тот тяжкий труд, что мы на рамена,
 Никем не прощенные, – взяли?!
 О, наших дней пророк, разбей свои скрижали!
 Стихам Россию не спасти,
 Россия их спасет едва ли,
 Да было б гадко!..

...ту самую каплю запредельной стихии... – имеется в виду стихотворение
 А.А.Фета «Ласточки» (1884):

Не так ли я, сосуд скудельный,
 Дерзаю на запретный путь,
 Стихии чуждой, запредельной
 Стремясь хоть каплю зачерпнуть.

Маленькие ученики плохих магов... – помимо очевидной отсылки к «Ученику чародея» Гете, здесь, очевидно, есть намек и на личность В.Я.Брюсова, имевшего репутацию «мага», особенно упрочившуюся после появления посвященного ему стихотворения Андрея Белого «Маг».

«Лес символов» – отсылка к сонету Ш.Бодлера «Соответствия».

«Качели соответствий» – очевидно, контаминированная отсылка к тому же сонету Бодлера и к стихотворению Ф.Сологуба «Чертовы качели» (1907).

Мы с Муни сидели в ресторане «Прага»... – см. в рецензии О.Э.Мандельштама на «Записки чудака» Андрея Белого (1923): «Русский символизм не умер. Пифон клубится. Андрей Белый продолжает славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление, двойник...» (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.2. С.292).

Ахрамович (Ашмарин) Витольд Францевич (1882–1930) – литератор, был секретарем издательства «Мусагет». См. о нем в указанной статье И.Андреевой (С.38–39).

Антик Владимир Морицевич (1882–1972) – основатель книгоиздательства «Польза», выпускавшего «Универсальную библиотеку», где часто сотрудничал Ходасевич.

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – писатель. О Муни см. в его воспоминаниях «Зори» (Зайцев Борис. Голубая звезда. М., 1989).

Голоушев Сергей Сергеевич (1855–1920) – художник, театральный и художественный критик, писавший чаще всего под псевдонимом Сергей Глаголь.

Поярков Николай Ефимович (1877–1918) – поэт, прозаик и критик. Был тяжело болен и обречен на неподвижность.

...кафе на Тверском бульваре... – очевидно, так называемое Cafe Grec, излюбленное место встреч московской богемы.

«Куда бы ты ни поспешал...» – из стих. Пушкина «Красавица» (1832).

...«легким бременем»... – Ходасевич принимал самое близкое участие в подготовке этой книги с евангельским названием (так же назывался неопубликованный рассказ Муни) к печати. В 1918 г. по его инициативе несколько стихотворений из нее было напечатано в газете «Понедельник Власти народа», однако в дальнейшем рукопись книги пропала в издательстве «Эрато».

...«другим концом»... – из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась – раскочилась:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

«Другие дым, я тень от дыма...» – из стихотворения К.Д.Бальмонта «Тень от дыма» (1904).

Семипудовая купчиха – «мечта» об этом превращении заимствована из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» (реплика Черта в рассказе Ивана Карамазова).

В одном из его рассказов... – «Летом 190* года» (Архив Л.С.Киссиной).

...Беклемишев писал стихи и рассказы... – см.: «Не скажу тебе, зачем я в час, когда приходишь ты...» // Русская мысль. 1908. №9; «Голодные стада моих полей...» // Русская мысль. 1908. №12. Следует отметить, что там же, в №8 и 10 за 1908 г. были напечатаны стихи за подписью «Муни». Именно Беклемишева также планировалось подписать рассказ «Летом 190* года» (не опубликован) и стихотворение в «Антологии» (М., 1911).

...я написал и напечатал в одной газете стихи... – см. примеч. к стихотворению «Поэту» (БП).

«Обуреваемый негр» – на самом деле пьеса называется «Мечь негра» (Театральная жизнь. 1989. №6 / Публ. Д.Б.Волчека).

...его письма «оттуда»... – письма частично сохранились (РГАЛИ. Ф. 537. Оп.1. Ед. хр. 66).

...«Самострельная». – Автограф хранится в архиве Л.С.Киссиной.

Гумилев и Блок

Ходасевич неоднократно писал воспоминания об этих двух поэтах. В основу данного текста положена статья «О Блоке и Гумилеве» (Дни. 1926. 1 и 8

авг.). См. также: Гумилев и «Цех поэтов» (Сегодня. 1926. 29 авг.); Ни сны ни явь: Памяти Блока (Собр. соч.); Из воспоминаний о Гумилеве: К десятилетию со дня смерти // Возр. 1931. 27 авг.; Мелочи: Неизданная статья Блока // Возр. 1933. 7 сент., и др.

...в один год начали печататься... – неточность. В 1905 г., когда начал печататься Ходасевич, Гумилев выпустил первый сборник стихов, а первое его стихотворение было напечатано еще в 1902 г.

Мы познакомились осенью 1918 г. ... – См. в письме Ходасевича к жене от 12 октября 1918 г.: «Завтра пойду к Гумилеву. Он противный. Познакомился с Шаляпиным. Вроде Гумилева» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп.1. Ед. хр. 47. Л.4 об).

...на заседании коллегии «Всемирной литературы». – Гумилев был членом коллегии, а Ходасевич предлагал в издательство ряд своих переводов.

...эта мебель отчасти принадлежала мне. – Речь идет о мебели из имения Лидино, где Ходасевич подолгу жил в 1905–1907 гг. М. – поэт и искусствовед С.К.Маковский (1877–1962), второй муж М.Э.Рындиной.

...тощенький, бледный мальчик... – Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), впоследствии – известный историк и этнолог.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – известный адвокат, литератор, чрезвычайно популярный и авторитетный в петроградском литературном мире начала двадцатых годов.

...Гумилев под руку с дамой... – Ходасевич, очевидно, имеет в виду поэтессу И.В.Одоевцеву.

Конечно, он не был и на балу. – Однако следует отметить, что 11 января 1921 г. Блок был на маскараде в школе ритма Ауэр, о чем Ходасевич знал.

Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. – Материалы вечера были опубликованы в книге «Пушкин. Достоевский» (Пг., 1921). Описание его см. также в дневнике Е.П.Казанович (Литературное обозрение. 1980. №10 / Публ. А.Конечного и В.Сажина) и в письме А.А.Кублицкой-Пиоттух к М.А.Бекетовой (Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 328). См. также: Hughes R. Pushkin in Petrograd, February 1921 // Cultural Mythologies of Russian Modernism. Berkeley e.a., 1992.

Волковский Николай Моисеевич (1881 – после 1939), Харитон Борис Осипович (Иосифович, 1877–1941), Ирецкий (Гликман) Виктор Яковлевич (1882–1936) – литераторы. *Котляревский Нестор Александрович (1863–1925)* – литературовед, академик. *Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931)* – историк, литературовед, пушкинист. О двух последних как пушкинистах Ходасевич писал М.О.Гершензону 24 июля 1921 г.: «С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю – но мертвечинкой пахнет. <...> Котляревский – ужасно видный мужчина, и

все для него несомненно <...> Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части)...» (De Visu. 1993. №5 (6). С. 26 / Публ. И.Андреевой). Письмо Ходасевича к Н.М.Волковскому см.: Новое литературное обозрение. 1993. №2. С.167 / Публ. С.В.Поляковой.

Кристи Михаил Петрович (1875–1956) – советский общественный деятель, в 1921 г. – заведующий Академическим центром в Петрограде. К данному месту воспоминаний см.: «Вл.Ф.Ходасевич в статье «О Блоке и Гумилеве», описывая это заседание, неправильно назвал меня, а также Н.М.Волконского (имеется в виду Н.М.Волковыский. – Н.Б.) и В.Я.Ирецкого среди сидевших за столом президиума. Мне, по поручению организационного комитета, выпала честь оглашения декларации 16 литературных организаций о ежегодном всероссийском чтении памяти Пушкина. Мы трое состояли членами комитета по организации торжеств, а места за столом занимал почетный президиум, в который вошли только такие большие писатели, как: Блок, Ахматова, Сологуб, Кузмин, Ходасевич, Котляревский, Кони, Амфитеатров, Щеголев и... пролетарский поэт Садофьев как необходимая уступка времени, а также, по той же причине, заведующий академическим центром М.П.Кристи, которого Вл.Ходасевич справедливо награждает лестными эпитетами. Это был единственный в то время видный советский чиновник, с которым можно было разговаривать без риска, часто с пользой и иногда даже не без приятности» (Харитон Б. Жертва: Памяти Александра Блока // Сегодня. 1926. 7 авг.).

Свое вдохновенное слово о Пушкине... – речь «О назначении поэта».

Во время блоковской речи появился Гумилев. – Полемику с воспоминаниями Ходасевича см.: Одоевцева Ирина. На берегах Невы. М., 1988. С. 205. Ср. также: Харитон Б. Гумилев – каким мы его знали // Сегодня. 1926. 27 авг.

...я застал обоюдную вражду. – Об отношениях Гумилева и Блока см. справку Р.Д.Тименчика (ЛН. Т. 92. Кн. 3. С.56–57). Ср. в письме Г.П.Блока к Б.А.Садовскому, где приведены слова Гумилева о Блоке: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его им и показал – вот, мол, что такое человек» (Там же. С. 529).

...«сокрытый двигатель»... – из стихотворения Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

...манифесты акмеистов... – т.е. статьи Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С.М.Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» (обе – Аполлон. 1913. №1), были направлены также против теорий Вяч.Иванова.

На ученика – Гумилева – обрушивалась... вражда к учителю – Брюсову... – в молодости Гумилев действительно считал себя учеником Брюсова (см. в

- его письмах к Брюсову: ЛН. Т.98. Кн. 2 / Публ. Р.Л.Щербакова и Р.Д.Тименчика). Об отношениях Блока и Брюсова см. специальную статью Ходасевича «Брюсов и Блок» (Возр. 1928. 11 окт.), а также вступительную статью З.Г.Минц к публикации их переписки (ЛН. Т.92. Кн. 1).
- «Цех Поэтов» – возник осенью 1911 г. Первое его собрание описано в дневнике Блока (Блок. Т. 7. С. 75–76). Ходасевич, живший в то время в Москве, знал о деятельности «Цеха» понаслышке, потому в описании его истории допускает ошибки. Так, Г.И.Чулков и Ю.Н.Верховский членами «Цеха» никогда не были; поэт Владимир Иванович Нарбут (1888–1938) спутан с его братом, известным художником Егором (Георгием); сказать, что «Цехом» акмеисты «завладели», нельзя, т.к. акмеизм зарождался внутри самого «Цеха»; Блок не «постепенно отпал», а был на одном только первом собрании. Подробнее см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме. I // Russian Literature. 1974. №7/8.
- Чулков *Георгий Иванович (1879–1939)*, Верховский *Юрий Никандрович (1878–1956)*, Клюев *Николай Алексеевич (1884–1937)* – поэты. Об отношении последнего к «Цеху» см.: Азадовский К. Н.А.Клюев и «Цех поэтов» // ВЛ. 1987. №4.
- ...«Цех» заглох. – Первый «Цех поэтов» прекратил деятельность весной 1914 г., однако в 1916–1917 гг. существовал еще один, второй «Цех», возглавлявшийся Г.В.Адамовичем и Г.В.Ивановым.
- Нельдихен *Сергей Евгеньевич (1891–1942)* – поэт. Ходасевич близко к тексту цитирует отрывок из его поэморомана «Праздник» (Нельдихен С. Органное многоголосье. Пб., 1922). Подробнее об этом эпизоде см.: Богомолов Н.А. Мандельштам и Ходасевич: неявные оценки и их следствия // Осип Мандельштам: Поэтика и текстология / К 100-летию со дня рождения: Материалы научной конференции 27–29 декабря 1991 г. М., 1991.
- Всероссийский Союз Поэтов – возник в 1918 г. Луначарский его председателем не был (подробнее см. в речи Брюсова «Пятилетие Союза поэтов» (ЛН. Т. 85 / Публ. К.Н.Суворовой). О петроградском отделении Союза см.: Блок и Союз поэтов // ЛН. Т. 92. Кн. 4.
- Однажды ночью... – точная дата «переворота» неизвестна. Ср. запись в дневнике Блока: «В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева» (Блок. Т. 7. С. 420). Однако еще в 1920 г. Блок отказывался от председательствования (см.: Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 504).
- Тихонов (*Серебров*) *Александр Николаевич (1880–1956)* – литературный деятель, близкий друг и сотрудник Горького, один из руководителей издательства «Всемирная литература».
- «Литературная Газета» – о судьбе этого издания см.: Сажин В.Н. Неудавшийся прорыв немоты: О невышедшем номере «Литературной газе-

ты» 1921 года // Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. Публикация большинства текстов – Устинов А., Сажин В. Ожог: К истории невышедшей «Литературной газеты» 1921 года // Литературное обозрение. 1991. №2.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – председатель совета Северной Коммуны, фактический диктатор Петрограда и губернии. Подробнее о нем см. в очерках о Горьком.

1 марта был назначен вечер его стихов в Малом театре. – Описанный Ходасевичем вечер Блока состоялся 25 апреля 1921 г. в Большом драматическом (бывшем Малом или Суворинском) театре.

...мать Блока. – Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова, в первом браке Блок, 1860–1923). См. статью Ходасевича «Блок и его мать» (Возр. 1935. 7 и 9 февр.; перепеч.: КТ).

...как бы Чуковский не наговорил пошлостей... – речь К.И. Чуковского на этом вечере он сам расценивал как неудачную: «А вечером ужас – неуспех. Блок был ласков ко мне, как [к] больному. Актеры все окружили меня и стали говорить: «наша публика не понимает» и пр. Блок говорил: «Маме понравилось», но я знал, что я провалился» (Чуковский К.И. Дневник 1901–1929. М., 1991. С.163). Ср. также впечатления от выступления Чуковского в квазимемуарном очерке Г.Иванова (Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С.423).

То и дело ему кричали: «Двенадцать!»... – известно, что Блок сам никогда не читал эту поэму, это делала его жена, Л.Д.Блок.

Через несколько дней... он уехал в Москву. – См.: Чуковский К.И. Дневник. С.164–168.

...слег, и большие уже не встал. – См.: Щерба М.М., Батурина Л.А. История болезни Блока // ЛН. Т.92. Кн.4. Ср. также выписку из «Краткой заметки о ходе болезни поэта А.А.Блока» доктора А.Г.Пекелиса (Там же. Кн.3. С.525).

На Пасхе вернулся... один наш общий друг... – возможно, что речь идет об Андрее Белом, приехавшем в Петроград 31 марта 1921 г., хотя Пасха в тот год была 1 мая.

...нового своего знакомого. – По всей вероятности, речь идет о молодом поэте, авторе книги стихов «Снежный путь» (М., 1921) В.А.Павлове. Однако И.В.Одоевцева и Н.Я.Мандельштам писали, что достоверных доказательств его провокаторской деятельности не существует.

«Дом поэтов» – см.: «Всероссийский Союз Поэтов (Петербургское отделение) получил разрешение на открытие «Клуба Поэтов». Клуб будет помещаться в помещении союза Поэтов (угол Литейного и Спасской, дом Мурузи)» (Жизнь искусства. 1921. 25–26–28 июня. №761–762–763); «В понедельник, 4 июля в 9 ч. веч. состоится первый вечер Клуба поэтов

КОММЕНТАРИИ

(б. Литейный пр., 24)» (Там же. 2–3–5 июля. №767–768–769).

Икскуль фон Гилленбанд Варвара Ивановна (1846–1928; встречаются другие указания на год рождения) – хозяйка великосветского салона. Ходасевич написал ее некролог (Возр. 1928. 28 февр.). См. также воспоминания о ней в очерке «Горький».

...я был последним, кто видел его на воле... – рассказ Ходасевича находится в противоречии с очерком Г.Иванова (Собр. соч.: В 3 тт. Т.3. С.168) и мемуарами И.Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон. 1967. С.440–441; данный фрагмент не вошел в книгу, изданную в Москве).

Павлович Надежда Александровна (1895–1980) – поэтесса, близкая к Блоку в последние годы его жизни. Ее воспоминания о Блоке см.: Блоковский сборник. Тарту, 1964; Прометей. М., 1977. Вып. 11, а также в мемуарной поэме «Воспоминания об Александре Блоке» (в ее книге «Сквозь долгие года». М., 1979).

...Андрей Белый известил меня о кончине Блока. – В письме от 9 августа 1921 г. (СЗ. 1934. Кн.LV. С. 257–258; перепеч.: ЛН. Т.92. Кн.3. С.533).

...театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев... – труппа ростовской «Театральной мастерской». См.: Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. Л., 1990. С. 382–385.

Гершензон

Впервые: СЗ. 1925. Кн. XXIV. Там же – публикация писем Гершензона к Ходасевичу. Полностью сохранившаяся часть их переписки опубликована И.Андреевой [De Visu. 1993. №5 (6)]. См. в ней полушутливую эпитафию, во многом определяющую суть отношения Ходасевича к другу: «Покойный критик Гершензон не гнался, в конце концов, за справедливостью, иногда сочинял себе то, что «критиковал», но и умел видеть иной раз то, чего не видит никто, – а главное, судил от живого духа» (С.26).

...оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина. – Аполлон. 1915. №3 (текст см.: КТ). Письмо Гершензона в настоящее время неизвестно.

...специальное высшее учебное заведение... – в 1887–1889 гг. Гершензон учился в Шарлоттенбургском политехникуме (одновременно слушая в Берлинском университете лекции по истории и философии).

...зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. – Гершензон учился на историко-филологическом факультете Московского университета в 1889–1894 гг.

...мы жили в одном санатории. – См. очерк Ходасевича «Здравница» (Собр. соч. Т.4).

Союз Писателей – был основан в марте 1917 г.

...если бы не Гершензон – плохо мне бы было в 1916–1918 гг. ...– см., напр., письмо Гершензона Андрею Белому от 21 декабря 1917 г.: «Милый Борис Николаевич, у меня к Вам дело. Владисл<ав> Фелиц<ианович> Х<одасевич> находится в крайне стесненном положении; необходимо ему помочь. Мы с А.Н.Толстым придумали литературный вечер, и одна богатая дама предоставила для этого заду в своем доме около Арбата. Можно собрать тысячу рублей. Помогите – не откажитесь участвовать...» (РГБ. Ф.25. Карт.14. Ед.хр.2. Л.13. Процитировано также в предисловии И.Андреевой к публикации переписки Гершензона и Ходасевича).

...зачем Х., что бы ни писал, – поминает про свою ссылку в Сибирь? – Имеется в виду Г.И.Чулков. См.: Вейдле В. Девяностолетие Ходасевича // Русская мысль. 1976. 3 июня. №3108 (ср.: Тименчик Р.Д. Заметки на полях именных указателей // Новое литературное обозрение. 1993. №4. С.156–157).

Профессор Р. ... – Матвей Никанорович Розанов (1858–1936). См. в указанной статье В.В.Вейдле.

Бобров Сергей Павлович (1889–1971) – поэт, прозаик, переводчик, стиховед. Книга «Новое о стихосложении Пушкина» была издана в 1915 г. Статья Боброва в черносотенной газете не обнаружена. Возможно, Ходасевич безоговорочно обвиняет Боброва в черносотенстве потому, что был обижен его резкими отзывами о книгах «Счастливый домик» и «Тяжелая лира».

«Мудрость Пушкина» – книга Гершензона (М., 1919). О ее судьбе см. в очерке «Книжная палата» (КТ).

...«что и не снилось нашим мудрецам». – Из шекспировского «Гамлета».

Сологуб

Впервые: СЗ. 1928. Кн. XXXIV. Статья представляет собою не столько мемуары, сколько критический разбор творчества Сологуба, в который включено лишь несколько фрагментов собственно воспоминаний (см. также в наст. изд. очерк «Из петербургских воспоминаний»), что было с неодобрением отмечено В.С.Яновским: «К сожалению, статьи о Сологубе и Есенине, – где Ходасевич занимается отвлеченным разбором их творчества, – несколько нарушают стройность книги» (Русские записки. 1939. Кн. XVII. С.199). Названным характером текста объясняется его особенность – цитирование множества стихотворений Сологуба, взятых из разных сборников. Большинство цитат восходит к книгам: «Собрание стихов. Книга 3 и 4» (М., 1904); «Пламенный круг» (М., 1908), «Собр. соч. Том 13. Жемчужные светила» (СПб., 1913), «Фимиамы» (Пб., 1921), «Небо голубое» (Ревель, 1921). Иногда цитаты приводятся с неточностями.

- ...книга, составленная из одних триолетов. – Федор Сологуб. Собр. соч. Том 17. Очарования земли. СПб., 1914. Следует, однако, отметить, что помимо большого раздела «триолеты», действительно составляющего целую книгу, в этом сборнике был также раздел «Разные стихотворения 1913 года».
- Ева, Лилит, Альдонса, Дульцинея* – персонажи индивидуальной сологубовской мифологии, заимствованные из еврейских мифов (Ева и Лилит) и романа Сервантеса «Дон Кихот» (Альдонса и Дульцинея).
- Чеботаревская Анастасия Николаевна (1875–1921)* – писательница, жена Сологуба с 1908 г.
- ...*Андрей Белый напечатал в «Весех» о Сологубе статью...* – статья «Далай-лама из Сапожка» (Весы. 1908. №3).
- В 1924 году...* – речь идет о чествовании Сологуба по поводу сорокалетия его литературной деятельности 11 февраля 1924 г. в Государственном Академическом драматическом театре. Об этом эпизоде Ходасевичу рассказал В.В.Вейдле (см.: Вейдле В. Девяностолетие Ходасевича // Русская мысль. 1976. 3 июля).
- Ольга Кузьминична Тетерникова (1865–1907)* – сестра Сологуба, акушерка. Долгое время жила вместе с ним. Отметим, что Сологуб женился только после ее смерти.
- ...*Луначарский подал в Политбюро заявление...* – см. об этом также в очерке «Горький». Официальные документы по оригиналам опубликованы: «Шипение Сологуба не прибавит ничего» / Публ. В.Щепелева и В.Любимова // Источник. 1995. №1. Ходасевич знал историю по документам, имевшимся в распоряжении М.Горького. См. об этом: Никитина М.А. М.Горький и Ф.Сологуб: К истории отношений // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1; Дикушина Н. Как решалась судьба поэта // Литературная газета. 1990. 28 нояб. Письмо Луначарского в ЦК РКП(б) о разрешении Блоку выехать за границу опубликовано: ЛН. Т.80 М., 1971. С.292–294.
- Чеботаревская Александра Николаевна (1869–1925)* – переводчица, сестра Ан.Н.Чеботаревской.
- ...*двадцать семь пьес в стиле французских бержерет.* – Составили книгу Сологуба «Свирель: Русские бержеретты» (Пб., 1922). О создании этой книги Сологуб писал: «“Свирель” вся написана, чтобы ее (Анастасию Николаевну Чеботаревскую. – Н.Б.) позабавить. Голодные были дни. Заминка с пайком. Ходил на Сенную, на последние гроши, на разменные по секрету от нее германские марки купить что-нибудь вкусное» (Сологуб Федор. Стихотворения. Л., 1979. С.628).

Есенин

Впервые: СЗ. 1926. Кн. XXVII. Ввиду широкой известности поэзии Есенина источники многочисленных стихотворных цитат не указываются.

...Х. – Сергей Антонович Клычков (1889–1937), впоследствии известный поэт. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета.

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) – с предисловием В.Я.Брюсова вышла его книга «Сосен перезвон» (М., 1912), с предисловием Валентина Павловича Свенцицкого (1879–1931) – «Братские песни» (М., 1912).

...хорошо рассказал Г.Иванов. – В книге «Петербургские зимы» (см.: Иванов Георгий. Собр.соч. Т.3. С. 69–70). Ходасевич знал о том, что очерки Иванова являются в первую очередь художественным произведением и как исторический источник далеко не всегда могут быть использованы. Поэтому цитирование этого отрывка Ходасевичем можно истолковать как своеобразную верификацию данного текста. Следует отметить, что у Иванова Клюев всюду называется «Васильевичем»

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937) – советский прозаик.

После смерти Есенина она была напечатана... – Красная нива. 1926. №2. Написана в 1923 г.

...однажды читал стихи императрице. – По данным В.Белоусова, Есенин встречался с членами царской фамилии минимум дважды – 22 июня 1916 г. и 5–6 января 1917 г. (см.: Белоусов В. Сергей Есенин: Литературная хроника. М., 1968. Ч.1. С.97, 105).

Разумник-Иванов – Р.В.Иванов (Иванов-Разумник). См. о нем примеч. к очерку «Андрей Белый».

«Друг» – Г.Е.Распутин.

...в одном из дисциплинарных батальонов... – Есенин не был ни на фронте, ни в дисциплинарном батальоне (см.: Белоусов В. Цит. соч. С. 244–245). О его отказе писать стихи в честь царя известно, в сущности, только из цитируемой Ходасевичем автобиографии.

«Голубень». – Эта книга Есенина вышла в 1918 г.

Блюмкин Яков Григорьевич (1898–1929) – левый эсер, сотрудник ВЧК.

Поэтесса К. – Е.Ю.Кузьмина-Караваева, которая, по свидетельству И.Г.Эренбурга (Воспоминания об А.Н.Толстом. Изд. 2-е. М., 1982. С.88), часто бывала весной 1918 г. года в доме Толстого.

В начале 1919 года... – очевидно, речь идет о вступлении Есенина в члены «Литературно-художественного коммунистического клуба», причем в заявлении он писал: «Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представлен-

ному РКП...» (Сергей Есенин в стихах и жизни: Письма. Документы. М., 1995. С.81). Ходасевич не мог знать этого текста из печати, но, очевидно, слухи о заявлении дошли до него.

Ширявец (Абрамов) Александр Васильевич (1887–1924) – поэт. Книга, присланная им Ходасевичу, – «Записка» (Ташкент, 1916). Письмо Ходасевича к Ширяевцу недавно опубликовано: Ширявец Александр. Из переписки 1912–1917 гг. / Публ. Ю.Б.Орлицкого, Б.С.Соколова, С.И.Субботина // *De Visu*. 1992. №3 (4). С.30–31.

Чурила Пленкович... – герой русских былин.

«*Летопись*» – журнал, выходявший в 1915–1917 гг. Организатором и редактором его был М.Горький.

Вейнинггер Отто (1880–1903) – психолог, автор очень популярной в России книги «Пол и характер» (1903).

«*Ключи счастья*» – популярный роман А.А.Вербицкой (1909–1913).

...*были привлечены к общественному суду...* – 20 ноября 1923 г. Есенин вместе с П.Орешиним, С.Клычковым и А.Ганиным был задержан милицией после скандала в ресторане, сопровождавшегося антисемитскими выкриками. 10 декабря товарищеский суд вынес им общественное порицание.

Соболь Андрей (Юлий) Михайлович (1888–1926) – известный в двадцатые годы прозаик.

Горький

Впервые: СЗ. 1937. Кн. LXIII. Письма Горького к Ходасевичу опубликованы: Новый журнал. 1952. Кн. 29–31. См. в письме Ходасевича к Ю.И.Айхенвальду от 28 октября 1926 г.: «За три года жизни с Горьким узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных личных, чаепитийных отношениях), и того, что больше года мы даже не переписываемся. Он недоволен мной, я – тем, что признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей «миссией». Я все надеялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот – и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда покатился *тотчас* по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь» (Новое литературное обозрение. 1995. №14. С.137 / Публ. С.В.Шумихина).

...*на одном из первых представлений «На дне»...* – премьера пьесы в МХТ состоялась 18 декабря 1902 г.

...*напыщенное стихотворение в прозе...* – нам неизвестно и вряд ли сохранилось.

- ...Нина Петровская была на Капри...* – Свой визит к Горькому Петровская описала в очерке «Максим Горький на Капри: Литературный силуэт» (Астраханец. 1908. 5 мая; Тифлисский листок. 1908. 15 мая). Несколько подробнее об этом эпизоде и отношении тогдашнего окружения Ходасевича к Горькому см.: Богомолов Н.А. Вл. Ходасевич в московском и петроградском литературном кругу // Новое литературное обозрение. 1995. №14. С.125–126. Описание этого визита в письмах Петровской к Брюсову и Е.Янтареву см.: Богомолов Н.А. Итальянское путешествие Нины Петровской. // Русско-итальянский архив (в печати).
- «Парус»* – издательство, существовавшее в Петрограде в 1915–1917 гг.
- Племянница Ходасевича* – Валентина Михайловна Ходасевич (1894–1970), известная художница. Свое долгое знакомство с Горьким описала в воспоминаниях «Портреты словами: Очерки» (М., 1995).
- «Всемирная литература»* – издательство, действительно организованное Горьким. Мнение Ходасевича о том, что Горький не был заинтересован делами издательства, видимо, касается лишь чисто коммерческой и технической стороны, т.к. многочисленные достоверные свидетельства показывают, что проблемы репертуара издательства, качества переводов и аппарата весьма занимали его. Подробнее см.: Шомракова И.А. Книгоиздательство «Всемирная литература» // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Т.14; Хлебников Л.М. Из истории Горьковских издательств: «Всемирная литература» и «Издательство З.И.Гржебина» // ЛН. Т.80.
- ...меня вызвали в Петербург...* – Ходасевич был в Петербурге в октябре 1918 г. Его пребывание там достаточно подробно описывается в письмах к жене (РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Ед.хр. 47), где о первом впечатлении от встречи с Горьким сказано: «Он мил, но суховат. Человека на замечает, а потому с ним трудно» (письмо от 4 октября).
- Андреева М.Ф. (урожд. Юрковская, в замуж. Желябужская, 1868–1953)* – вторая жена Горького, актриса. После Октябрьской революции много занималась общественной работой.
- Крючков Петр Петрович (1889–1938)* – секретарь Горького, близкий М.Ф.Андреевой. Одно время заведовал «Международной книгой». На одном из больших процессов конца 1930-х гг. приговорен к расстрелу. Подробнее о нем см. в очерке «О смерти Горького».
- Большой портрет Горького – работы моей племянницы...* – ныне хранится в Литературном музее ИРЛИ. См. об истории этого портрета в воспоминаниях В.М.Ходасевич (С.142–144).
- Балтрушайтис Юргис Казимирович (1883–1944)* – поэт-символист, с 1920 г. – литовский дипломатический представитель в РСФСР.
- Я очутился в числе этих несчастных...* – заботы, связанные с отсрочкой

призыва в армию, волновали Ходасевича по крайней мере с 1916 г., когда призыву помешал начавшийся костный туберкулез.

Бенкендорф (урожд. Закревская, во втором браке Будберг) Мария Игнатьевна (1892–1974), – секретарь Горького. См. о ней документальную книгу Н.Н.Берберовой «Железная женщина» (М., 1990).

...студентка-медичка, по прозванию Молекула... – имеется в виду Мария Александровна Гейнце, учившаяся в Военно-медицинской академии (см.: Ходасевич Валентина. Цит. соч. С.154). О дальнейшей ее жизни (гражданский брак с В.Е.Татлиным, работа врачом под Арзамасом) см.: Там же. С. 175–178. По сведениям автора каталога «Владимир Татлин: Ретроспектива» (Köln, [1993]. С.390), она умерла, вероятно, в 1931 г.

Ракицкий И.Н. (1883–1942), – жил в доме Горького до смерти последнего. *...с мужем.* – Мужем В.М.Ходасевич был художник Андрей Романович Дидерихс (1884–1942).

Дельвари (Кучинский) Георгий Ильич (Жорж, 1882–1942) – известный петроградский клоун и акробат, участвовал также в спектаклях «Театра народной комедии» С.Э.Радлова. Именно с расчетом на него был написан скетч Горького «Работяга Словотеков».

Лашевич Михаил Михайлович (1884–1928) – советский государственный и военный деятель. Обвинялся в причастности к троцкистской оппозиции. *Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942)* – заведующий петроградским отделением Гос. издательства, пролетарский поэт. *Зорин Сергей Семенович (1892–1937 или 1938)* – большевик, сотрудник Петросовета.

Бакаев Иван Петрович (1887–1936) – советский государственный деятель, зам. председателя Петроградского совета.

...«по грошу в долг и без отдачи»... – из стихотворения Г.Р.Державина «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

...роман Наживина о Распутине... – см.: Наживин И.Ф. Распутин. Берлин, 1923.

Яблоновский Александр Александрович (1870–1934) – журналист.

Максим Алексеевич Пешков (1897–1934), – жена его – Надежда Алексеевна Пешкова, урожд. Введенская (1901–1971).

Старков Арсений Викторович (ум. 1927) – врач, профессор.

Муратов Павел Павлович (1881–1950) – известный писатель и искусствовед.

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – писатель и литературовед, в начале 1920-х гг. – в эмиграции, впоследствии возвратился в СССР.

«Господа! Если к правде святой...» – из стихотворения П.-Ж.Беранже «Безумцы» в пер. В.С.Курочкина, неоднократно декламируемого Актером в пьесе Горького «На дне».

...рассказа о возвышенном чиже... – рассказ Горького «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины».

- «Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду»... – из письма Горького к Е.Д.Кусковой от 22 января 1929 г. из Сорренто (полностью опубликовано: Кускова Е.Д. Трагедия Максима Горького // Новый журнал. 1954. №38. С. 241). Из какого источника знал его Ходасевич, нам неизвестно.
- Маяковский... печатно заявивший...* – см.: «М.Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея» (Маяковский В. Я сам // Полн. собр. соч. М., 1955. Т.1. С.23).
- Роде Адолий (Адольф) Сергеевич (ум. 1930)* – до революции владелец ресторана «Вилла Роде», после нее – близкий к Горькому хозяйственный деятель, впоследствии в эмиграции. О его жизни и манере поведения в советские годы см.: Волковыский Н. Советские магнаты // Театр и жизнь [Париж]. 1931. №38. Апр.
- ...в Петербург приехал Уэллс* – Г.Дж. Уэллс был в Петербурге в октябре 1920 г.: свои впечатления описал в известной книге «Россия во мгле». Подробный рассказ писателя и журналиста Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862–1938), эмигрировавшего в 1920 г., о своем выступлении см.: Амфитеатров А. Горестные заметы: Очерки красного Петрограда. Берлин, 1922. С.59–74. См. об этом пребывании и реакции на выступление Амфитеатрова также: Чуковский К.И. Дневник 1901–1929. М., 1991. С.147–148, 489–490.
- ...«театр для себя»...* – формула, восходящая к теории Н.Н.Евреинова, описанной в трехтомной книге под тем же заглавием (Пг., 1915–1917).
- Палей Владимир Павлович (1897–1918)* – князь, автор двух книг стихов. Сын вел.кн. Павла Александровича (1860–1919). и кн. Ольги Валериановны Палей (1865–1929). Был убит большевиками. См. о нем также в статье «Кровавая пицца». Ср.: Тименчик Р.Д. Заметки на полях именных указателей // Новое литературное обозрение. 1993. №4. С.158, а также в кн.: Палей Владимир, князь. Поэзия. Проза. Дневники. М., 1996.
- Палей Абрам Рувимович (1893–1995)* – поэт и прозаик, автор воспоминаний. «Пролетарским» поэтом он не был.
- «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюц. литературы...»* – точное название: «Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы» (М., 1923. С.22). Она состояла из собственно инструкции, подписанной Н.К.Крупской как председателем Главполитпросвета и зам. зав. Главлитом Н.Сперанским, а также списка литературы. Подробный и основанный на документальных материалах комментарий к этому месту очерка см. в примечании И.А.Бочаровой к переписке

КОММЕНТАРИИ

М.Горького и Ф.А.Степуна (De Visu. 1993. №3. С.51).

«Рассказ о тараканах» – на самом деле назывался «О тараканах».

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – критик. Опубликованы три письма Ходасевича к нему: Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7 / Публ. Евг.Беня; Новое лит. обозрение. 1995. №14 / Публ. С.В.Шумихина.

«Руль» – газета, выходившая в Берлине в 1920–1931 гг. Имеющаяся в виду статья Ю.Айхенвальда: Каменецкий Б. Литературные заметки // Руль. 1924. 4 мая. В ней Айхенвальд писал: «Беллетристическое предприятие Василия Сизова «Об одном романе» хочется назвать неудавшимся, хочется признать его манерным и оригинальничавшим...»

Завтрак в Сорренто

Возр. 1938. 6 мая

Писатель Х. ... – согласно комментариям Р.Сильвестра (которого консультировала Н.Н.Берберова), это французский писатель, издатель журнала «Les Ecrits Nouveaux» и банкир, сын основателя банка «Лионский кредит», французский литературный агент Горького Андре Жермен (писал такое под псевдонимом Луи Сандре 1882–1971). Ходасевич написал о его произведениях экспромт:

Вот эскизы и кроки,
Сочиненные с тоски

(см.: Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т.1.: Белый коридор: Воспоминания. С. 292). В Сорренто он побывал в мае 1924 г. До этого был у Горького в Герингсдорфе и оставил воспоминания «Chez Gorki» (Les Ecrits Nouveaux. 1922, aout – septembre).

...в первый день католической Пасхи. – 13 апреля.

...все его советофильство он довольно язвительно высмеял в «Красной Нови»... – отзыв А.В.Луначарского об А.Жермене нам удалось обнаружить только один: К характеристике новейшей французской литературы // Печать и революция. 1926. №2. Однако содержание статьи не вполне совпадает с характеристикой, данной Ходасевичем.

...и вообще, кажется, бросил литературу. – По сведениям «Dictionnaire de biographie française» печатался до 1960-х гг.

Горький <2>

Впервые: СЗ. 1940. Кн. LXX.

Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929) – художник, издатель. О его деятельности в последние годы немало писалось в апологетических тонах. См., напр., цикл статей: Юниверг Л. Из истории послереволюционной издательской деятельности З.И.Гржебина; Гржебина Елена. З.И.Гржебин – издатель; Вайнберг Иосиф. «Все будет оценено – не может быть иначе» // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1992. Вып. 1. Однако некоторые писатели (в том числе Мережковские и М.Кузмин) обвиняли Гржебина в том, что он, пользуясь нищетой литераторов, за бесценок скупал у них рукописи, надеясь впоследствии нажиться. *Н...* – скорее всего, имеется в виду З.И.Гржебин.

Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) – революционер, советский деятель, полпред в Италии. Убит белогвардейцем. Заведовал Госиздатом в 1919–1920. Ходасевич подписывал с ним договор на издание книги стихов «Путем зерна» (см.: СС. Т.1. С.297).

...появилась статья... – имеется в виду заметка на первой полосе газеты «Правда» (1919. 9 нояб.), подписанная «Коммунист-рабочий», под заглавием «Странное недоразумение», обвинявшая издательство Гржебина в издании антисоветской литературы и потворстве этому со стороны Луначарского и Каменева. 2 декабря 1919 г. появилось «Открытое письмо» в «Правду» по поводу этой заметки, подписанное Горьким, В.Десницким-Строевым, А.Пинкевичем и Гржебиным.

Каменевы – Лев Борисович (см. о нем в примеч. к очерку «Брюсов») и его жена, сестра Л.Д.Троцкого Ольга Давидовна (1883–1941), которая заведовала Тео в 1918–1919 гг. Несколько подробнее о ней см. также в очерке «Белый коридор».

Однажды у него умер ребенок. – См. об этом эпизоде и других, приведших к личному расхождению Горького и Луначарского, в статье: Н.А.Трифонов, А.В.Луначарский и М.Горький: К истории литературных и личных отношений до Октября // М.Горький и его современники. Л., 1968. С.147–148. Мемуары А.А.Луначарской, в которых это расхождение описано подробнее, остаются, насколько нам известно, неопубликованными (хранятся в Архиве Горького).

Ища защиты у Ленина... – Переписка Ленина с Горьким опубликована: В.И.Ленин и А.М.Горький: Письма. Воспоминания. Документы. М., 1969; НГ.

...книга английского дипломата Локкарта... – «Memoirs of a British Agent» (L.; N.Y., 1932 и др. издания).

Мара – баронесса Мария Игнатьевна Будберг. По информации Н.Н.Берберовой, в книге Локкарта она именовалась Мурой, однако во французском переводе (которым и пользовался Ходасевич) была переименована в Мару.

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) – посол Великобритании в России в 1910–1918 гг.

Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882–1969) – писатель, литературовед, критик. В феврале–марте 1916 г. ездил в Англию в составе группы русских журналистов. Поездка эта подробно описана им самим: Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979. С.161–175.

... в руках у него очутились документы и показания... – см. далее в этих же воспоминаниях, а также в статье «Все – на писателей!» о Зиновьеве: «...этот петроградский градоначальник, довольно потрудившийся сперва над распровоцированием Кронштадта, а после – не пожалевший патронов, чтобы унять бунтарей» (Сс. Т.2. С.336). Об отношении Горького к Зиновьеву (и наоборот) см.: Галушкин А.Ю. Еще раз о письме Горького в газету «Накануне» // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 2.

Луначарский подал в Политбюро заявление – см. примеч. к очерку «Сологуб» (С.336).

...я собирался в деревню. – В Бельское Устье Псковской губ., где Ходасевич провёл лето 1921 г.

Таганцевское дело – см. подробнее и с наиболее полной библиографией публикаций последних лет: Перченко Ф., Зубарев Д. На пути от полуправд: О таганцевском деле и не только о нем // In memoiam: Исторический сборник памяти Ф.Ф.Перченка. М.; СПб., 1995.

Тихвинский Михаил Михайлович (1868–1921) – инженер-химик, еще до революции связанный с большевиками. Расстрелян по обвинению в участии в «Таганцевском заговоре».

...Горький делал неслыханные усилия... – точной информацией об этом мы до сих пор не обладаем. Известно одно письмо Горького к Ленину, где он говорит: «Сообщение об этом «заговоре», напечатанное в Петрогр. газетах, фактически так неуклюже и отредактировано настолько неумело, что вызывает очень досадное впечатление у одних и злорадство других. В общем же из сообщения следует, что Таганцев был спровоцирован» (НГ. С.38). См. также материалы, связанные с убийством Н.Гумилева: Тименчик Р.Д. По делу №214224 // Даугава. 1990. №8; Жизнь Николая Гумилева. Л., 1990. С.274; Эльзон М.Д. Письмо в защиту Н.С.Гумилева // Русская литература. 1988. №3.

Всероссийский комитет помощи голодающим – о его деятельности см.: Кукова Е.Д. Месяц «соглашательства» // Воля России. 1928. №5, а также в ее ранее называвшихся воспоминаниях о Горьком. Был распущен, а члены его арестованы в конце августа 1921г., после того, как началась помощь голодающим со стороны Запада. См. письмо Ленина от

26 августа 1921 г. к Сталину и всем членам Политбюро (Полн. собр. соч. Т. 53. С.140–142).

«Накануне» – газета, выходившая в 1922–1924 гг. в Берлине, но имевшая также отделение в Москве. Для подавляющего большинства эмигрантов была очевидным символом большевизанства. Следует отметить, что сам Горький напечатал в ней открытое письмо (см. статью А.Ю.Галушкина, названную выше).

«Голос России» – газета, выходившая в Берлине в 1919–1922 гг.; с августа 1921 г. в состав ее ближайших участников вошел П.Н.Милюков, с начала 1922 г. фактически была органом правых эсеров. В октябре 1922 г. закрылась, большинство сотрудников, в том числе и Ходасевич, перешли в газету «Дни».

...под псевдонимом... – статья Ходасевича «Все – на писателей!» (Голос России. 1922. 16 сент.) была напечатана под псевдонимом Л.Боровиковский.

...Виктору Шкловскому, бежавшему из России... – перипетии, связанные с бегством Шкловского в марте 1922 г., описаны в его воспоминаниях «Сентиментальное путешествие». См. также: Шкловский В.Б. Письма М.Горькому (1917–1923 гг.) / Публ. А.Ю.Галушкина // De Visu. 1993. №1. Об отношениях Шкловского с Горьким в более раннее время см.: Ходасевич Валентина. Портреты словами. С.149–153.

Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой... – такая книга нам неизвестна. О деятельности изд-ва «Слово» см. воспоминания И.В.Гессена «Годы изгнания: Жизненный отчет» (Paris, [1979]. С. 89–113)

Гершензон... дал статью даже в «Современные Записки». – См.: Гершензон М. Пальмира; Человек, одержимый Богом // СЗ. 1922. Кн.ХII.

...он был разорен вдребезги. – Сведения о крушении издательства З.И.Гржебина многочисленны. См., напр.: «Самым крупным <...> было издательство Гржебина, друга и протезе Горького, через которого он ловко устраивал свои дела. Гржебин заключил договор с советской властью, обязавшейся приобретать несколько тысяч экземпляров каждой выпущенной им книги, и на этом широком фундаменте развил бешеную деятельность. Благополучие, однако, длилось недолго – между партнерами возникли недоразумения (Гржебин горько жаловался на интриги против него), договор был нарушен <...> Колоссальный склад, в том числе и весьма ценных и отлично изданных им книг, рассчитанный на твердый сбыт в России, превратился в макулатуру...» (Гессен И.В. Цит. соч. С.108).

Браун Федор Александрович (1862–1942) – филолог-германист, декан историко-филологического факультета Петербургского университета. Адлер Бруно Федорович (Фридрихович, 1874–?) – этнограф, географ, геолог. Был хранителем этнографического отдела Русского музея имп. Але-

- ксандра III, профессором Казанского университета, в конце 1920-х гг. – профессором медицинского факультета 1-го МГУ.
- ...в память Державина.* – Имеется в виду общество «Беседа любителей русского слова», о котором см.: Ходасевич В. Державин. М., 1988. С.206–209. Подробнее о журнале «Беседа» см.: Вайнберг И. Берлинский журнал Горького «Беседа», его издатель С.Г.Каплун, поэт В.Ф.Ходасевич и др. // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1995. Т.4; Он же. «Беседа» // Литературная энциклопедия русского зарубежья, 1918–1940. Т.2: Литературные центры и периодические издания. Ч.1. М., 1996. В этих статьях обильно цитируются до сих пор не опубликованные письма Ходасевича к Горькому. Советская точка зрения на журнал изложена в кн.: Очерки истории русской советской журналистики: 1917–1932. М., 1966. С.180–182.
- ...меньшевика Д.* – Давид Юльевич Далин (1889–1962), член ЦК РСДРП (меньшевиков), ближайший сотрудник и одно время редактор журнала «Социалистический вестник».
- Рыков Алексей Иванович (1881–1938)* был заместителем председателя и председателем Совнаркома.
- Некто Лежнев...* – Лежнев (Альтшулер) Исая Горигорьевич (1891–1955) – публицист, издатель журнала «Россия» («Новая Россия»), впоследствии литературовед. О его деятельности см.: Агурский М. Идеология национал-большевизма. Paris, [1980]. С.116–123 и далее. Уничжительное «некто», видимо, связано с его официальным покаянием и вступлением в ВКП (б) в начале 1930-х гг.
- ...под смелым названием «Россия».* – В годы официального отрицания коммунистами всякого патриотизма название «Россия» (вместо СССР) находилось под явным подозрением.
- ...Троцкий уже осмеливался... называть его контрреволюционером.* – Возможно, имеется в виду характеристика Горького, данная Троцким в позднейшем комментарии к одной из своих ранних статей: «В первые недели и месяцы после Октября Горький выступил с рядом статей под общим заголовком «Несвоевременные мысли», в которых пессимизм интеллигента, его недоверие к творчеству масс, его страх перед некультурностью народных низов все более превращались в философию антисоветского обывателя. Между прочим, Горький выступил в защиту контрреволюционной буржуазной прессы <...> Последние годы Горький опять повернул вправо» (Троцкий Лев. Соч. Т. IV.: Политическая хроника. М.; Л., 1926. С.556).
- ...Германии... грозила опасность превратиться в советскую республику.* – Речь идет о Гамбургском восстании в октябре 1923 г.
- Екатерина Павловна Пешкова (1876–1965)* – вторая жена Горького, в совет-

- ское время – председатель Политического красного креста.
- ...текст надписи на венке.* – «Прощай, друг! М.Горький». Он был сообщен Е.П.Пешковой телеграммой 23 января 1924 г. (см.: *Летопись жизни и творчества М.Горького*. М., 1959. Вып. 3. С.359).
- ...воспоминания о Ленине...* – имеется в виду первая редакция, опубликованная в журнале «Русский современник» (1924. №1). Первый вариант был написан 22–26 января, второй окончен до 4 февраля. Впоследствии Горький создал вторую редакцию, сильно отличающуюся от первой.
- Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом...* – Письмо Н.К.Крупской опубликовано (Октябрь. 1941. №6). Ответ Горького нам неизвестен.
- ...новоткрытого Горьковского музея.* – См. в воспоминаниях Е.Кусковой: «К 60-летию его и 35-летию его литературной деятельности в Москве открыт музей его имени» (Кускова Ек. Обескрыленный сокол: К 35-летию работы Максима Горького // *Современные записки*. 1928. Кн. XXXVI. С. 309).
- Родов Семен Абрамович (1893–1968)* – поэт, литературный критик, видный деятель РАПП. Статья Ходасевича о нем – «Господин Родов» (Дни. 1925. 22 февраля).
- В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова.* – Ошибка Ходасевича: Е.П.Пешкова была в Сорренто в конце ноября – начале декабря 1924 г. (*Летопись жизни и творчества А.М.Горького*. М., 1959. Вып.3. С.386).
- ...лет тридцать...* – в 1925 г. М.А.Пешкову было 28 лет.
- Левка (Лев Павлович) Малиновский (1897–1938)* – сын давней знакомой Горького Елены Константиновны Малиновской (1875–1942), бывшей с ноября 1917 г. комиссаром театров Москвы, в 1919–1924 гг. – директором академических театров, а с января 1922 г. – еще и директором Большого театра, и архитектора П.П.Малиновского. Был членом РКП(б) с 1915 г., участвовал в революции и гражданской войне. В последние годы жизни работал в Главном управлении гражданской авиации. Их дружба с М.А.Пешковым продолжалась много лет. Письма Горького к Е.К.Малиновской опубликованы: *Архив А.М.Горького*. М., 1976. Вып. XIV.
- ...прославленная статья Пешехонова...* – вероятно, «Родина и эмиграция» (Воля России. 1925. №7/11). Подробнее об отношении Ходасевича к «возвращенчеству» и провокационной роли Е.П.Пешковой в его организации см. в его статье «К истории возвращенчества» (СС. Т.2) и в письме к М.М.Карповичу от 7 апреля 1926 г. (Oxford Slavonic Papers. New Series. 1986. Vol. XIX / Публ. Дж.Мальмстада и Р.Хьюза).
- Белицкий Ефим Яковлевич* – зав. отделом Петросовета, позже – издательский деятель.

- «Русский современник» – журнал, четыре номера которого было выпущено в 1924 г. Подвергся резчайшей критике в печати, цензурным преследованиям и был закрыт. Подробнее см. в дневнике К.И. Чуковского за 1924 г. (Чуковский К.И. Дневник 1901–1929. М., 1991. С.270–301).
- ...первый номер открывался... – в первом номере «Русского современника» были действительно напечатаны 4 стихотворения Ф.Сологуба, «Рассказ о самом главном» Е.Замятина и 2 стихотворения А.Ахматовой.
- Сотрудничали и мы с Алексеем Максимовичем... – Горький напечатал в журнале «Из воспоминаний» и очерк «Владимир Ленин» (№1), рассказ «Анекдот» (№3) и очерк «О С.А.Толстой» (№4), а Ходасевич – статью «Амур и Гименей» (№2) и стихотворения (№4).
- ...Тихонов... арестован. – По сведениям дневника К.И. Чуковского, А.Н.Тихонов был арестован в феврале 1925 г.: «За что, неизвестно. По городу ходят самые дикие слухи. Говорят, будто по требованию Ионова – и будто ему вменяют в вину корыстное управление «Всемирной» Литературой» (С.325). Несколькими днями позже: «Оказывается, Тихонова обвиняют в том, что он помогал перейти границу Струковой, Сильверсвану, Ливенсону и кому-то еще. Едва ли. Тихонов был слишком большой эгоист, чтобы впутываться в такие дела» (С.329). В конце марта 1925 г. он еще был в заключении. Слухи о возобновлении «Русского современника» действительно ходили. См., напр., записанный тем же Чуковским разговор с Тихоновым 29 января 1926 г.: «...“Современник” власть хотела бы (?) разрешить (!), ибо нужен для показа какой-нибудь орган внутренней эмиграции, который можно было бы ругать». (С.365).
- ...Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев... – Керженцев (Лебедев) Платон Михайлович (1881–1940) был полпредом в Италии в 1925–1926 гг. Впервые посетил Горького 17 мая 1925 г. См. его воспоминания: Керженцев А. У Горького в Сорренто // Горький: Сборник статей и воспоминаний. М.; Л., 1928. (с купюрами перепечатаны: М.Горький в воспоминаниях современников. М., 1981. Т.2).
- ...Горький принял у себя экскурсантов-ударников... – Упоминаний об этом визите нам обнаружить не удалось.
- ...знаменитое письмо о смерти Дзержинского... – письмо Горького к Я.С.Ганецкому (под загл. «М.Горький о Ф.Э.Дзержинском» опубл.: Правда. 1926. 11 авг.; было перепечатано 15 августа в «Днях» и «Последних новостях»).
- ...сближение с Ягодой, поездка на Соловки и на Беломорский канал... – См.: Переписка М.Горького с Г.Г.Ягодой / Публ. Л.А.Спиридоновой // НГ. На Соловках Горький побывал летом 1929 г. и описал свое пребывание там в цикле очерков «По Союзу Советов» (см. также: Свечников В. // Руль. 1930. 6 авг.; Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ).

О смерти Горького

Возр. 1938. 11 марта. Об обстоятельствах смерти Горького см. две наиболее компетентные на данный момент статьи: Нике Мишель. К вопросу о смерти М. Горького // Мин. Т. 5; Иванов Вяч. В. Почему Сталин убил Горького? // ВЛ. 1993. Вып. I. Все прочие материалы, во множестве появляющиеся в последние годы, отличаются сугубо гипотетическим характером.

Некоторые подробности Ходасевич почерпнул из книги (или сопутствующих газетных публикаций): Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока»... М., 1938, где обвинение в убийстве Горького было предъявлено ряду лиц, в том числе П. П. Крючкову.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1872–1941) – известный врач, профессор. Репрессирован.

Левин Лев Григорьевич (1870–1938) – врач-терапевт, с 1920 г. был ординатором и заведующим терапевтическим отделением Кремлевской больницы.

Рыбаков Федор Егорович (1869–1930) – известный московский психиатр, директор клиники, профессор Московского университета. Ходасевич был с ним в свойстве – жена Рыбакова Любовь Ивановна (урожд. Чулкова) была сестрой А. И. Ходасевич.

«Наши достижения» – название журнала, выходявшего в Москве под редакцией Горького (1929–1936).

...его бывшая секретарша... – М. И. Будберг.

...на страницах «Возрождения» – И. Д. Сургучев дал прекрасный портрет Максима-ребенка. – См.: Сургучев И. Максимка // Возр. 1934. 16 мая.

О Есенине

Возр. 1932. 17 марта.

...у меня лежит книжка... – книга издана – М.: Федерация, 1931.

...«прекратить есенинщину». – См. библиографическую справку в кн.: Русские советские писатели. Поэты. Т. 8. М., 1985. С. 108 и далее. Против «есенинщины» выступали среди прочих А. В. Луначарский и Н. И. Бухарин.

...появилось несколько статей, разъясняющих заблуждения Есенина... – см., напр.: Сосновский Л. Развенчайте хулигана // Правда. 1926. 19 сент.; Вигилянский Н. Почему мы не любим Есенина // Смена. 1925. 25 янв.; Коган П. Красиво ли то, о чем пел Есенин // Гудок. 1927. 25 марта, и мн. др.

...частным издательством. – Издательство «Федерация» принадлежало Федерации объединений советских писателей (ФОСП) и, таким образом,

ни в коей мере частным не было. Очевидно, Ходасевич имеет в виду, что оно не было отделением Госиздата.

Так сказано в предисловии. – Предисловие не подписано.

...*Волынский избивал Тредьяковского...* – подробнее см. в примеч. к ст.: «Кровавая пища».

...эпиграф: «Здесь человек сгорел». – Неточная цитата из стихотворения А.А.Фета «Когда читала ты мучительные строки...» (1887). В оригинале: «Там человек сгорел!».

...«священная жертва». – Название статьи В.Брюсова (Весы. 1905. №1), одной из программных для всего русского символизма.

Декольтированная лошадь

Возр. 1927. 1 сент.

Общество Свободной Эстетики – литературно-художественное общество, заседания которого проходили в здании Московского Литературно-художественного кружка. Существовало в 1906–1917, в его заседаниях участвовало большинство московских литераторов. О присутствии Маяковского осенью 1912 г. на заседаниях Общества сведений не сохранилось (см.: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985. С.60–63).

Русский футуризм... делился на две группы... – подробнее см.: Markov V. Russian Futurism: A History. Berkeley; Los Angeles, 1968. О взглядах Ходасевича на эго-футуризм см. в статьях об Игоре Северянине (СС. Т.2. С.120–121, 166–177, 211–213; КТ. С.493–502), а также в обзоре «Русская поэзия» (СС. Т.2. С.158–162; КТ. С.489–492). *Грааль-Арельский (Степан Степанович Петров, 1888 или 1889–1938?)* – поэт, начинавший как эго-футурист, позже вошедший в «Цех поэтов». *Игнатъев (наст. фамилия Казанский) Иван Васильевич (1892–1914)* – один из первых эго-футуристов.

Хлебников Велимир (Виктор Васильевич, 1885–1922), Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968) – поэты-футуристы. *Бурлюк Давид Давидович (1882–1967)* – поэт и художник-футурист, *Бурлюк Николай Давидович (1890–1920?)* – поэт, близкий к футуристам, *Бурлюк Владимир Давидович (1888–1917)* – художник-футурист.

...*нынешних теоретиков-формалистов...* – имеются в виду ученые т.н. «формальной школы», с которыми Ходасевич резко полемизировал. См. подробнее: Malmstad John E. Khodasevich and Formalism: A Poet's Dissent // Russian Formalism: A Retrospective Glance. New Haven, 1985.

...«*Дыр бул щыл...*» – из стихотворения А.Крученых, начинающегося этой строкой (впервые: Крученых А. Помада. М., 1913). Ему предшествовали сло-

ва: «3 стихотворения написанные на собственном языке. От др. отличаются: слова его не имеют определенного значения» (см. воспроизведение страницы в кн.: Крученых Алексей. Наш выход: К истории русско-го футуризма. М., 1996. Илл. 41).

«Улица...» – из стихотворения В.Маяковского «Из улицы в улицу» (1913). Ходасевич цитирует, искажая разбивку на строчки и тем самым – рифмовку.

Брик Осип Максимович (1888–1945), Якобсон Роман Осипович (1896–1982) – литературоведы «формальной школы». При всех различиях, их (как и В.Б.Шкловского) объединяло восхищение талантом Маяковского. Следует отметить, что Якобсон писал «заумные» стихи и даже печатал их под псевдонимом Алягров. Подробнее см.: Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Под ред. Б.Янгфельда. Stockholm, [1992].

«Простое как мычание» – название книги стихов Маяковского (Пг., 1916).

«Ешь ананасы...» – известное двустишие Маяковского, о возникновении которого он рассказывал в статье «Только не воспоминания»: «В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двустишие <...> Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку...» (Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.12. С.152–153).

«С криком: Дейчланд юбер аллес!..» – двустишие из цикла подписей к антинемецким лубкам-открыткам, в работе над которыми Маяковский участвовал с художниками Д.Бурлюком, К.Малевичем, А.Лентуловым и др. ...патриотически ораторствовал у памятника Скобелеву... – 21 июля 1914 г. (Катанян В.А. Указ. соч. С. 95).

«О панталоны венских кокоток...» – неточная цитата из стихотворения «Война объявлена» (в оригинале: «Постойте, шашки о шелк кокоток / вытрем, вытрем в бульварах Вены»). В стихотворении эти строки введены как чужая речь. Ходасевич полагает, что они были «нечаянной пародией» на строки из лермонтовского «Бородина».

...певцом погромщиков был он... – об участии Маяковского в развернувшихся в первые дни войны погромах магазинов и фирм, принадлежавших немцам, известно лишь из этих воспоминаний.

...знаменитый марш «Левой, левой!..» – «Левый марш» (1918), к которому композитор Артур Сергеевич Лурье (1893–1966) в том же году действительно написал музыку.

«Каждый, думающий о счастье своем...», «Спрячь облигации, чтоб крепки они...». – Первое двустишие – название стихотворения (1926), вторая цитата – строки из этого стихотворения.

...«надо голос подымать за чистоплотность...»... – из стихотворения «Любовь» (1926).

...«сбросить Лермонтова с парохода современности...»... – из коллективного футуристического манифеста «Пощечина общественному вкусу» (1912). В оригинале – «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности». Имя Лермонтова, вероятно, появилось у Ходасевича под влиянием строк из «Поэзы истребления» Игоря Северянина: «Не Лермонтова – «с парохода», А бурлюков – на Сахалин!».

...«Я взываю к вам от всех великих...»... – из стихотворения «Ужасающая фамильярность» (1926).

...«Причина, я думаю, слабый социальный заказ...»... – не вполне точная (с купюрой) цитата из «Моего открытия Америки» (Полн. собр. соч. Т. 7. С. 277).

...завывая Горького в СССР... – Горький впервые приехал в СССР в 1928 г. (и, таким образом, пророчество Ходасевича не оправдалось). Стихотворные строки – из «Письма писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (1926).

...его последняя книга... – видимо, пятый том Собр. соч. (М., 1927), включавший произведения последних лет, в том числе американские очерки. «Смолотка литература пущена...» – из стихотворения «Четырехэтажная халтура» (1926).

Казин Василий Васильевич (1898–1981), Радимов Павел Александрович (1887–1967), Безыменский Александр Ильич (1898–1973), Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), Доронин Иван Иванович (1900–1978) – советские поэты различной ориентации, к которым Маяковский (часто весьма критически) обращается в стихотворениях «Четырехэтажная халтура», «Послание пролетарским поэтам», «Сергею Есенину».

«Я кажусь вам академиком с большим задом?» – из стихотворения «Послание пролетарским поэтам» (1926).

«Превыше церквей и труб...» – из стихотворения М.И.Цветаевой «Маяковскому» (1921). Ходасевич цитирует его неточно; в оригинале:

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ –
Здорово, в веках Владимир!

(Цветаева Марина. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 2. С. 54).

...ответил на него бранью. – По свидетельству А.С.Эфрон, стихотворение «Маяковскому» ему нравилось. Здесь, вероятно, имеется в виду статья Маяковского «Подождем обвинять поэтов» (1926), где он писал: «Книжный продавец должен еще больше гнуть покупателя».

Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль с серой обложки:

– Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь вам предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана?! Мужчи-на. Но только это временное...» (Полн. собр. соч. Т.12. С.79). Цветаева знала эту статью и была на нее обижена.

Литература и власть в сов<етской> России

Возр. 1931. 10, 15, 19, 22 дек. Ср. также комментарий М.Долинского и И.Шайтанова к перепечатке (ВЛ. 1996. Июль – Август).

...еще была «детской болезнью левизны». – От заглавия известной работы Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920).

...он сумел устроиться в Петербурге. – Маяковский был призван в начале сентября 1915 г. в Петрограде и определен чертежником в Военно-автомобильную школу. В автобиографии «Я сам» он писал: «Теперь идти на фронт не хочу» (Полн. собр. соч. Т.1. С.24).

...родились... ничевоки... – о группе ничевоков (Р.Рок, А.Ранов, Л.Сухаребский, С.Садиков, С.Мар, О.Эрберг, Б.Земенков и др.) см.: Никитаев А.Т. Ничевоки: материалы к истории и библиографии // De Visu. 1992. №0.

...футуристам разрешалось открывать кафе... – Ходасевич преувеличивает степень потворства футуристам со стороны властей: литературные кафе и в 1918 г., и позже открывали не только они. См., напр., в воспоминаниях И.Грузинова «Маяковский и литературная Москва» (Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С.659–667).

...один, огромный, голый до пояса... – речь идет о «футуристе жизни» Владимире Гольцшмидте (ум. 1967), действительно выступавшем с демонстрацией разного рода атлетических трюков.

...совсем юная поэтесса... – вероятно, имеется в виду поэтесса Нина Хабиас-Комарова, автор книги «Стихетты» (М., 1922), заслужившая прозвище Похабиас.

...как правильно замечает... Полонский... – см.: Полонский В. Литературное движение Октябрьского десятилетия // Печать и революция. 1927. №7. С.21–23.

Об одном из них, М.Герасимове, мне самому случилось сочувственно отзываться в печати... – см.: Ходасевич Вл. Сборник пролетарских писателей // Русские ведомости. 1918. 26 февр. Подп.: Сигурд. Перепеч.: СС. Т.2. Ошибка в годе была несколько раз повторена Ходасевичем. Михаил Прокофьевич Герасимов (1889–1939) – известный пролетарский по-

эт, погиб в годы репрессий. О его творчестве Ходасевич написал еще одну статью – «Стихотворная техника Михаила Герасимова» (Горн. 1919. №2/3; перепечатано: СС. Т.2). Воспоминания «Пролеткульт и т.п.» см.: КТ.

Александровский Василий Дмитриевич (1897–1934) и Полетаев Николай Гаврилович (1889–1935) – известные пролетарские поэты. *Плетнев Валериан Федорович (1886–1942)* – драматург, один из руководителей Пролеткульта.

...издательство «Кузница». – Очевидно, имеется в виду не столько издательство, сколько одноименная литературная группа, образованная в 1920 г.

«О связи приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» – статья В.Б.Шкловского, «О звуковых жестах японского языка» – статья Е.П.Поливанова. Обе напечатаны: Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919.

...была введена общая предварительная цензура художественной литературы. – Вероятно, речь идет о создании Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита) 6 июня 1922 г. Подробнее см.: Блюм А. За кулисами «министерства правды»: Тайная история советской цензуры 1917–1929. СПб., 1994.

Попутчики – термин, первоначально принадлежавший Л.Д.Троцкому, однако широчайшим образом распространившийся в двадцатые годы. Под ним имелись в виду писатели, в общем поддерживающие советскую власть, однако не относящиеся к собственно пролетарским и крестьянским. Таким образом, весь массив литературы в советской России состоял из писателей пролетарских (к которым, впрочем, не относились «рenegаты» из группы «Кузница»), крестьянских, попутчиков (в свою очередь, делившихся на «правых» и «левых»), а также писателей буржуазных, всячески угнетавшихся.

Федин Константин Александрович (1892–1977), Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (1902–1989), Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894–1938), Никитин Николай Николаевич (1895–1963), Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), Артем Веселый (Николай Иванович Кочкуров, 1899–1938), Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954), Романов Пантелеймон Сергеевич (1884 или 1885–1938), Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), Катаев (Петров) Валентин Петрович (1897–1986), Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), Зоценко Михаил Михайлович (1895–1958), Леонов Леонид Максимович (1899–1994), Олеша Юрий Карлович (1899–1960), Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894–1979), Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – советские прозаики. Существенно отметить, что в свой список (несом-

ненно, выражающий предпочтения в современной литературе) Ходасевич включает большинство членов группы «Серапионовы братья» (Федин, Каверин, Никитин, Иванов, Зощенко, Слонимский) и большую часть т.н. «южнорусской» школы (Бабель, Катаев, Олеша). Об отношениях Ходасевича с В.Г.Лидиным см.: Письма В.Ф.Ходасевича к В.Г.Лидину (1917–1924) / Публ. И.Андреевой // Мин. Т.14.

Воронский Александр Константинович (1884–1937) – писатель и критик, редактор первого советского «толстого» журнала «Красная новь». Будучи вполне советским литератором, видным членом партии, с явной симпатией к Троцкому, отличался тонким художественным чутьем и много помогал «попутчикам». Репрессирован.

...Маяковский... написал стихи... – «Сергею Есенину» (1926).

...вспомнили тот пункт резолюции центрального комитета... – имеется в виду резолюция «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

...литературой факта... – теория, выдвинутая группой левовцев. Наиболее полное обоснование получила в сборнике «Литература факта» (М., 1929).

Облегчить или изменить ее участь могло бы только правительство... – примерно через полгода после напечатания статьи Ходасевича появилось постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций», на первых порах воспринятое как поражение РАППа и его теорий, однако впоследствии вылившееся в еще большее закрепощение всей советской литературы. См. статью Ходасевича «Литературная резолюция ЦК» (Возр. 1932. 2 мая. Перепеч.: ВЛ. 1996. Июль–август).

Белый коридор

Дни. 1925. 1, 3 и 6 нояб.

Тео – Театральный отдел Наркомпроса был создан в мае 1918 г. (см.: Купцова О.Н. Из истории становления советской театральной критики (1917–1926 гг.). Саратов, 1984).

... Балтрушайтис... – Ю.Балтрушайтис стал в 1920 г. заведующим специальной миссией Литвы в РСФСР, посланником же лишь в 1921 г.

Вербицкая Анастасия Александровна (1861–1928) – прозаик, драматург, автор популярнейшего романа «Ключи счастья» (1909–1913). Ее книги считались типичными образцами массовой литературы.

Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1929) – писатель-символист, автор многих книг стихов и прозы. Принадлежал к богатейшему купеческому роду.

- Дуров Владимир Леонидович (1863–1934)* – артист цирка, клоун и дрессировщик.
- ...*Бенуа...* – Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 1912–1917. Т.1–4.
- ...*Грабарь...* – Грабарь И. История русского искусства. М.: [б.г.]. Т. 1–6.
- ...*издания общины св. Евгении...* – т.е. известной фирмы, выпускавшей открытки и высококачественные издания по искусству. Подробнее см.: Издательство Общины Св.Евгении – Комитет популяризации художественных изданий (1896–1930): Выставка изданий и оригиналов графики: Каталог / Сост. В.П.Шестопалова; вст. ст. В.П.Позднякова. М., 1990.
- ...*Ровинский...* – какие именно издания имеются в виду, сказать трудно. Вероятнее всего, «Подробный словарь русских гравированных портретов» (СПб., 1889. Т.1–2) или «Полное собрание гравюр Рембрандта» (СПб., 1890. Т.1–3).
- ...*Мутер...* – Р.Мутер, автор известных книг: История живописи. СПб., 1903–1904. Т. 1–3; История живописи от средних веков до наших дней. М., 1914. Т.1–3; История живописи в XIX веке. СПб., 1899. Т.1–4.
- ...*Рейнак...* – Рейнак С. Аполлон. СПб., 1913.
- ...*книги великого князя Николая Михайловича...* – могут иметься в виду следующие издания: Гр. П.А.Строганов. СПб., 1903. Т.1–3; Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905–1909. Т.1–2; Императрица Екатерина Алексеевна. СПб., 1908–1909. Т.1–3; Император Александр I. СПб., 1912. Т.1–2 (второе издание – 1914).
- ...«*Золотое руно*», «*Аполлон*», «*Старые годы*»... – «роскошно» издававшиеся в 1900–1910-х гг. журналы, со множеством иллюстраций.
- ...*Сытинское издание «Войны и мира»...* – Толстой Л.Н. Война и мир. М., 1912. Т.1–3.
- Ламанова Надежда Петровна (1861–1941)* – известная московская портниха.
- ...*Ивана Васильевича...* – на самом деле Рукавишников звали Иваном Сергеевичем.
- В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике...* – см. пьесу Рукавишников «Часовщик» (Рукавишников Иван. Книга 9-я. Трагическая сказка. М., 1915). Приводимая Ходасевичем цитата – с.96 и далее.
- ...*дело происходило на мельнице...* – речь идет о пьесе «Мельница» (там же), одним из действующих лиц которой является котик-Феда.
- Агриппа Неттесгеймский Генрих Корнелий (1486–1535)* – немецкий философ-мистик, которым очень интересовался В.Я.Брюсов. См.: Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI века / Краткий биографический очерк Жозефа Орсье. М., 1913. (переизд.: Томск, 1996).
- ...*какие-то (она назвала две фамилии)...* – видимо, имеются в виду художник и издатель З.И.Гржебин и писатель А.Н.Тихонов, имевшие самое непосредственное отношение к деятельности «Всемирной литературы».

Раскольников Федор Федорович (1892–1939) – советский военный и общественный деятель, был командующим Волжской флотилией.

Кровавая пища

Возр. 1932. 21 апр. Часть текста восходит к статье «Цитаты» (Новый дом. 1926. №2; перепеч.: СС. Т.2, там же – интересные подготовительные материалы). Ср. также: Равдин Б.А. К текстологии «Кровавой пищи» В.Ф.Ходасевича // *Philologia*: Рижский филологический сборник. Рига, 1994. Вып. I. В связи с широкой известностью большинства писателей, о которых пишет здесь Ходасевич, биографические данные приводятся лишь о малоизвестных.

...рассказывает Пушкин. – В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (Полн. собр. соч. Т. XI. С.53).

В собрании сочинений Тредьяковского... – см.: Рапорт профессора Тредиаковского в Императорскую Академию Наук. 10 Февраля 1740 года // Тредиаковский. Соч. Т.1. СПб., 1849. С.796–801. Изложение этих обстоятельств см.: Пекарский П.П. История Императорской Академии Наук. СПб., 1873. Т.2. С. 77–79; Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С.48–49.

...не знающего, на что подымает он руку... краткий перечень лавров... – парафразы строк стихотворения Лермонтова «Смерть поэта».

...«вслед Радищеву»... – цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Леонид Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1880–1917) – поэт-символист, ушедший «в народ» и убитый бандитами из окрестных крестьян. Подробнее см.: Баевский В.С. Свеча // Русская поэзия: Год 1918. Даугавпилс, 1992; Свечой перед Господом: Леонид Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский. Грешный грешным / Публ. В.С.Баевского // Русская филология / Ученые записки Смоленского гуманитарного университета. [Т.1]. Смоленск, 1994 (там же новейшая библиография).

...разве Рылеев не дважды умер? – Имеется в виду, что во время казни декабристов у нескольких человек, в том числе и у Рылеева, оборвались веревки и их вешали второй раз.

...«бичи и железы»... – видимо, цитата из оды Пушкина «Вольность: «Увы! куда ни брошу взор – Везде бичи, везде железы».

«Глаза усталые смежи...» – из стихотворения Ходасевича «Себе» (1923).

...одинадцать человек кончили самоубийством. – Трудно утверждать безоговорочно, кого именно вспомнил Ходасевич, но скорее всего он имел в виду, помимо В.В.Маяковского и С.А.Есенина, В.В.Гофмана, Н.Г.Львову, Муни, А.Мар, Ан.Н. и Ал.Н.Чеботаревских, Н.И.Петровскую, А.Соболя

и В.Пяста, известие о самоубийстве которого (оказавшееся ложным) пришло незадолго до появления в печати «Кровавой пищи».

...выразил городничий... – из комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

...сказано было о смерти Лермонтова... – реплика принадлежит императору Николаю I.

Лесков в одном из своих рассказов... – «Кадетский монастырь» (1879).

«Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» – не вполне точная цитата (у Гоголя – «наших поэтов») из статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (Полн. собр. соч.: В 14 т. [Л.], 1952. Т.8. С.402).

«У чукчей нет Анакреона...» – из стихотворения А.Ф.Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).

«Смотрите, как он наг и беден...» – из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Пророк» (1841).



В. Ф. Ходасевич 1910

Письма **Б.А.САДОВСКОМУ**

Памяти Б.А.Садовского

Умер Борис Садовской, поэт, беллетрист, историк литературы. Я узнал, что он умер, случайно, в разговоре, и не мог даже выяснить, когда именно это случилось. Может быть, месяц тому назад, а может быть – год. Ни в одном советском издании, кажется, не писали о том ни строчки. Здесь не писали тоже.

В 1913 году, пишучи цикл стихов под общим заглавием «Самовар», последнее стихотворение закончил он пожеланием умереть

тихой смертью от угара.

В этом стихе затаена была очень грустная мысль. Уже тогда, 12 лет назад, Садовской знал, что легкая, безболезненная кончина вряд ли ему суждена. Болезнь, сгубившая Гейне, Ницше, Языкова, – давала уже себя знать. Садовской очень деятельно лечился, но все, конечно, было напрасно. С 1915 года начались местные параличи (в руке, в ноге), а в 1916 году он слег окончательно, чтобы 8 или 9 последних лет провести в «матрачной могиле». Теперь, говорят, он умер на больничной койке, в том самом Нижнем Новгороде, где в 1881 году родился.

Если не ошибаюсь, он начал печататься в 1904 году, в «Весках»¹, преимущественно в библиографическом отделе. На первых порах он попал под деспотическое влияние Брюсова и принадлежал к числу тех «литературных мальчиков», как их тогда называли, которые, сами того не замечая, были послушным орудием в руках Брюсова. Через несколько лет, однако, Садовской «вырос», стал проявлять независимость – и его отношения с Брюсовым испортились навсегда.

Стать выдающимся, исключительно крупным писателем Садовскому не было суждено. Помимо размеров и свойств его дарования, в этом, мне думается, сыграла большую роль и его болезнь. Она не только подтачивала его силы и не давала развиваться, но и почти совсем вывела его из литературного строя, приблизительно около 1916 года, т.е. на 35-м году жизни и всего на 12-м году писательства.

Тем не менее незаметной фигурой назвать его никак невозмож-

но. Конечно, ни школы, ни даже группы, ни даже, пожалуй, своего, ему лишь присущего стиля Садовскому создать не довелось. Он прошел без влияния. Больше того: неизменно выступая на стороне так называемой «символистской» (не точнее ли говорить – «модернистской»?) фаланги, порою даже в стиле ее самых деятельных застрельщиков, – сам Садовской, по своим писаниям, вряд ли вполне может быть отнесен к этой фаланге. Его истинные учителя не Бальмонт, не Брюсов, – а Пушкин, Фет, Вяземский, Державин. Если бы модернистов не существовало вовсе, – Садовской был бы таков же или почти таков же, каков он был. Можно, пожалуй, сказать, что Садовской – поэт более девятнадцатого столетия, нежели двадцатого.

Вероятно, его дарование как поэта было невелико. Но оно было в высшей степени гармонично. Он умел не браться за темы, которые были бы больше его, не ставил себе задач непосильных. Поэтому он никогда не рисковал, так сказать, сорвать голос. Стихи его никогда не изумляли, не поражали, даже и не восхищали, – но это всегда была чистая и возвышенная поэзия. Точно учитывая свои силы, Садовской в поэзии был несколько сдержан, как был и в жизненном обиходе. Если угодно, лирика его была даже суховата, – но зато читатель никогда не мог заподозрить Садовского в желании показаться не тем, что он есть, – в позерстве, притворстве, лжи. Садовской был *правдив*. А быть правдивым поэту труднее, чем об этом принято думать. В стихах своих Садовской говорил скромнее и меньше, чем мог бы сказать. А сколько стихотворцы, порой прославленные, в уме и сердце имеют лишь малую долю того, о чем сочиняют.

Кроме шести, если не ошибаюсь, книг стихов («Позднее утро», «Пятьдесят лебедей», «Пять поэм», «Самовар», «Полдень», «Обитель смерти») Садовской написал несколько томов прозы: «Узор чугунный», «Адмиралтейская игла», «Яблочный царек», «Двуглавый орел», «Лебединые клики»². Как прозаика его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». Это неверно. Лишь незначительная часть его рассказов («Из бумаг князя N...», «Три встречи с Пушкиным» и др.) могут быть названы стилизациями, т.е. представляют собою как бы документы, писанные не в нашу эпоху. Все прочее писано от лица нашего современника, и только сюжеты чаще всего взяты Садовским из XVIII и первой половины XIX столетий. Это была его излюбленная пора, изученная любовно и тщательно, описанная все с тою же присущей Садовскому сдержанностью, – но всегда – выразительно, четко, прозрачайшим русским языком.

Параллельно к художественной прозе Садовского являются его историко-литературные и критические работы, частью разбросанные

по журналам, частью объединенные в сборники: «Русская Камена», «Ледоход», «Озимь». Все это плоды того же пристрастия к отошедшей русской литературе, пристрастия, всегда проступавшего и в его оценках литературы новой. Наиболее ценными мне представляются его работы над неизученными черновиками Фета. Садовскому же, кстати сказать, принадлежит и первое опубликование документов и обстоятельств, относящихся к предсмертным минутам Фета³. Как историк литературы, Садовской мог гордиться любовью П.И.Бартенева⁴ и М.О.Гершензона.

* * *

В литературных кругах его порой недолюбливали. Это было несправедливо, но причин тому было несколько. В обращении был он очень сдержан, пожалуй – холоден, но это потому, что до щепетильности был целомудрен в проявлении всякого чувства. К тому же был самолюбив и побаивался, что его протянутая рука повиснет в воздухе. Запанибратства, столь свойственного российской дружбе, боялся он всего пуще. Лично мои отношения с ним тоже начались с чего-то, похожего на тайную неприязнь. Но однажды, в году 1912, разговорились в редакции «Мусажета» – и прорвалось что-то: стали друзьями – и уже навсегда.

Второй, очень важной, причиной его неладов с литераторами были политические тяготения Садовского. Я нарочно говорю – тяготения, а не взгляды, потому что взглядов, т.е. убеждений, основанных на теории, на строго обдуманном историческом изучении, у него, пожалуй, и не было. Однако ж любил он подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. Мне кажется, повторяю, что тут им руководило скорее эстетическое любование старой, великодержавной Россией⁵, даже влюбленность в нее, – нежели серьезно обдуманное политическое мировоззрение. Как бы то ни было, монархизм в эпоху 1905–1917 годов был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно. Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности – ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности *не* любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниховского – их поэзией Садовской восхищался.

Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порою мучительную любовь к России. Никогда не забуду, как встретились мы однажды в «Летучей мыши» на репетиции. Кажется, было это осенью 1916 года. Вдребезги больной, едва передвигающий ноги, обутые в валенки (башмаков уж не мог носить), поминутно оступающий, падающий, Садовской увел меня в едва освещенный угол пустой столовой, сел за длинный, дубовый, ничем не покрытый стол – и под звуки какой-то «Катеньки», доносящейся из зрительного зала, – заговорил. С болью, с отчаянием говорил о войне, со злобной ненавистью – о Николае II⁶. И заплакал, а плачущий Садовской – не легкое и не частое зрелище. Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

– Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами.

В последний раз я видел его летом 1917 года, в лечебнице Майкова. Он приезжал из Нижнего лечить ногу, сломанную при падении. Я ходил к нему с Гершензоном, которого теперь тоже нет уже. Совершенно лысый, с большой бородой, неожиданно темной (Садовской был белокур), он сидел на кровати, рассказывал, что изучает отцов церкви, а также много переводит с польского и английского. Очень бодрился, рассказывал о кружке молодежи, который в Нижнем собирается возле его постели – слушать лекции о русской поэзии. Но чувствовалось, что это свидание – последнее.

Так и было. Я больше его не видел. Он вскоре уехал в Нижний, слег и уже не встал до кончины. Писал редко, едва выводя карандашные каракули, а то и вовсе диктуя. В конце 1918 года произошла между нами размолвка. Я послал ему приглашение участвовать в журнале «Москва», одном из последних частных периодических изданий. Садовской ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и с Гершензоном. Писал, что ему нет дела до брюсовского большевизма: на то Брюсов – демон⁷; нет дела до Белого: на то Белый – ангел, а вот как не стыдно нам с Гершензоном – людям?

Обвинение было несправедливо и безоглядно. Мы решили смолчать и дать Садовскому опомниться. Через полгода он сам написал нам обоим – и дружба восстановилась. Летом 1920 года я хлопотал о некоторых делах его. Потом, по его поручению, послал ему шоко-

Памяти Б.А.Садовского

ладу, но уж ответа не получил. В трудностях того времени было не до писем. Потом я уехал за границу. Думаю, что последние годы его жизни были ужасны. Если так страдали здоровые, то как должен был страдать он, в голоде, в холоде, разбитый параличом, видящий гибель и оплевание всего, что было для него свято: России, литературы. За эти страдания простятся ему все грехи, ежели они были. Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем память, самую дружескую, самую любовную.

1925

*Письма В.Ф. Ходасевича
Б.А. Садовскому*

(1906, 1912–1920)

1

(На бланке журнала «Золотое руно»)

23.II.906 г.

Милостивый Государь Борис Александрович!
Сергей Алексеевич¹ просит Вас доставить ему возможно скорее рецензию о книге Кони.

В.Ходасевич

2

Знаменка, 15, кв. 19
6/XII 912

Многоуважаемый Борис Александрович.

Очень признателен Вам за внимание. Буду, конечно, участвовать в «Русской молве»¹ с удовольствием. Только я не совсем понимаю, что значит «Московская лит[ературная] хроника». Входят ли сюда «вторники» в Кружке², Эстетика³ и т.д. Впрочем, первые же №№ газеты, вероятно, мне это разъяснят. Нельзя ли, чтобы мне присылалась «Рус[ская] молва»? Бегать по газетчикам скучно, а за газетой, в кот[орой] пишешь, надо следить. Когда выйдет 1 №? Ведь то, что случилось две недели тому назад, для газеты уже старо.

Пишу я сейчас нечто, подходящее ко времени святочному. Закончив, пришлю Вам. Пока же, изнывая под бременем перевода, который дня через три кончу, шлю стихи⁴. Этого добра у Вас много? Ну, что делать. Стихи сейчас единственное мое достояние. Есть проза, да не для Вас: дрянь.

Если увидите Одинокого⁵, то скажите, что я очень благодарен за книгу и за добрую на ней надпись. Но дело еще не в этом. Я дал в «Утро России» о ней рецензию⁶ строк в 80. Из нее сделали 23 строки, зачеркнув все мои похвалы, послужной список Одинокого и заключительные приветствия. Зато кое-что они прибавили от себя. В резуль-

тате – я объявил этим ослам, что нога моя не будет в ихней газете, но перед Одиноким мне все-таки стыдно. Скажите ему все это, и пусть он мне напишет, сообщив свой адрес. Он мне милее многих.

Борис Александрович! Не знаю, как начать! Но Вы сами знаете, как окрыляет перо и душу аванс! Деньги же нужны до зарезу. «Нутром хочется». Вот Вам цитата и буквальная истина вместе. Пятьдесят рублей сделали бы меня рабом Вашим во все дни. Строками же я Вас засыплю: возвращать будете и пощады запросите.

Ответьте о хронике, о пределах моей компетенции в сем отделе, о том, проклял ли меня Одинокий, если видел рецензию, и об авансе, вещи, принятой в литературе вообще, а в газетах – в особенности.

Пока жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам

Владислав Ходасевич

P.S. Чады и домочадцы челом бьют: знают обхождение с редакторами.

Это вздор. Просто шлю привет*.

Нюра⁷

3

Многоуважаемый Борис Александрович.

Большое спасибо Вам за скорое напечатание стихов, за рекомендацию меня Чацкиной¹ (ей пишу) и вообще за память. Рассказ Вам не пришлю сейчас, ибо он не кончен, и значит – поздно.

Вот Вам сплетни и отчет о Северянине в Эстетике². Дурылин³ меня от Вашего имени «стрекал». Буду стараться: только печатайте!

В Москве скука и «никаких делов». Кончится тем, что осенью выпущу книгу стихов и перееду в Петербург, хоть я его и не люблю.

Ну, будьте здоровы. Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

P.S. А почему мне платят? Одинокий меня убил: пишет, что ему за стихи дают по рублю.

*Последняя строка написана женой В. Ходасевича – А.И. Чулковой
И в дальнейшей ее приписки и письма к Садовскому будут отмечены звездочкой.

Многоуважаемый Борис Александрович.

Хочу попросить у Вас дружеского совета: как поступить в ниже-
следующих обстоятельствах.

Есть у меня два рассказа¹, из которых, сколько ни переделывай, ни-
чего путного не выйдет. Напечатать их мне не стыдно, но посылать
в приличные места стыдно. Между тем, «Голос Москвы»¹ предлага-
ет мне за них хорошие деньги (вернее – за один из них). Так вот: ес-
ли однажды напечататься там под своим именем (они этого требу-
ют), – то не выйдет ли истории вообще и с «Русской молвой» в ча-
стности? Вы понимаете, что скандалиться я не хочу и за деньги.

Вы печатались в Голосе Москвы в гораздо более «роковые мину-
ты» мира², но это было давно. С другой стороны, газетка полевела.
Но кадеты, которые, Вы сами знаете, ничем не хуже октябристов, –
владеют всеми газетами и журналами, и я боюсь, напечатавшись
один раз в «Г[олосе] М[осквы]», навсегда или надолго вылететь ото-
всюду, в том числе из «Р[усской] Молвы», которою дорожу, т.к. в ней
приходится иметь дело с Вами, а не с газетчиками.

Пожалуйста, ответьте, что думаете обо всем этом. Уж очень меня
запугал Витольд³.

И еще дело. Предстоят две-три театральные постановки, о кото-
рых стоило бы написать. (Пьеса Толстого⁴ и еще кое-что.) Пригодит-
ся ли это «Молве» и нельзя ли прислать мне корреспондентский би-
лет, ибо ходить в театр за деньги не в моих принципах? Есть у меня
билет из «Аполлона» (старый), да в театрах мало чтут толстые жур-
налы. Кроме того, неудобно пользоваться билетом Аполлона, а пи-
сать для Вас.

Скорым ответом на все сие весьма обяжете преданного Вам и по-
здравляющего с наступающим праздником

Владислава Ходасевича.

23 дек. 912

P.S. Относительно «Голоса М[осквы]». Ответ Ваш будет для меня
законом, но самый вопрос мой обязательно сохраните в тайне.

27 дек. 912

Многоуважаемый Борис Александрович.

22 числа Вы мне писали, что я, вероятно, уже получил деньги. Но

я их не получал до сих пор. Очевидно, вышла какая-нибудь путаница; поэтому у меня к Вам большая просьба: скажите, чтобы мне выслали их поскорее (хотелось бы получить к 31 числу: я без денег), и похлопочите о следующем: нельзя ли кстати заплатить мне и за то, что было напечатано в Рождеств[енском] номере? Итого, за 2 стих[отворения] и 2 заметки¹ мне причитается по сообщенной Вами расценке приблизительно 31 рубль. Это не так много, чтобы нельзя было заплатить вне установленных сроков. (Вероятно, в «Р[усской] М[оскве]» платят 5-го и 20-го?) Тем более, что из этих 31 рублей 12 должны были быть высланы раньше.

Простите, что затрудняю Вас, но уж *очень* нужны деньги.

Получили ли Вы письмо мое относительно Голоса Москвы? Я послал его на прежний Ваш адрес и весьма интересуюсь ответом.

Что значит подгонять заметки к субботам? Чтобы высылать их к субб[отам] – или же чтобы их по субботам печатать? Последнее неудобно, ибо Эстетика (вещь важная!) бывает по четвергам. В пятницу я могу писать, и Вы получите материал только в субботу. Разъясните.

Ответьте также о театре. Тут предстоит кое-что небывалое. Писать ли? Входит ли сие в «литер[атурную] хронику», Вами мне врученную.

Простите, если что в этом письме bestолково: спешу отправить его, чтобы завтра оно могло дойти к Вам. Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

Если деньги вышлют даже 29-го, то я получу их 31 утром, и будет веселие. Иначе – плач. Что думаете о моих писаниях? Так ли?

6

16. I. 913

Дорогой Борис Александрович.

Мне, признаюсь, прискорбен уход Ваш из «Молвы»¹: пошатнусь. За Вас же, конечно, радуюсь: трудно человеку знаться с газетой.

«Галатее»² обрадуюсь искренне и чем смогу – послужу ей. Я что-то принялся писать стихи. Лирика меня одолевает. Если приедете в Москву, передам их Вам при свидании. Если нет – пришлю, когда накопятся.

Здесь такая тоска, какой еще не бывало. Еще беллетристы где-то там похлопывают друг друга по животам и прочему, а поэтов совсем не видать: притаились.

Написал я Тырковой³ письмо и послал переводной рассказ (из Мери-име)⁴, но ответа еще не получил.

ПИСЬМА

В ПБург все собираюсь, да, видно, не соберусь: денег нет.
Прощайте пока. Жму руку. Искренне Ваш

Владислав Ходасевич

Вот стихи, которые написал я почти всерьез.

На даче

Хорошо бы собаку купить.

Ив. Бунин⁵

Целый день твержу без смысла
Неотвязные слова.
В струйном воздухе повисла
Пропыленная листва.

Ах, как скучно жить на даче,
Возле озера гулять!
Все былые неудачи
Вспоминаются опять.

Там клубится пыль за стадом,
А вон там, у входа в сад,
Три девицы сели рядом
И подсолнухи луцат.

Отчего же, в самом деле,
Вянет никлая листва?
Отчего так надоели
Неотвязные слова?

Оттого, что слишком ярки
Банты из атласных лент,
Оттого, что бродит в парке
С книгой Бунина студент...

Нюра Вам кланяется и говорит, что это «Сатирикон»⁶. А я думал, что это юбилейный дар академику⁷.

7

23/1 913

Дорогой Борис Александрович!

Сегодня я был у Вал[ерия] Як[овлевича]. Стихов он мне не дал, ибо, оказывается, у него договор со Струве¹. По этому договору *все* его сти-

хи принадлежат Русской мысли, которая их оплачивает, но не печатает. Вал[ерий] Як[овлевич] мне говорил, что у него сейчас идет переписка о расторжении договора, но когда и чем она кончится – неизвестно. Этому можно верить, п.ч. еще третьего дня Машковцев² сообщал мне слово в слово то же самое.

Кожебаткина³ я не видел, он где-то носится. Но все слухи упорно клонятся к тому, что «Мнемозины»⁴ не будет. Недели 3 тому назад он мне говорил, что Брюсов его от журнала отговаривает; сам он тоже отмалчивался. Я лично почти уверен, что слухи верные. Во всяком случае, если Мнемозина и осуществится, то не скоро.

Приезжал в Москву Городецкий. Об акмеизме лепетал невразумительно⁵.

Я бы на месте Гумилева Вас живьем съел, а он заигрывает⁶. Наставьте ему за это рога.

Стишки мои печатайте, коли хотите, но подпись должна быть другая: *Елисавета Макшеева*⁷. Не Бунина, поверьте, страшусь, но юмористики. Да и надо же дать какую-нибудь работу будущим биографам: пусть поспорят, я или не я.

Кланяйтесь, пожалуйста, Одинокому. Господи, да когда же я ему напишу?

Когда станет выходить Галатея? Успею ли я Вам прислать для нее стихи?

Будьте здоровы и приезжайте в Москву: напьемся. Нюра Вам шлет привет. Искренне Ваш

Владислав Ходасевич

Дорогой Борис Александрович, затруднять Вас – становится у меня чем-то вроде дурной привычки, от которой и хочу, да не могу отделаться.

Дело же вот в чем. Послал я А.В. Тырковой переводной рассказ (Мериме «Федериго»), было это еще 12 января, но до сих пор о судьбе его не извещен. Если у Вас с «Р[усской] М[олвой]», или с Тырковой, отношения добрые и вообще, если это для Вас не неудобно и не слишком хлопотно, – разузнайте, как и что. Ежели он им не годится или не нравится (Мериме был писатель славный) – то пусть бы я получил хоть рукопись или нельзя ли ее куда-нибудь пристроить?

О Москве рад бы Вам посплетничать, да ничего нет, хоть шаром покати. Шершеневич книгу стихов выпустил¹. Дрянь, лоскутное одеяло какое-то, попури.

ПИСЬМА

Будьте здоровы. Если исполните мою просьбу, очень обяжете.

Нюра Вам кланяется. Она очень больна: воспаление легких и плеврит вместе. Очень понравилось ей начало Вашей повести в Рус[ской] мысли². А я не буду читать, пока не кончится: не умею читать помес-ячно и из-за этого вечно отстаю от литературы.

Искренне Вас любящий

В. Ходасевич

Семь бед – один ответ: не спросите ли у Чацкиной, хочет ли она печатать роман Здоховского³, который я ей предлагал. *Авторизацию я уже получил.* Попросите ее меня известить. Ей-Богу, совестно Вас затруднять! Не затрудните ли Вы меня чем-нибудь?

В.Х.

31 янв. 913

Знаменка, 15

9

Дорогой Борис Александрович.

Вот Вам дословный перевод письма:

(Далее следует перевод с польского письма Садовскому от женщины, жены ли-тератора. Она благодарит Садовского за помощь, оказанную ей в Москве. Затем Ходасевич делает свою короткую приписку.)

Спасибо Вам за хлопоты. Письмо от Чацкиной я получил. Гуревич¹ напишу нынче же.

Когда приедете в Москву, приходите непременно. Есть и у меня заграничные планы, да не знаю, осуществляются ли. Выяснится это че-рез месяц, который проведу в трепете: уж очень хочется ехать.

Будьте здоровы. Нюра Вам очень благодарна за добрые пожела-ния. Она встала сегодня.

Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

7 февраля 913

Москва

Поклонитесь, пожалуйста, Ремизову². Чтобы так трудно жилось, как ему, надо быть очень хорошим человеком, – уверяю Вас. У мер-завцев все идет как по маслу.

Гиреево, 2 мая 1913

Дорогой Борис Александрович.

Не только помню о «письменном» долге, но и вообще рад с Вами побеседовать. Хотите ли московских новостей? Они не велики.

В четверг на Фоминой милый мальчик Бернер читал в Эстетике реферат о грядущих судьбах и прочем¹. Вздор молот даже удивительный. Никак я не ожидал, что он такой глупеньш. Вал[ерий] Як[овлевич] оборвал ему уши. Он чуть не плакал (буквально) и в припадке отчаяния заявил, что «Брюсов вечно все подтасовывает». Тот, кажется, даже не рассердился.

В минувший понедельник Тастевен² читал публичную лекцию о новых течениях. Я ему возражал и (что поразительно!) даже не плохо: футуристам загнул салазки.

Затеял я нечто: оно может мне принести: 1) удовольствие работы, 2) монеты и 3) печальную славу черносотенца, вроде Вашей. Сообщу Вам *по секрету* тему: *принц Гамлет и император Павел*³. Я о Павле читал порядочно, и он меня привлекает очень. О нем (психологически) наврано много. Хочется слегка оправдать его. Стал я читать, удивляясь, что никому не приходило в голову сравнить его с Гамлетом. И вдруг узнал, что в 1781 г., в Вене, какой-то актер отказался играть Гамлета в его присутствии. Нашел и еще одно косвенное подтверждение того, что кое-кто из современников догадывался о его «гамлетизме». Потомки произвели его в идиоты и изверги. Если голод не помешает – летом поработаю. Если мысли мои подтвердятся – осенью выступлю с «трудом». Но, пожалуйста, – никому об этом ни слова: у меня украли уже несколько тем.

Что Вы делаете, т.е. пишете, и главное – как живете? Я потому говорю: главное – что писать по нынешним временам стали все, – а вот ты поди поживи! Живем-то одни мы, старики. Когда в Москву?

Думаете ли Вы, что я могу обойтись без просьбы? Дело вот в чем. Я еще 11 апреля послал Чацкиной несколько стихотворений «на выбор», как она просила. Она до сих пор молчит, и я не знаю, какие стихи мои пойдут в ее журнале, какие не пойдут. А я бы их куда-нибудь отдал (т.е. которые ей не нравятся)⁴. Спешу, ибо осенью хочу издать книгу. Если будете ей писать – напомните обо мне.

Ну, будьте здоровы и пишите любящему Вас

Владиславу Ходасевичу.

P.S. Тяжелые для Вашего сердца вести сообщит Вам Ньюра на обороте сем или отдельным посланием: не знаю, ибо сейчас ее нет дома.

(Бланк телеграммы. В Ковров – из Кускова. Не датирован.)

Конечно ждем очень рады Ходасевичи.

Простите, дорогой Борис Александрович, что отвечаю Вам с запозданием: то дела, то так, ерунда какая-нибудь.

Декольте-Маяковский (какая отличная фамилия для шулера!), пожалуй, не хулиган, а просто кабафут¹. Они теперь ходят табунком: Ал. Брюсов², Ал. Койранский³, еще какая-то тля газетная и он. Говорят, рубаха-парень, выпить не дурак, человек компанейский и «без претензий». Вот бы нам с Вами сделаться без претензий! Шут с ним. Об Эстетике. Вы не правы. Очищать ее не к чему, поздно. Надо оставить ее Гиришманам⁴, любящим искусство адвокатам (Муни⁵ говорит, что все они, достигнув шеститысячной практики, начинают неудержимо «любить искусство») и прочей публике. Заведемте-ка свою, да не у милейшей Анны Александровны, а при «Галатее», – к которой перехожу⁶.

Надо ее начинать не с января, а осенью, чтобы открыть сезон, а не затеряться в числе прочих литературных дел. Тогда весь год московский пройдет под нашу музыку, иначе – скучнее, т.е. хуже.

Напрасно Вы покушаетесь на целых 12 тысяч. Ведь не кирпичи будем издавать. Гонорары платить необходимо: это единственный способ заставить поверить в долговечность журнала, а следовательно и «уважать» его. Пусть не говорят: «знаем, на 2-ом № кончится!» Но гонорары должны платиться в половинном размере, дескать – половина деньгами, а половина – высокой честью сотрудничать в «Галатее».

Разделите-ка 6 тысяч на 12: будет 500 руб. в месяц. Что-нибудь получим же, если не по подписке, то за продажу отдельных №. Кроме того, легче со временем выклянчить еще тыщонку, чем достать сразу такую уйму. Если журнал пойдет хорошо (в литературном, а не каком-нибудь торгашеском смысле), то я сам, м.б., через брата⁷, смогу кое-кого наказать на субсидию.

Бога ради, не запрашивайте много: спугнете. А еще охотник!

Цинические сии соображения простите мне, ибо простятся на небесах. Не о себе хлопочу, а о матушке Российской словесности. Знаете ли, что скоро настанет пора именно нашего возраста людям ею ведать? У меня руки чешутся.

Тут всего не напишешь. Приезжайте в Гиреево. Сядем и станем подробно, до мелочей, выяснять разные вещи.

Нельзя быть литературной улицей, но и орхидеями не прокормишь Пегаса: только желудок ему испортишь. Журнал должен быть веселый, а не скучный. Очень хорошо удалиться «в катакомбы, в пустыни, в пещеры»⁸, – но издавать «Катакомбный Вестник» не к чему.

Да приезжайте скорее. Скучно. Великий Маг⁹ со мной чрезвычайно мил, особенно после разных Маяковских и Бернеров. Понял, что лучше «злой Ходасевич», чем почтительный Бернер.

Для «Галатеи» есть у меня две-три темы – пальчики оближете. Давайте ее начинать. Щекочите мецената, приезжайте в Москву и давайте говорить о формате, шрифте, о всякой ерунде, знаменующей, что журнал уже *есть*. Ей-Богу, не терпится. Будьте здоровы, пишите чаще, не ленитесь. Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

Гиреево. 25 мая 913

Нюра пишет на обороте. Бальмонт обходителен. Меня почтил, но, кажется, не поумнел. Стихи читал на своем «юбилее»¹⁰ просто ужасные. Поклонники кисли, я зевал во всю глотку.

Милый Борис Александрович!*

Все время было так жарко, что рука отказывалась водить по бумаге. А все-таки мне хочется, чтобы Вы знали, что помню и люблю Вас. Ваши письма меня всегда ужасно радуют.

О себе писать почти нечего. Ем, пью, толстею. (Хочу догнать Жанну Кожебаткину.) Очень скучно – должно быть, потому что нет Вали Дидерихс-Ходасевич. Живу тихо и даже стихов не пишу.

Как встретили Государя?¹¹ Хорошо ли вышел мундир?

Написали ли приличные случаю стихи и пожалованы ли камер-юнкерством?

Не нашли ли в имении скучающую соседку? Если нет, то приезжайте скорей в Москву – авось, и «Гиреевская обывательница» сойдет.

Гарри¹² шлет поцелуй «дяде который подарил машинку». Ну, прощайте. Пишите и приезжайте к нам гостить.

Нюра

P.S. Забыла самое главное: приветствовала Бальмонта в «Кружке» от лица всех женщин и произвела фурор – поцелуем.

Дорогой Борис Александрович.

Вечная и прискорбная судьба моя – оправдываться. Вот, настала пора делать это и перед Вами. Заметка в «Гол[осе] Москвы» о Галатее была¹, это верно. Но появилась она без моего ведома: Янтарева² смастерил. Я его своевременно пробрал, ибо в те времена думал, что меценат – он и москвич, прочтет заметку и обозлится: дескать, дела не порешили, а уж о нем трубят. Сказал же о журнале Янтарева я, жалуюсь, что у меня рот заткнут, писать негде. «А вот как будет у нас с Садовским «Галатеей», так отведем душу». А он и тиснул, польстившись золотом построчным. Ну, да если меценат не видал – не беда. Заметка была прилична. У меня ее нет, но достану.

Насчет «претензий» Вы что-нибудь не так поняли. Я не помню, что Вам писал, но думаю, что нельзя замыкаться в «башню из слоновой кости», а также быть вторыми «Трудами и Днями»³, у которых больше корректоров, чем читателей.

Проповедовать же друг другу мы можем и устно. Журналы издаются не для хранения тайн. Один Мережковский любит печатать в газетах статьи о том, что вот, дескать, какая глубина, но «здесь надо молчать». Все это Вы, конечно, сами отлично знаете. Только я, должно быть, как-нибудь плохо выразился. С Койранскими дружить не придется – но долой Бердслеев⁴, орхидеи и прочее. Это Вы знаете: не только в журнале, но и везде.

Приезжайте скорее. Новостей в Москве нет. Впрочем, случилась беда в Альционе. Меценат⁵ проглядел и в сотрудничестве с Клычковым⁶ и Ахрамовичем вместо 12 глав «Золотого горшка» «любительски» издал – 6. Михаил Петровский его уличил: напечатал заметку⁷. Чем кончится дело – неизвестно. Кажется, придется выпускать остальные главы «второй частью», чего ни у Гофмана, ни у Соловьева нет.

Будьте здоровы. Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

Гиреево. 10 июня 1913

Р.С. Кара-Мурза не продолжал.

Дорогой Борис Александрович!*

Неудобно отказывать даме, а тем более меценатке. Приезжайте скорее в Москву (к нам), оттуда валяйте в Финляндию. Видите, даже не ревную. Авось, хоть этим заманю Вас из Вашей камариной берлоги.

Нюра.

Р.С. А я все-таки толстею.

Дорогой Борис Александрович.

Сердиться на Вас я не сердился, но, признаться, хотел отслужить панихиду. Говорят, помогает.

Что Вы в Крыму долго не высидите – в том я был убежден. Где уж Вам? Однако и в ПБурге Вы не засиживайтесь. М.б., там и очень мило, но я глубоко уверен, что это место не для Вас. И не для меня.

Сплетен московских нет. Могу сообщить только о себе:

1) переехали мы в город, в Замоскворечье, адрес: *Лужницкая ул., 4, кв. 2*. Квартира у нас забавная, провинциального духа, почти что в особняке; однако чисто и весьма культурно. 2) Павел мой немного замедлился, ибо 3) нужны монеты, и я ради них делаю всякую дрянь.

Читал желудочные стихи¹ Ваши в «Сатириконе». Бравриуете, дяденька!

Кстати: вот Вам и комиссия. Посылаю стишки Макшеевой. Попробуйте пристроить их в «Сатирикон»², но чтобы скорее, а то всякие признаки лета исчезнут, – и чтобы прислали монеты, тоже скорей. Без монет – ни-ни. И еще комиссия: 40 строк моих в «Сев[ерных] Записках» (№ 8) до сих пор не принесли мне ни гроша. Я с Чацкиной о цене не сговаривался, ибо совестился (экий дурак!): дескать, дама. Но все же считаю так: $50 \times 40 = 20$ руб., которые нужны мне до зарезу. Не похлопочете ли? А то гибну.

С «Сатир[иконом]» поторгуйтесь вообще за меня. Я им тогда еще что-нибудь дам. Гибнуть – так гибнуть: все гибнут.

Португалова³ разыщу сегодня или завтра и Вам напишу все подробно.

Что пьете Вы за мое здоровье – большущее Вам спасибо, и Тинякову тоже. Но плохо то, что он только что обриту, а Вы его поите⁴. Также плохо то, что у Вас желудок, а он, негодяй, Вас поит. Поклон ему.

Нынче прочел в газете, что Ауслендер⁵ написал пьесу, которая идет у Незлобина⁶. Завидно очень: во-первых – монеты, а во-вторых – станет слюняй знаменит, как сидорова коза⁷.

Напечатал я презабавную статейку о Нелли⁸. Дамы много смеялись. Приедете – покажу. Сравнил Нелли со «сверстницами», Ахматовой и Надей Львовой.

Ну, будьте здоровы. Жму руку. Ньюры нет дома, а то бы и она послала Вам привет.

Ваш В. Ходасевич

Мос. 5 сен. 913

Пишите!

F.S. Бросьте Вы все любви: некогда!

15

Дорогой Борис Александрович.

Простите, что пишу на такой подлой бумаге: другой нет, конечно, а купить негде: воскресение.

Я записал было Вам длинное письмо, да оно два дня пролежало у меня в кармане – и устарело.

Португалова я едва разыскал, да и то не его, а только адрес. Живет он под Москвой. Вчера послал ему письмо с требованием предстать передо мной.

Очень рад (и Ньюра), что наконец занялись Вы своим животом. Лечитесь, Бога ради, как следует!

В Москве паскудно: футуристы совсем разнуждались и уже ссорятся между собой (это, пожалуй, хорошо). Но вообще по улицам ходить нельзя, такая пакость.

Без пяти минут Клеопатра меня поедом ест: целоваться вздумала. Сил моих нет, не хочу! Водит с собой какого-то кобелька, лет 18, идиотского вида – и коитирует с ним на глазах у дочери. Паскудно выше всяких мер. Надоела. Лежала бы на лежанке да глядела бы на шашни молодых, а то ведь сама норовит. Тьфу!

Адрес ее: Тверская, Глинищевский пер., д. Бахрушина, кв. 100. Но писать по этому адресу не советую: достала она где-то «Пятьдесят лебедей»¹ – и увидела *все*, т.е. историю с посвящением. Зла на Вас до ужаса, бранится и прочее. Бегает по Москве и всем рассказывает. Возмущена чрезвычайно. Я думаю, она при свидании поступит с Вами, как баба Ивана Никифоровича поступила с Иваном Ивановичем, т.е. в высшей степени неприлично. Так что уж лучше Вы не пишите. Острит, язва: гадкий, говорит, утенок – и даже нервничает. Боюсь, не вышло бы у нее задержки с менструациями. Дворянскую фуражку поминает.

За что Кречетов меня жалеет? Глуп я? бездарен? Ньюра мне рога наставляет?² Сообщите, пожалуйста, *почему* ему меня так жалко? Мне это весьма любопытно, даже *нужно*. А брюхо у него славное, бархатное, – это верно.

Большое спасибо Вам за хлопоты. Монеты из «Сев[ерных] Зап[исок]» получил и прожил.

Да! Звонила ко мне Н.Я. Серпинская³, спрашивала Ваш адрес. Я дал, ибо Вы человек легальный и даже известный. Но *лишнего* ниче-

го не болтал, можете быть спокойны.

Ну, будьте здоровы. Очень хотел бы Вас повидать.

Ваш Владислав Ходасевич

P.S. С «Мусagetом» полегче: *лопается*. Сведения из верных источников, хотя сами мусagetцы это скрывают. Но я знаю это таким образом: Ахрамович – некто – я. Надуть они Вас не надуют, конечно, но книгу выпустят вместе с 80-м томом полного собрания Эдгаровых сочинений. И с деньгами у них крайне туго.

Нюра шлет поклон, привет и пожелание доброго здоровья.

16

Дорогой Борис Александрович!

Увы, извиняться должен я, а не Вы. За что мне на Вас сердиться? Вы знаете, как меня радуют наши добрые отношения. Не писал же я потому, что либо занят до отвращения, либо отлеживаюсь от неимоверной усталости. Так что уж Вы меня простите, а мне Вас прощать не за что.

Письмо Ваше огорчило меня весьма, но вот по какой причине: сегодня вечером еду я в Петербург, всего дня на два, по скучнейшим делам и ради перемены мест: совсем в Москве расхлябался. Думал я, что Вас, может быть, еще застану в ПБурге. Оказывается – нет, и это очень портит мне всю поездку.

О «Галатее». Просто сказать нельзя, как Ваши мысли совпадают с тем, что я думал на этот счет в последнее время. Именно потому я и не напоминал Вам о возобновлении меценатических (вот так слово вывернул!) хлопот. Вы правы. Если бы Вы все-таки «Галатею» завели, я бы ничего этого Вам не сказал и был бы Вашим верным союзником. Но «Галатеи» нет – и это, должно быть, к лучшему.

Подлец-Португалов сидит без денег. Книга Ваша сверстана, но ему даже корректур (которые он побожился доставить мне) не выдают из типографии. Что же я могу сделать?

В Москве гнусь, гнусь, гнусь, гнусь и гнусь. Слякоть футуристическая. Писаревы экзотированные шляются, буянят, бьют стекла. Бальмонт играет в истерическое бебе. «Сам»¹ ослаб, попустительствует. Толстой ведет себя совершенным хамом. У Зайцева размягчение мозга и лирический понос: зелененьким ходит и умиляется на собственные пленки. У меня на днях будет разлитие желчи, потому что я перестал ругаться и молчу. Бедная Надя² потолстела и стала футуристкой. А стишки плохонькие... Без пяти минут Зинаида Вол-

конская бюстотворчествует и прикармливает сволочь футуристическую.

Обо мне? Я вот кое-что пишу. Напишу – увидите, а так сказать нечего. Дай Бог Витольду самому так процветать, как я! Выжал из «Летучей Мыши»³ 600 целковых – и все тут. А в душу я себе наплевал на 600 тысяч. Баланец неутешительный. М.б., Витольду это было бы ни почем, а мне трудно... Ну, да я из Мыши уйду. Уступаю ему или кому угодно поле действий. Да ведь у него и на это не хватит силенки, – я 2000 рифмованных строк отмочил. Не шутка.

Трудно жить, отец родной. Ну, да ничего. Я, кк Кречетов: выплывем!

Будьте здоровы. Пишите почаще и приезжайте скорее: только Вас хотел бы я видеть. И это искренно, Вы сами знаете.

Крепко жму руку.

Ваш всей душой

Влад. Ходасевич

Нюра шлет Вам привет, поклон и хорошие пожелания. Здоровы ли Вы?

P.S. Посылаю Вам жверную мою карточку. Простите: снимался для Грифского альманаха⁴. Из карточки увидите, что «Владислав Ходасевич переменил прическу».

27 окт. 913. Москва.

Дорогой Борис Александрович!

Простите, что пишу на лоскуте, но сейчас воскресенье, а бумаги приличной нет.

Книга Ваша («Самовар») отпечатана¹. Все дело за обложкой. Деньги у Кожебаткина, кажется, есть, хотя он огорчен тем, что конфисковали альманах². Впрочем, он, кажется, на днях сопьется: там происходят непрерывные заседания Рыбинцевых, Якуловых, Шершеневичей, Милиотей, Топорковых и т.д. Все это пьет и играет в карты. Ему не до книг. Все это сообщаю Вам к руководству и по секрету.

И еще по *секрету*. Получив «Ревизора» и «Горе от ума», Никита³ объявил, что они столь плохи, что ставить их нельзя. Стал заказывать мне разную другую литературу. Я поступил так, как должен был поступить: ничего не написал и заставил ставить Вас. Завтра обе

пьесы идут, с двух или трех репетиций, необычайно плохо, особенно «Горе от ума»: играют ужасно, особенно Лиза и Фамусов. Никита за все это на меня зол – и на Вас тоже. Нет, все-таки, кажется, вся эта история не для нас с Вами. Дело в том, что в Летучке идет борьба партий. Пускается в ход даже эротика – и вот, побеждает партия, требующая изгнания нас с Вами и замены нас г. Лоло⁴ и Янтаревым.

На прошлой Эстетике за ужином Вяч. Иванов⁵ произносил речи, в коих возводил меня на высоты головокружительные. Скучно, но лестно. Вообще, кажется, моя книга⁶ имеет «успех»: скучно и не лестно.

Очень жаль, что не приедете в Москву. У меня к Вам просьба: похлопочите в ПБурге, чтобы обо мне писали. Мне это нужно сейчас до зарезу из соображений финансовых. Кроме того, следствием нескольких хороших отзывов обо мне может быть одна комбинация, для нас с Вами гораздо более приятная, чем 10 Альцион. Но это пока тайна. И Вам не хотел писать, да язык мой – враг мой.

Простите за несуразный штиль: шумят в соседней комнате.

Будьте здоровы, любите меня, как я Вас.

Ваш Владислав Ходасевич

Нюра шлет привет. Заехали бы хоть по дороге в Крым!

23 февр. 914

(пером рисунок самовара)⁷

Вдохновляйтесь и Вы!

18

Дорогой Борис Александрович.

Л.И. Рыбакова¹ сказала мне, что Вы спрашиваете о моем адресе. Вот он: Ст. Томилино, Моск.-Казанской ж.д., ул. Достоевского, дача Семиладнова. Это для писем не сугубо *важных*, но быстрых. Для более медленных, но *важных*: редакция «Русских Ведомостей», Ход-чу.

Я жив, здоров, тружусь в поте лица, пишу о Пушкине (сел-таки!), переводя проклятого Сенкевича² и творя рецензии о стихах для «Русск[их] Вед[омостей]»³ – ибо пока что сей отдел в сей многопочтенной газете вручен мне во власть самодержавную. Не знаю только, как уживусь там. Пригласили сами, ибо на реферате о Северяnine был Игнатов⁴, купил реферат, напечатал его и позвал писать вообще.

Рецензию Вашу обо мне видел⁵. Спасибо за добрые слова, но, по

ПИСЬМА

совести говоря, Вы сделали меня лет на 7-8 моложе: погладили по головке, как Эдгара (который Вам кланяется).

Говорил с Муратовым⁶ о Ваших делах. Надо ждать до осени, но разговор был кислый.

Ну, пока все. Жду письма Вашего и жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

P.S. 1) Кланяйтесь Одинокому. Я ему не ответил, ибо потерял письмо с его адресом. 2) Какова судьба стихов Терентьева?⁷

В.Х.

Томилино. 18/V 914

19

Дорогой Борис Александрович,
поздравляю Вас с Романовкой¹, с удовольствием нагряну к Вам в гости, м.б. – даже осенью. Боюсь только, что Вас там никогда не будет.

«Ты сплетен ждешь, царица? Нет их!»². Разве только, что издатель наш болен. У него какая-то очень трудная (в филологическом смысле) болезнь, и потому я забыл, как она называется.

Поблагодарите Юнгера³ за книгу. Я сделал бы это лично, но не знаю его адреса, т.к., получив книгу, содрал бандероль и бросил ее в корзину. Прочсть книгу не успел еще, но прочту и напишу.

У нас ничего нового. Пишите Вы, что слышали, и что видели, и что делали.

Будьте здоровы. Преданный Вам

Влад. Ходасевич

Томилино. 3 июня 914

Томилино, Моск.-Каз. ж.д., ул. Достоевского, дача Семиладнова.
Какое бездарное письмо! Простите: жарко.

20

Дорогой Борис Александрович,
отвечать на письма друзей – великое наслаждение. Но стремясь к идеалу строго аскетическому, я лишая себя и этой, невинной в сущности, радости. Прошу Вас быть уверенным, что потому только я и молчал так долго. Кроме того – работаю в сутки буквально часов по восьми, а то и больше, но уж не меньше. Здесь тихо, все всегда дома, и я тоже. Нюра работает в городской управе, в отделе, заведую-

шем распределением раненых. Москва ими полна. Больниц не хватает. Частных лазаретов тьма, и все-таки солдат раздают желающим на квартиры. Хочу взять двоих: капля в море, да уж очень нужда велика.

Приезжайте-ка в Москву лучше. Здесь у нас мрачно, но честно, по Петербургу же Городецкие ходят стадами. Чай, уже к войне примазывается? А мрачно у нас весьма. Я буквально никого не вижу, да никого и нет. Весь кружок превращен в лазарет, никаких сборищ не будет во все время войны. В кабаке не был ни разу, да и не тянет. В гости ходить не принято, как на Страстной неделе. Мне все это нравится.

Чацкина (дай Бог ей здоровья) прислала мне монет (квартира, квартира, отдай мне мои деньги!) и заказала статью о Лермонтове¹. На днях сажусь писать.

В Киеве ужасы: два целых и три десятых эстета собрались издавать журнальчик. Я дал им стишков². Экая ерунда!

Великий Маг пишет в Рус[ских] Вед[омостях] корреспонденции из ... Вильно и Варшавы. Хорошо пишет, точь-в-точь – Саша Брюсов. Мы, говорит, воюем; побеждающие побеждают; побежденных побеждают; человек, в которого попала пуля, здесь, в Вильне, называется раненым. Раненые очень храбры. Некоторые из них умирают, прочие рано или поздно выздоравливают. Умершие называются покойниками, а выздоровевшие опять становятся солдатами, пока их не ранят. Тогда они или умирают, или выздоравливают...³ и т.д., очень последовательно и логично, что в стратегии необходимо.

В Варшаве его чествовали писатели⁴. Это не стратегия – а потому лошка прихромнула: никаких писателей в Польше нет. Что и есть похожее на писателей – то живет в Австрии (Реймонт, Тетмайер) и в Германии (Пшибышевский). А в Варшаве... ну, вздор одним словом!

Будьте здоровы. Жму руку.

Нюра кланяется, из чего Вы можете заключить, что мы не разъехались. Издатель сидит без денег, безумец – просит их у меня! Я бы за него в огонь и воду, но... Будьте здоровы. Мужайтесь: Вы не издатель.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич

27 августа 914. Мос.

21

9 ноября 914. Москва

Дорогой Борис Александрович!

Сознаю, конечно, вину свою, да ленив я писать, и житье идет тру-

дное, несуразное. Со дня на день откладывал письмо к Вам. Зато теперь отвечаю по пунктам.

Сплетен московских нет, ибо Вячеслав Иванов тих, как луна, а больше в Москве, кроме его и (простите, Бога ради) меня, порядочных писателей сейчас нет. Не сообщать же мне Вам о Каменских да Арцыбашевых¹. Впрочем, и о них ничего не знаю: не *знаюсь*.

Издателя видел. Плох. Затих. Местожительств не имеет. Одну Альциону на днях продал в Охотном купчихе вместо куренка, другая невооруженным взглядом ненаблюдаема.

Наш великий друг что-то пишет в «Р[усских] В[едомостях]» – а что – не знаю. Супруга его² была у нас (о, чудо!) дважды. Раз у меня по делу, другой – у Нюры, в преферанс играли, при помощи Рубановича³.

Никаких начинаний нет. Сижу без денег (поймите намек!). Никита мрачен. Дела у него плоховаты. Поэтому Нюра, Гаррик и я худеем не по дням, а по часам. Я бы сам с ним разъехался, да нельзя: сразу худеть вредно.

Вышла моя «Война»⁴. Ужасно плохая книжонка. Да некогда было сделать ее получше – и не из чего: плохо пишут русские поэты о войне. Посылаю Вам ее только по долгу признательности, – а то стыдно и показать. Кстати: Вы мне обещали прислать из Нижнего «Камену»⁵. Жду. Пришлите. Ни одной порядочной книги нет.

Нюра здорова, трудится. Эдгар успел заболеть и выздороветь. Профессорша⁶ вышивает бисером кошельки для вдов и сирот воинов или еще что-то в этом роде делает, очень изящное и полезное.

Адрес Нины Яковлевны попытаюсь узнать, тогда сообщу. Не хочу откладывать этого письма, а то снова придется передавать его Вам при личном свидании – я себя знаю.

Шершеневич – Шершеневич. Португалов приехал с войны. Удралтаки: швы расползлись, ведь ему в прошлом году аппендикс отрезали. Но, хотите верьте, хотите нет, – а он, лежа в Вильне в лазарете, *умудрился издать книжонку*: «Разведчик» – эдакий разговорный словарь на рус. и нем. языках (нем. текст русскими буквами). Это для солдат. «Составил рядовой такого-то полка Валентин Португалов». Печатано в типогр. виленского военного округа (или что-то в этом роде). В коленкоровой мягкой обложке. С типографскими тонкостями. Ей-Богу, я сам в руках держал. Он здесь в лазарете. Весел и бодр. Я у него был, он меня вызвонил по телефону. Я думаю, он и на том свете издаст путеводитель по тамошним достопримечательностям: Дантовский устарел.

О войне Вы, конечно, сами все хорошо знаете. Впрочем, здесь хо-

дят слухи, будто французы устраивают «немецкие зверства» не хуже самих немцев. Кое-что даже проникло в печать (русскую!). Добивают раненых, продают немецкие уши по 10 сантимов за пару и т.д. Верить очень не хочется, но... Дай Бог нам с ними встретиться в Берлине, – однако боюсь, что если все это правда, то на немецкой территории они разгуляются вовсю. Нет, кажется, прав я был, говоря, что во всей Европе одни мы европейцы. Верите вы, ибо мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев.⁷

Ну, будьте здоровы. Не сердитесь на меня за молчание и прочее. Каждый вечер изнемогаю от желания увидеть хоть одного порядочного человека, – и кроме Вас, никого не могу себе вообразить. Право, у нас с Нюрой мода скучать «по Садовском». В конце концов я к Вам приеду, когда штукатурка просохнет.

Крепко жму руку. Нюра шлет привет.

Владислав Ходасевич

P.S. Я послал мышинные стихи в Аполлон (т.е. о войне, одно стих[отворение]).⁸

Да, приезжал Ауслендер. (Я ему по привычке «Петербург», а он мне – «Петьягьяд»!)⁹ Вот тоже Иноземцев выискался!) Читал он Незлобину новую свою пьесу, о Павле Петровиче. Говорят, дрянь окончательная. Незлобин пьесу взял, а сам всей Москве жалуется: «Какая дрянь!» Плохая реклама!

Вот Вам и сплетня!

22

Дорогой Борис Александрович.

Простите, что пишу на клочке. Спешу отправить эту записку с оказией.

Я никак не мог поймать Архипова¹, но от секретаря узнал, что рассказ Ваш уже набран. Боюсь затянуть дело. Немедленно пишите сами Архипову.

У меня уйма хлопот и неприятностей. Только что послал с Рубановичем и Липскеровым² коллективное заявление в Эстетику³. Нас обидели, заставив читать в прошлый четверг стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича⁴. Будут большие бои. Заявление составлено в выражениях, более, чем решительных. Будем требовать публичного извинения.

Ваш Владислав Ходасевич

9 февр. 915. Мос.

Дорогой Борис Александрович.

У меня к Вам большая просьба. Прилагаемое письмо сегодня же, если сможете, завезите в «Летучую Мышь» и отдайте Карееву¹, а если его нет – Никите. Я потому решаюсь затруднить Вас, что не знаю, в Питере ли Кареев, а послать на его имя, когда его там нет, – значит погибнуть. Никите же писать непосредственно – месяц ждать ответа. Однако, повторяю, если нет Кареева – отдайте письмо Никите и велите, прочтя, исполнить все, что надо. Вы, надеюсь, понимаете, в чем тут дело...

От издателя слышал, что Вы выгодно продали «Полдень»². Поздравляю. Слышал и о брошюре³. Пожалуйста, при корректуре ее помните мои молитвы.

Я болел: опять проклятый плеврит. Видно, когда «славянский стяг завевает над Царьградом»⁴ – придется мне ехать на Принцевы острова умирать от благородной славянской чахотки.

Эстетика постановила перед нами извиниться. Ждем рескриптов. Пишу статью о военных стихах. Хвалю Вас.

Нюра шлет Вам привет.

Любящий Вас

Владислав Ходасевич

1/III 915

Если можно, уведомите меня о получении этого письма и не откладывайте передачи приложения в «Л[етучую] М[ышь]». И что вообще слышно?

Дорогой Борис Александрович,

не гордость (ох, с чего бы?), а страдания душевные заставляют меня молчать. Спасибо Вам за «Озимь» и за поздравления с праздником, примите и от меня такое же.

Не пишу, ибо страдаю; страдаю, ибо скучаю; скучаю, ибо здесь тоска и глушь, лень, надоевшие сплетни, безжурналье, безлюдье и сплошные идиоты вокруг меня. Мне не с кем слова сказать, ей-Богу. Нельзя же ходить разговаривать с Архиповым и Маяковским? От скуки перевожу (стихами, белыми) трагедию Словацкого (секрет) – но зачем это делаю – одному Богу ведомо. Времени свободного у меня хоть отбавляй, но, кажется, я могу работать только в сутолоке, урывками – или уж совсем в одиночестве, в деревне. А так – ни то ни

се – и я ничего почти не делаю. Стихи пишу плохие.

Об «Озиме» толком ничего не слышал, ибо слышать не от кого. Хочу попытаться тиснуть о ней в «Вед[омостях]», да боюсь¹: ведь там Валерия чтут, кк Пешехонова².

Пожалуйста, пишите о себе. Не приедете ли в Москву? Уж очень бы я рад был. Нюра меня к Вам ревнует, хоть Вы и негодный сплетник: зачем распустили здесь слух о журнале? Мне разная сволочь не дает проходу. Известно даже, что мы с Вами получили тридцать тысяч, копейка в копейку. Стоит ли жить в этой помойной яме, которая зовется Москвой? Тьфу!

Я решил никуда не ходить, никого к себе не пускать, ни с кем не знаться. Даже не подхожу к телефону. Ответ обо мне для всех одинаков: дома нет и не будет. Но все это скучно.

Вот Вам адрес Португалова: Бол. Афанасьевский пер., 9, кв. 5. Спешите, а то его выселят. Будьте здоровы. Не забывайте.

Ваш В. Ходасевич

Нюра шлет привет и благодарит за книгу.

25

Дорогой Борис Александрович,

Вы меня не столько разочаровали (я предвидел, что рассказ не для «Лукоморья»)¹, сколько неверно поняли: я Вам говорил, что стихи могут быть отданы только *вместе* с рассказом и только при условии *аванса*, не меньше ста рублей. Я их давал для закуски, вроде деликатеса, – а так я смогу их продать в приличное место. Стихов я пишу мало и дорожу ими. Скажете – меньше дадут? Да, при тысяче строк это разница, а при 36 – все равно. Впрочем, можно их оставить в «Л[укоморье]», но при *непременном* условии: *тотчас* должны быть мне заплачены все деньги за все стихи, по рублю, т.е. 36 рублей. Иначе – назад, т.к. у меня нет уверенности, что и эта редакция не обокрадет меня, как обкрадывали другие. Имея честь быть российским литератором, я согласен на все, что по традиции званию сему сопутствует, т.е. голод и проституция с голоду. Но проституировать ради чести быть проституткой – это уже слишком.

Чувствую, что уже достаточно причинил Вам хлопот (и причиняю их условием напечатания моих стихов) – а потому от дальнейших обязанностей Вас избавить: возьмите же рукопись и как можно скорее (боюсь, он уедет в Москву) пошлите ее Чулкову² (Царское Село, Малая ул., 47): пусть он за меня «обивает пороги редакций». Ему пишу.

Жму руку.

Ваш В. Ходасевич

Главное – скорее отправьте рассказ Чулкову.

26

Дорогой Борис Александрович, идея освободиться от издателей мне, конечно, в высшей степени по душе. В члены будущего клуба Вашего весьма прошу меня выбрать. В альманах¹ нечто дам с удовольствием, но Вы не пишете, к какому времени это «нечто» должно быть у Вас. Между тем, вопрос о том, что именно я бы дал Вам, решается для меня в зависимости от срока. Не поленитесь же известить меня об этом, хотя Вы и нездоровы, по-видимому: письмо Ваше писано не Вашей рукой. Что с Вами? Неужели все та же хворь?²

Вы напрасно думаете, что «суровая отповедь» моя относилась к Вашему лукоморству. Это было бы с моей стороны странно. Я, признаться, осерчал было на Вас за другое: за то, что по дороге в Пет. успели Вы позабыть мои условия касательно стихов: больше ничего. Надеюсь, однако, Вы на меня не злобитесь, и вся эта, пустячная, в сущности, размолвка не повлияет дурно на добрые отношения наши, которыми я дорожу сердечно. Невместно нам с Вами ссориться на деловой почве: уж лучше давайте когда-нибудь подеремся из-за чего-нибудь более высокого.

В Москве нового почти ничего. Брюсов засадил меня переводить латышских поэтов. Ерунда сплошная. Перевожу только для того, чтобы не говорили, будто я лентяй.

«Семейство мое» благодарит Вас за память и шлет привет. Эдгар ходит в школу. Я ему сказал, что, если он не будет первым учеником, мне нельзя будет на люди показаться. Несчастный лезет из кожи вон. На днях переводят его в православие, и из Эдгара он станет Егор. Это хорошо, впрочем.

Живу я вот где: *Плющиха, 7-ой Ростовский пер., д. 11, кв. 24*. По этому адресу и надеюсь получить от Вас ответ о сроке присыла для «Медного Всадника».

Будьте здоровы. Жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич

9 нояб. 915

Письмо Ваше получил я только вчера, у брата на именинах. Насчет Озаровского³ – клясться не могу, но думаю, что ничего подоб-

ного. Он здесь был весьма отвратителен. Все его выступления – сплошной провал.

27

(Машинопись)

Дорогой Борис Александрович.

В том-то и беда, что письмо Ваше я получил своевременно, – а стихов-то у меня и нет, что было – роздал, а новые не пишутся, хоть убей. Пробовал выжимать из себя насильно – да Вы сами знаете, каковы в таких случаях результаты: плохо. А плохого я Вам (да и никому) посылать не стану. Так что уж Вы не гневайтесь и на сей раз махните на меня рукой. Однако же, если что в ближайшее время напишется – пришлю тотчас же обязательно. Ежели опоздаю – верните.

О книгах Ваших в благороднейшей и мудрейшей газете напишу непременно, *только пришлите мне и стихи поскорее*: буду писать разом о трех, – по всем по трем.

Никита Ваших пьес мне не дал, сказав: пусть сам мне напишет. Не знаю, какого ему рожна надо.

Тут налаживается у меня одна работа, приятная в разных смыслах. Да, вероятно, из этого ничего не выйдет, так как меня скоро возьмут на войну: я 1907 года.

Будьте здоровы. Пишите.

Сердечно Ваш

В. Ходасевич

2/XII 915. Москва.

Нюра шлет привет.

28

Совершенно безумный Борис Александрович.

С чего взяли Вы, что я закоренел в эгоизме? Я хвораю и ничего больше. Нашелся у меня на спине позвонок, который вздумал пухнуть, нашелся врач, пугающий меня туберкулезом позвоночника. Я же врачу не верю, но не унываю и лечусь во всю мочь. Кроме того, работаю, как сорок тысяч братьев. Вот и все. Теперь по порядку.

Никитин сезон кончается 2-го марта, т.е. это будет последняя постановка. Новое в этом году вряд ли поставит. Советую Вам, не предлагая работы *сейчас*, истребовать с него денег в счет будущего. Я его почти не вижу, в будущей программе моих вещей нет. Не ссорясь,

эмансипировался. Скучно там, к тому же чувствую, что в направлении, нужном «Л[етучей] М[ыши]», я просто исписался.

Я ушел из «Русских ведомостей», где занимаются литературой, когда есть свободное время. Ушел, ибо «Утро России»¹ меня сманило. Теперь ведаю там критику стихов самодержавно и в очередь с Брюсовым пишу о театре. О прозе Вашей там давным-давно писал Айхенвальд², и, увы, о ней мне пришлось молчать. О «Полдне» же писал в №30, от 30 января³. Кое в чем Вас укорял, кое за что хвалил. Приедете – покажу. Кроме того, в №51, от 20 февраля, напечатал я 300 строк о Федине с упоминаниями Ваших изысканий⁴. Пробрерите бюро вырезок.

В Крым Вы не поедете, скорее жена к Вам приедет.

Нашего издателя поймать нельзя. Здесь буквально мне предлагали подписаться под письмом в редакцию, вроде тех, какими обмениваются удрученные горем родители с блудными сынами: «Коля, отзовись!» – т.е. «Не будучи в состоянии лично встретиться с Вами, мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам, А.М., при помощи прессы»... и т.д. Пока отложили. Он просто и откровенно *скрывается*. Сам ищу – не могу ни добыть адреса, ни поймать живьем. Мир стоном стонет. Земля трескается. Илья Пророк грозным словом гремит – нет Кожебаткина, нет издателя, пропали мы. Иначе, как в стиле Ремизова, и говорить о нем не могу.

Спасибо за зов читать: денег нет на поездку, да и поздно: не успеете исхлопотать на меня разрешение. Да и военный призыв у меня на самом носу: говорят, в начале марта.

Счастье, что не я нашел портрет Пушкинский⁵, я умер бы от сомнений: то ли его на стенке держать, то ли тысячу получить. Торгуйте, но сперва пришлите мне *хорошую фотографию* с него. Это обязательно, а то совесть не даст Вам покоя, замучит, задушит, очень плохо будет.

Я перевожу армян, латышей, финнов...⁶ И назовет меня всяк сущий в ней язык: «ловко», скажет, «переводил покойник».

Целую Вас (тоже, если позволите). Всего доброго. Пишите и приезжайте. Неизменно Ваш

Владислав Ходасевич

26/II 916

Дорогой Борис Александрович!*

Наконец-то Вы постигли прелесть и третьего члена семейства Чулковых – страшно этому рада – Зоря Чулковых⁷ очаровательный человек и, конечно, лучше своих непутевых сестер.

Я о Вас соскучилась и очень хотела бы повидать Вас. В этом году мне очень не везет: муж и сын хворают. Сейчас у Эдгара корь, но, как истинная христианка, я не унываю и надеюсь на Бога. Поищите в Петрограде книжку «Сад Поэтов» – там Вы будете иметь возможность прочесть произведение Софьи Бекетовой⁸. Смешно сказать, но меня это очень забавило. Эдгар Вас помнит, любит и целует. Я тоже.

Анна Ходасевич

29

(Машинопись)

Москва, 22 апреля 1916

Дорогой Борис Александрович, я ровно настолько хорошо отношусь к Вам, чтобы иметь и право и обязанность говорить откровенно. Если Вам, как заключаю по письму Вашему, не безразлично мое мнение о Тиняковской истории¹, то вот оно в коротких словах.

Тиняков – паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с Вами. Он был эс-эром, когда я с ним познакомился, в начале 1905 г. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем (уход из Северных записок), потом кадетом (Речь). Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды². Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, но меня и от Раскольниковца иной раз рвет. Поэтому его «исповедь» безотносительно к тому, в какое положение она ставила Вас (я на минуту отстраняю от себя свои личные чувства к Вам), меня не возмутила, как конечно, и не восхитила. Она была в порядке тиняковщины, только и всего. Но присланная Вами вырезка подла бесконечными своими виляниями, подсовками и передергиваниями. Это о Тинякове. Теперь о Вас.

«Исповедь» я видал. Вашего возражения не видел, но слышал о нем

как раз от Гершензона, которому я, на основании «исповеди», высказал предположение, что Вы действительно водили Тинякова к Борису Никольскому³. Г[ершензо]н с моим предположением согласился и сказал, что оно подтверждается и вашим опровержением в «Бирж[евке]»⁴, тем местом, где говорится о Фете. Думаю, что с Вашей стороны нехорошо было 1) поощрять трусливое, тайное черносотенство Т[иняко]ва и 2) так или иначе способствовать снабжению «Земщины» каким бы то ни было материалом. Это нехорошо, из песни слова не выкинешь. Оправдывал я Вас тем, что многое, по-моему, Вы делаете «так себе», а может быть, и с беллетристическим и ядовитым желанием поглядеть, «что будет», понаблюдать того же Тинякова, ради наблюдения мятущейся души человеческой. Правда, это немножко провокация, но почему-то *не хочется* (а не нельзя) судить Вас строго. Гершензон, как мне показалось, был со мной вполне согласен. Вас не ругал, по крайней мере при мне. Думаю, что и без меня. Вообще же в Москве об этой истории как-то не говорят, ее почти не заметили. Вас не бранят. Вырезку покажу кому надо. Думаю, что Тиняков сам себя съел.

У меня большое горе: 22 марта в Минске, видимо, – в состоянии психоза, застрелился Муни⁵. Там и погребен.

Меня призывали воевать, но не взяли, оставили ратником.

В письме Вашем неразборчиво: 29-го Вы едете (чудо!) или 23-го? Если 23, то это письмо Вас не застанет. Поэтому хоть открыткой известите о его получении. Молчание буду рассматривать как признак неполучения. Да не черкнете ли (хоть телеграммно), в котором часу и какого числа будете проезжать через Москву. Поезд стоит здесь минут сорок на Курском вокзале. Я бы на Вас поглядел.

Будьте здоровы, не гневайтесь за откровенность и верьте, что я истинно хорошо отношусь к Вам. Где же книга и какая она? Стихи? Рассказы? Статьи?⁶

Ваш Владислав Ходасевич

30

(Машинопись)

Дорогой Борис Александрович.

Только что получил Ваше письмо и сейчас же позвонил Балиеву. Оказалось, что он в Харькове, вернется числа 20-го. Тогда позвоню еще.

Не гневайтесь, что не приехал Вас повидать на вокзале: очень плохо себя в тот день чувствовал. Дела мои вообще чрезвычайно пло-

хи: у меня туберкулез позвоночника. Недели на меня третьего дня гипсовый корсет, это довольно невыносимо. А придется в нем проходить лет пять, если не помру. Не снимается он даже на ночь. Дай Вам Бог этого не испытывать. В начале июня, кажется, поеду в Крым, но точно еще не знаю, куда и когда. А может быть, и не поеду. Тогда Вы в июле увидите мои мощи в Москве.

За «Ледоход» спасибо. Но на другой день после того, как я его получил, Айхенвальд уже умудрился написать о нем в «Утре России»¹. Книга приятная, но кое-каких заметок я бы в нее не включал. Лермонтов, Фет и... Ауслендер². Не стоило.

Сердечно рад семейным Вашим радостям. Но рука Ваша пишет плохо (разумею, конечно, почерк, а не «блистательное перо»). Следовательно: скорей обучайте сына грамоте, да растет на помощь немогущему родителю.

Будьте здоровы. Обнимаю.

Ваш Владислав Ходасевич

О Балиеве не забуду.

М., 17 мая 1916

31

(Открытка)

[Ялта, Таврич. Е.В.

Борису Александровичу Садовскому

Бульварная ул., гост. Бристоль, №16]

Москва. 28. V.916

Дорогой Борис Александрович!

Никита только сегодня приехал в Москву. Завтра и послезавтра – праздники. Во вторник он дал слово выслать Вам деньги. Я плох. 4-го еду в Крым. Пишите по адресу: Севастополь, 36-й почтовый ящик, Марии Алексеевне Сербуленко, для передачи и т.д. Обнимаю.

Владислав Ходасевич

Нюра шлет привет.

32

Коктебель. 14/VIII 916

Дорогой Борис Александрович,
приехала ко мне Нюра, рассказывала о Вас, – и мне захотелось напомнить Вам, что взаимное «неписание» не должно нисколько влиять на

наши добрые отношения. Слышал о Ваших недугах и новом лечении. Усадите же кого-нибудь и продиктуйте длинное, обстоятельное послание о своем здоровье (это прежде всего), о планах, работах и прочем. Вы, кажется, знаете мою нелюбовь к желтокожим. Обязуюсь заключить вечный союз с Китаем, если сын Небесной империи сумеет Вас починить¹. Обязуюсь даже признавать этих обезьян людьми и братьями. Нет, кроме шуток, – как Вы себя чувствуете? Ваша хворь меня по-настоящему, очень и очень огорчает. Пишите же.

Я? Я изрядно поправляюсь. Стал очень черен, забыл про головокружения, только спина еще не действует. Я отдохнул очень, ибо 3 месяца ничего не делал. Это мне даже надоело. Писал Балиеву, предлагал ему себя в обмен на золото, – молчание. Он тут водил за нос Ньюру – и все. Ни работы, ни золота я не получил. Он, вероятно, надеется, что по примеру прошлых лет использует меня в Москве для экстренных работ. Увы, это ему не удастся. Не стану. В моей болезни Лет[учая] Мышь очень повинна. Довольно.

Сплетен, сплетен, ради Аполлона! Что меценат? Чем дует из Петербурга? Жив ли Бобров?² Садовской не затеял ли какого скандала? Эх, продиктуйте-ка письмишко! Будьте здоровы. Обнимаю.

Ваш Владислав Ходасевич

Нюра шлет привет. Я здесь до конца сентября. Долго ли пробудете в Москве? Увидимся ли?

Адрес мой: Феодосия, Таврической губ. Коктебель, дача Волошина.

Дорогой Борис Александрович, мне очень стыдно затруднять Вас просьбой, и я бы никак не решил сделать это ради себя. Но дело идет не обо мне.

Вчера отправлен к Вам в Нижний, в какую-то студенческую распределительную школу прапорщиков, мой добрый знакомый, умный и хороший человек, Сергей Яковлевич Эфрон¹, муж Марины Цветаевой. (Вы с ним летом встретились у Ньюры.) Человек он совсем больной, не очень умеющий устраивать свои дела, к тому же не имеющий в Нижнем знакомых. Я решил дать ему Ваш адрес. Так вот, если он к Вам зачем-нибудь обратится, – не откажите ему в дружеской услуге и внимании. Может быть, он воспользуется Вами для устройства хождения в отпуск или чего-нибудь в этом роде. Может быть, ему предстоят какие-нибудь комиссии и проч.: используйте же

и в сем случае то влияние, которое есть у Вас и у Вашей семьи в Нижнем. Повторяю, это человек больной, как мы с Вами. Его жаль душевно. Все, что Вы сделаете для него – Вы тем самым сделаете для нас с Анной Ивановной. Еще раз простите, – но мне Эфрона мучительно жаль. Он взят по какому-то чудовищному недоразумению.

Если Вам не чересчур трудно – черкните пару слов о себе, главное – о здоровье. Что пишете и замышляете?

О себе писать прямо не могу: не любопытно. Занят, занят, занят, – а толку не вижу. Пишу статью о Пушкине², перевожу Стендаля³, написал пяток макаберных стихов⁴. Видали Вы 1-ую книгу Альманаха «Стремнины»?⁵ Там Брюсов «докончил» Египетские ночи. Посмотрите.

Не собираетесь ли в Москву? Приезжайте, ежели можно. Я живу без сверстников, это скучно.

Ну, будьте здоровы. Обнимаю Вас и прошу не забывать Вас сердечно и неизменно любящего

Владислава Ходасевича.

Нюра шлет привет и тоже справляется о здоровье. Право, мы Вас вспоминаем чаще, чем Вы думаете.

Не забудьте же Эфрона!

Ах, Русалка!.. Ах, Скупой Рыцарь! Ах, Борис Садовской!..

34

Москва. 15 декабря 1917.

Дорогой Борис Александрович, сердечное Вам спасибо за книжку¹. Шла она ко мне без малого сто лет. Нужны ли Вам мои похвалы? Скажу все-таки, что есть в ней прекрасные стихи, – «Памятник», например. Холодновата она местами – да уж таков Садовской. Вероятно, ему и не надо быть иным.

Многое из того, что в ней сказано в смысле «политическом» (глупое слово), – как Вы знаете, для меня неприемлемо по существу. Но это все вопросы такие огромные, что о них поговорим при свидании. Не ругайте за то, что не побывал у Вас. Виноваты: хворь моя, Гершензон, говоривший: «пойдемте вместе!» да так и не собравшийся, гнусное житье вообще. Но я уверен, что мы еще с Вами не только наговоримся, но и надоедим друг другу. Не приедете – сам приеду, помните мое слово. Дайте вот только перемолотся муке. Верю и знаю, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских² и Гучковых³, а России Садовского и... того Сидора, который яв-

ляется обладателем легендарной козы. Будет у нас честная *трудовая* страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на земле, – а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому-сыну, праправнуку Лихутина,⁴ придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Очень хорошо, если к идолу Садовского будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели и полуцат у подножия сего истукана семечки. Но не хочу, чтобы вокруг него был разбит «сквер» с фешенебельным бардаком под названием «Паризьен» (Вход только во фраках, презервативы бесплатно). Сквер – штука скверная, это доказуемо и филологически, как видите. Туда ездят в автомобилях.

И кое-что из *хорошего* будущего мы еще с Вами увидим. А пока обнимаю Вас и прошу простить за сумбурное письмо. Пожалуйста, известите о здоровье.

Ваш Владислав Ходасевич

Нюра Вам шлет привет, помнит Вас и любит.

35

(Письмо напечатано на бланке, машинопись)

Издательство
Всемирная Литература
при
Комиссариате народного
просвещения
Московское отделение
Знаменка, М. Знаменский пер., д. 8, кв. 10
Телеф. 2-56-47

Москва, 24 марта 1919 г.

Дорогой Борис Александрович, конечно, Вам ничего бы не стоило хоть изредка уведомить меня о своем здоровье, о том, что делаете и проч. Да видно, Вам лень – ну, и Бог с Вами. По бланку этого письма можете Вы судить о том, что есть в Петербурге Всемирная Литература. Во главе ее стоит Горький, издает она переводы, я наряжен править ее Московское Отделение, но все это не любопытно. Есть тут у нас с Гершензоном затеи любопытнее, но когда и чем они кончатся – одному Богу ведомо. Живем, как полагается: все служим, но плохо, ибо хочется писать, а писать

нельзя, потому что служим. У Белого уже истерика, у меня резиныяция с примесью озлобления.

Валерий записался в партию коммунистов¹, ибо это весьма своевременно. Ведь при Николае II-ом он был монархистом. Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это не верно: он не подлец, а первый ученик. Впрочем, у нас в гимназии таких били без различия оттенков. Младший брат² его вернулся из плена, изучив там ббб языков, коим не может найти применения, ибо кроме него на сих языках говорят одни католические миссионеры, побывавшие в Центральной Африке. Но миссионеры съедены еще до введения карточной системы. Из сего благоволите заключить, что я не подобрел, а Саша не поумнел.

Некий Абрамов издает в Москве журнал «Москва»³, двухнедельный, почтенный и скучный. Пишут в нем уважаемые покойники: Валерий, Бальмонт, Ремизов, Блок, я. Если у Вас есть хорошенький гробик червей на 300—400, то я уполномочен просить Вас присоединиться к нашему обществу. Получите не меньше, как по рублю за червя, тотчас по прибытии гроба в кладбищенскую часовню, сиречь в редакцию. Послать можете мне, кистер мне приятель. Это только фасон говорить дурашный, а просьба серьезная и почтительная.

Меценат лавочку свою прикрывает. Служит экспертом по заключению договоров с авторами в Театральном отделе. Убили бобра!

Пишите же, пожалуйста, о себе, пришлите рассказ, лучше всего по адресу Всемирной Литературы. Обнимаю Вас, Ньюра кланяется, Фемистоклюс⁴ тоже.

Ваш Владислав Ходасевич

36

(На бланке издательства «Всемирная литература», машинопись)

Москва, 3 апреля 1919

Дорогой Борис Александрович.

О состоянии Вашем давно я привык судить по почерку. На сей раз он очень меня порадовал. Да здравствует эшафот: оказывается, это панацея!¹

Жаль, что не хотите писать в «Москве». Но раз таков зарок, я, конечно, молчу².

Понимать я Вас, сколько умею, пойму: это лирически. А практически, простите, не беру в толк. Что жизнь надобно перестроить, Вы согласны. До нашего времени перестройка, от Петра до Витте³, шла

сверху. Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостию Божию, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых⁴, Чулковых и прочую «демократическую» погань. Дайте им волю – они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы железом железным, сиречь аршином. К черту аршинников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков, все-таки умел забывать все на свете «среди виң, сладостей и аромат». Думаю, что Гавриил Романович мужиков в «Званке»⁵ дирал, а все-таки с небес в голосах раздавался⁶. Знаю и вижу «небесное» сквозь совдеповскую чрезвычайку. Но Россию, покрытую братом Жанны Грень⁷, Россию, «облагороженную» «демократической возможностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, – ненавижу, как могу. А боюсь, что молодежь Ваша к тому идет. Вот что страшно. Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно. Вот Вам и все.

Неправда, что Розанов⁸ умер с голоду. Его коллекция была у него. Я сам передал ему три тысячи, которые выпросил у Горького. Давали ему денег и еще какие-то лица и организации. После него осталось тысяч на 15 бумаги (книжной); о каком же голоде можно говорить? Страдал он морально: этому верю и это уважаю. Еще страдал курьезно: от отсутствия кур и творогу. И это понимаю. Но от гурманской грусти до голодной смерти так же далеко, как от нас до добровольческой армии, в которой где-то находится Юрий Никольский⁹. Все сии сведения, как о Розанове, так и о Никольском, подтвердит Гершензон, который Вам шлет привет.

Анна Ивановна Вам пишет особо сегодня же. Эдгар учится в Единой трудовой школе. Таблицу умножения уже забыл. Снег швырять с крыши еще не научился. Это переходный возраст.

Вы буржуй, ибо пишете. Я вот так занят, что работать мне некогда.

Белого трудно поймать: поэтому, чтоб не откладывать письма, пи-

шу Вам, еще с ним не повидавшись. Но надеюсь, что на днях ухвачу его за шиворот и заставлю Вам написать. Впрочем, заранее уверен, что он с Вами во всем согласен – вплоть до ближайшего несогласия.

Ну, прощайте пока, пишите. Коли можно, пришлите стихов для чтения «в кругу семьи». Обнимаю Вас.

Ваш Владислав Ходасевич

37*

Трудовая артель
«Книжная Лавка Писателей»
Москва,
Леонтьевский, 16

Апреля 4, 1919 г.

Дорогой Борис Александрович!

Очень была тронута, получив Ваше письмо. Радуюсь ужасно, что Вы поправляетесь – авось Ваша будущая жена нам не помешает покататься еще на автомобиле.

В Москве жить очень плохо: холодно и голодно. Единственная моя отрада – это моя «лавочка»¹. Работаю в ней с большим удовольствием, а по праздникам без нее скучаю. Все мое мировоззрение на людей зависит от их отношения к «лавочке». Так, например, ненавижу Кожебаткина – он предпочитает советские магазины, которые у него в издательстве покупают на тысячи, а мы только на сотни, а потому он нам не дает новых книг – такое хамство!

Вообще наша «лавочка» почти «Литер[атурно]-худ[ожественный]. Кружок». Все московские писатели постоянно здесь бывают. Правда, их немного – уехали многие на Украину есть сахар – не люблю таких.

Красивые женщины тоже куда-то исчезли – должно быть, тоже уехали на Украину. Серпинская очень подурнела и занялась спекуляцией. Вообще я нигде не бываю – трамваев вечерами нет, да и за день перевидаешь столько людей, что вечером хочется только молчать и думать. Встаю рано, ложусь рано и назло всем цвету и толстею. Немножко влюблена – в кого не скажу (только, Бога ради, не думайте, что «он» футурист – не-на-вижу их)!

Стихи почти не пишу. Зато каждую строчку Владика научилась ценить – уж очень он у меня умен и хорош – и за что мне, грешнице, Бог такого мужа послал?!

Эдгар здоров, растет, учится в «трудовой школе» и летом со шко-

лой уезжает в детскую колонию в Полтавскую или Черниговскую губ. Очень стал самостоятелен и практичен – настоящее дитя нашего времени. Пишу это письмо в своей «лавочке» – прерывают каждую минуту, а потому очень извиняюсь за нелитературный стиль. Я здесь лицо нужное, недаром получаю 1500 р. в месяц. Ну, всего Вам хорошего. Очень я была довольна, что Вы меня вспомнили. Напишите еще, пожалуйста. Крепко жму Вашу руку – остаюсь дружески любящая Вас

София Бекетова-Ходасевич

38

(На бланке издательства «Всемирная литература»)

Москва, 10 февраля 1920 г.

Дорогой Борис Александрович.

Я был бесконечно рад получить Ваше хорошее письмо. Признаюсь, что не писал Вам вовсе не оттого, что собирался «порывать» с Вами. Усталость, занятость, чрезвычайная трудность Московской жизни – вот действительные причины моего молчания. Признаюсь еще в том, что, даже получив Ваше письмо, я не верил в возможность разрыва. То, что нас связывает, во много раз прочнее и неизменнее всего, что могло бы разъединить. В некотором смысле у нас с Вами общая родина: «Отечество нам – Царское Село»¹.

Просить у меня прощения Вам почти не за что. Немного обидно мне было прочесть Вашу фразу: «Я не знал, что Вы большевик». Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу. Но Вы знаете, что раньше я большевиком не был, да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как же Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, – могу примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно? Неужели Вы не предполагали, что, говоря Вам о сочувствии большевизму, я никогда не скажу этого ни одному из власть имущих. Ведь это было бы лакейство, и я полагаю, что Вы не сочтете меня на это способным.

Ну, да все это пустяки. Поставим на этом крест – и конец. Еще очень рад я Вашему доброму душевному состоянию. Дай Бог, чтоб оно углублялось и крепло. Еще дай Бог – нам с Вами поскорее увидиться. Тогда, может быть, Вы услышите от меня слова, которые писать долго и трудно, но которые многое Вам во мне объяснят, хотя, по-

жалуй, покажутся как будто противоречащими моему «большевизму».

В Вашем сборнике с удовольствием приму участие. Когда надо будет прислать стихи – черкните. На ближайших днях выйдет моя книга². Тотчас, конечно, пришлю Вам.

Ваше письмо передал Белому в тот же день, как сам получил его от Гершензона.

«Ты сплетен ждешь, царица? – Нет их!»

– то есть и есть, да скучные. Сплетен не стало, остались одни дела. Впрочем, как-нибудь на досуге посплетничаю. Жду подробностей о Вашем житье. Анна Ивановна Вас целует, Эдгар тоже. Все мы Вас очень помним и очень любим.

Обнимаю Вас крепко.

Ваш всей душой

Владислав Ходасевич

О здоровье не пишете! Но радуюсь хорошему почерку.

39

Москва, 27 апреля 1920.

Дорогой Борис Александрович,

Вы, вероятно, негодуете на меня за молчание и неисполнение поручений. Но я не столь плох, как Вам кажется. Слушайте. Мне не хотелось *писать* Горькому о Вашем деле: не по лености не хотелось, а по тактическим соображениям. Наконец, дождался я его приезда и в первое же свидание сделал то, что мог. Посылаю Вам письмо Горького нижегородским исполкомщикам. Он говорит, что письмо (с которым Ваш батюшка¹ должен сам туда отправиться и переговорить с *председателем* Исполкома) должно подействовать... Необходимое примечание: в начале горьковского письма сказано: «Прилагая при сем письмо гр. Ал. Садовского». Здесь подразумевается прилагаемая записка Вашего батюшки, которую я показывал Горькому. Пожалуй, будет лучше, если Ваш батюшка перепишет эту записку, оставив в ней все по-прежнему, но *смягчив редакцию* последней фразы (но *сохранив* ее смысл).

Согласно Вашему желанию, я совершенно не упоминал Горькому о Вас. Он только спросил сам, идет ли здесь дело о Вашем отце. Я сказал: «да» – и ничего больше.

Буду бесконечно рад, если Вам удастся уладить дело. Пожалуйста,

известите меня о результатах.

Теперь второе. Никаких книг я Вам не достал. Книжную Лавку Писателей (из кот[орой]. я, впрочем, вышел еще в сентябре), кажется, на днях прихлопнут. Там паника, безумные цены и отсутствие нужных книг. «Логоса» нет, изд[ания] Сабашникова рублей по 600 за том и т.д. Однако, помню Ваши нужды и, если что подвернется – добуду.

Теперь вот еще что. Думаю, что необходимо Вам стать членом нашего союза². Это дает кое-какие блага, вроде *охраны библиотеки*, а м.б., и пайка. На днях все частные книгохранилища, сверх 500 томов, будут изъяты от владельцев во всей России. Члены Союза получают охранные грамоты. Поэтому пришлите-ка заявление по след[ующей] форме.

Во Всероссийский Профессиональный Союз Писателей
Такого-то, живущего там-то

Прошу принять меня в число членов Союза. Имею такие-то печатные труды (Перечислите несколько своих книг). Рекомендуют меня такой-то и такой-то. (Две фамилии, лучше всего из числа следующих: Гершензон, Ходасевич, А.М. Эфрос, Ю.К. Балтрушайтис). Ваша подпись.

За необходимость «рекомендации» не вздумайте обидеться. Это формальность, необходимая по уставу для всех, кто не состоял в числе членов-учредителей. Было курьезно, когда мне пришлось «рекомендовать» Горького и Брюсова. Заявление пришлите мне. Я дам его подписать «рекомендателям» и передам куда следует. Настоятельно советую сделать это *как можно скорее*.

О себе сообщу только то, что лишь 2-3 дня, как встал. Прележал 7 недель. Был у меня фурункулез: 40 нарывов на всем теле, один за другим³. Измучился и оброс бородой, что уморительно. Мои Вам кланяются. Будьте здоровы. Очень по Вас соскучился.

Обнимаю Вас.

Владислав Ходасевич

«Всемирная Литер.», Знам., М. Знаменский, 8, кв. 10

Дорогой Борис Александрович,
как нельзя более огорчило меня письмо Ваше, т.е. фраза в нем: «я очень плох». Убедительнейше прошу Вас: черкните, что это значит. Я не думал никогда, что Вы будете скакать козликом, но «я очень плох» – хуже моих ожиданий. Еще раз, *очень* прошу: напишите *обстоятель-*

но о своем здоровье.

Я все хвораю. 64 нарыва «посетили» меня. Изнурительно.

Еще вот что: мало благодарностей, это не важно, а важно то, чтоб отец Ваш чего-нибудь действительно добился. Сообщите о последствиях горьковского письма. Если оно не возымело действия, то не надо ли, чтобы отсюда кто-нибудь прикрикнул?

Заявление Ваше завтра передам Гершензону для подписи, а в пятницу – в Союз.

С Чулковым я не враждую, но – общего у нас мало, Вы знаете. У Профессорши скоропостижно умер профессор, от грудной жабы, тому назад с месяц.

Новостей нет. Из «Вс[емирной] Лит[ературы]» я ушел, т.е. из заведующих, – очень устал. Однако пишите мне на адрес «Вс[емирной] Лит[ературы]» – ибо я собираюсь менять квартиру. Итак, Знаменка, М. Знаменский, 8, кв. 10, «Вс[емирной] Лит[ературы]» – для X-ча.

Будьте же поздоровее. Обнимаю Вас

Владислав Ходасевич

Анна Ивановна шлет привет самый дружеский.

25 мая 1920, вторник

41

(Обрывок программы. На листке типографским способом напечатано)

Программа

Хор трубачей 1 Донского Казачьего полка. Музыка играет ежедневно. Разные оркестры. Начало музыки в 5 1/2 и до 10 час. веч.

Сегодня
1 отделение

1. Марш Флора муз. Зауэр
2. Попурри из оп. Евгений Онегин Чайковского
3. Вальс Синий Дунай Штрауса
4. Прогулка Калифа Турина

(На обороте листка карандашом почерком В. Ходасевича)

Как если бы мы были гомоскуалисты¹

На бульваре у грека Вы яичницу кушали.
Вы жевали изысканно, – я за Вами следил.
Но галантного сердца Вы – увы! – не подслушали, –
Вы спокойно обедали у решотных перил.

ПИСЬМА

* * *

А вдали золотилось пенсне Арцыбашева,
Златотлела заря, зарумянив закат.
Вы смеялись пикантно улыбкой пусташевой,
Отпивая из чашки густой шоколад.

Владислав Ходасевич
Род. 1886 г.

Примечания к статье «Памяти Б. А. Садовского»

Очерк-некролог был опубликован в газете «Последние новости» (Париж) 3 мая 1925 г., №1541. Слух о смерти Садовского оказался ложным.

Борис Александрович Садовской (настоящая фамилия Садовский, 1881–1952) – поэт, прозаик, историк литературы, мемуарист.

¹ Первое стихотворение Садовского «Иоанн Грозный» напечатано в нижегородской газете «Волгарь» в 1901 г.

² Ходасевич неточно назвал сб. «Косые лучи. Пять поэм» (М.: Изд. В.Португалова. 1914) и не знал книг Б.Садовского, вышедших после 1921 г.: «Морозные узоры. Рассказы в стихах и прозе». (Пг.: Время. 1922) и «Приключения Карла Вебера. Роман». (М.: Федерация. 1928)

Больше шестидесяти лет произведения Садовского не публиковались, имя его забылось, но с начала 90-х годов появилась не только книга избранной прозы «Лебединые клики» (М., 1990), подготовленная знатоком и любителем творчества Садовского – С.В.Шумихиным, но и целый ряд повестей, романов, рассказов, оставшихся в рукописях. С.В.Шумихин опубликовал роман «Пшеницы и плевелы» (Новый мир. 1993. №11) и повесть «Александр Третий» (Новое литературное обозрение. 1993. №2).

Своеобразна и многожанрова мемуарная литература Садовского. Здесь и «Записки (1881–1916 г.)»; (Российский архив. М.: ТРИТЭ. 1991. Вып. I. Публ. С.В.Шумихина); и «Весы» (Воспоминания сотрудника), подготовленные Р.Л.Щербаковым (Минувшее: Исторический альманах. М. – СПб.: Феникс – Atheneum. 1993), и Дневники (Знамя. 1993. №7. Публ. И.Андреевой) и др.

Сам Садовской видел свое Собрание сочинений в семи томах и в Дневниках оставил подробнейший проект такого издания.

³ Статья Садовского «Кончина А.А.Фета (по неизданным источникам)» напечатана в журнале «Исторический вестник» (1915. М.: Т.140. Кн.4). см. также статью того же названия «Кончина А.А.Фета» (1913) в сборнике «Ледоход» (Пг.: Изд. автора. 1916).

⁴ Бартнев Петр Иванович (1829–1912) – издатель «Русского архива», историк литературы, собиратель и пушкинист.

⁵ Подробнее об этом см. в послесловии. В монархизме Б.А.Садовского,

ПРИМЕЧАНИЯ

в основе его лежало и эстетическое, а отчасти – эстетское чувство. См. в записной книжке 1901 г.: «Политические убеждения. 1. Мне дороже царя – Россия. Почему “идея самодержавия”. Красиво быть монархом. Право на жизнь и смерть. Красота произвола. Серость равноправия» (РГАЛИ. Ф.464. Qп.2. Ед.хр.27).

⁶ См. стихотворение Б.Садовского «Цари и поэты», где есть строфа:

Лишь пред тобой немела лира
И замолкал хвалебный строй,
Царь-мученик с лицом вампира,
Несчастный Николай Второй!

Садовской Б.А. Обитель смерти. М.: Изд. автора. 1917. С.48. (Напечатано в Нижнем Новгороде).

⁷ О «демонской» природе Брюсова Садовской не раз писал в Дневниках (1929–1934 гг.). Через весь Дневник проходят рассказы, воспоминания о Брюсове, записи «встреч» с его тенью, призраком на кладбище Новодевичьего монастыря.

Летом я в монастыре три раза видел тень Валерия Брюсова. Надо заметить, что на его могиле я так и не был. Однажды в полдень Надежда Ивановна (жена Б.А.Садовского. – *Коммент.*) повезла меня в кресле. Вдруг недалеко от колокольни вырастает спиной ко мне какое-то странное подобие человека, слегка трепещущее, точно огромный листок. Пролежанные лохмотья, легкая плешь на маковке. Неизвестный поворачивает голову направо, и я узнаю профиль Валерия. Свернув за колокольню, он исчез. Другой раз сидел я в сумерках у могилы Гилярова-Платонова. Вижу – идет Брюсов с дамой, на нем парусинная блуза, шляпы опять нет. У дамы вместо лица пятно. Не была ли это О.М.Соловьева? Третий раз Брюсов днем, уже в шляпе и пиджаке, шел в обратном направлении, то есть от ворот к стене (к ограде нового кладбища, где его могила). И в эти оба раза он поворачивал ко мне профиль, но не взглянул на меня. Вид в эти разы имел он вполне приличный, но уже старческий. А я его видел в последний раз в цвете сил и здоровья, в январе 1915 г., в Кружке. Я явился в бархатной куртке с длинными волосами.

– На себя не похожи, – сказал мне Брюсов.

Когда на вскрытии вынули ему мозг, у анатомов не оказалось ваты. Кто-то скомкал номер советских «Известий» и забил Брюсову в череп. С этим номером его и схоронили.

ПРИМЕЧАНИЯ

Между прочим, Сергей Соловьев на погребении родителей держался корректно и с большим спокойствием. Про мертвого Брюсова он мне сказал, что лицо покойника имело сходство с подстреленной хищной птицей.

РГБ. Ф.669. Карт. 1. Ед. хр. 12

26 сентября 1929 г., зная о гражданской панихиде по Брюсову, Садовской загодя устроился у его могилы и оставил подробный рассказ о собравшихся, закончив его тирадой:

Во всех фигурах есть какая-то пришибленность, ободранность. Я не говорю о величии, которое дается только породой, не об изяществе – результате воспитания – в этих людях, стадно толпившихся вокруг безвкусной могилы бездарного стихотворца и слушавших неизвестно зачем набор утомительных пошлостей, – было что-то сверхчеловеческое, какой-то сам по себе любопытный и поучительный букет идеальной лакейщины. Я думаю, их праотец Смердяков с негодованием бы от них отсекся. Ведь Смердяков читал Библию, уважал по-своему культуру, понял идею сверхчеловека, даже сумел повеситься.

РГБ. Ф. 669. Карт. 1. Ед. хр. 12

Примечания к письмам Б. А. Садовскому

Письма В.Ф.Ходасевича сохранил в своем архиве Б.А.Садовской. Ныне автографы находятся в РГАЛИ (Ф.464. Оп.2. Ед.хр.226). Впервые фрагменты и четыре письма полностью были опубликованы американским исследователем Мальмстадом в 1981 г. с обстоятельными комментариями (Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1981. P.467–496).

В приложении Мальмстад опубликовал также статью «Памяти Б.А.Садовского» и отрывок из очерка Ходасевича «Неудачники».

В это же время в Ленинграде российский исследователь Ходасевича Д.Б.Волчек (позже он стал одним из составителей и комментаторов Собрания стихов Ходасевича, изданных в «Библиотеке поэта»), поместил тексты писем в «Митином журнале», который выпускал для друзей. Журнал был машинописный и не выходил за пределы дружеского круга.

Подборку писем к Садовскому целиком (сорок – В.Ф.Ходасевича и одно А.И.Ходасевич. РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.226) подготовила И.Андреева, и они вышли отдельной книжечкой в издательстве «Ardis» в 1983 г.

В России они публикуются впервые: тексты их сверены с автографами, уточнены. Комментарии выправлены, дополнены и, надеюсь, освобождены от ошибок, которых в первом издании было много.

Мы сохранили сокращения В.Ф.Ходасевича, касающиеся, главным образом, названий газет и журналов, (но для удобства читателей раскрыли их в квадратных скобках), отсутствие кавычек и особенности правописания. Ходасевич писал «ПБург» (Петербург), иногда «кк», вместо «как». Из этих характерных черточек складывается эпистолярный стиль автора. Сам Ходасевич, печатая в «Современных записках» письма Андрея Белого бережно сохранил все особенности рукописи, объяснив: «В этом последнем обстоятельстве не следует видеть педантизма: поправки, описки, знаки препинания, а порой орфографические ошибки немало свидетельствуют о душевном состоянии пишущего.» (1934. Кн.LV).

¹ Сергей Алексеевич Соколов (псевд. С. Кречетов, прозвище Гриф, 1878–1936) – поэт, издатель, владелец издательства «Гриф», выпускавший альманахи того же названия. В них печатались Ходасевич и Садовской.

Ходасевич познакомился с ним весной 1902 г. «Был он тогда молодым помощником присяжного поверенного, я – гимназистом шестого класса. Ему было тогда двадцать три, мне – шестнадцать. Несмотря на разницу лет, положений, характеров, взглядов, мы подружились. Нас сблизило общее увлечение поэзией» («Памяти Сергея Кречетова», 1936). Очерк-некролог Ходасевич закончил словами: «Лично я обязан Кречетову вечною благодарностью за сочувствие, оказанное им мне в годы моей литературной юности: в 1905 г. он сам предложил мне дать стихи в третий альманах «Грифа»: это и было мое первое выступление в печати. В 1908 году он выпустил мою первую книгу стихов».

С. Кречетов был заведующим литературным отделом журнала «Золотое руно», а Ходасевич исполнял секретарские обязанности, надеясь получить место секретаря.

17 мая 1906 г. Соколов писал:

На тему секретарства скажу, что я лично ничего лучшего не желал бы, и этот проект мне *очень* улыбается! Иметь около себя, среди подводных скал «Руна», дружественную душу, которая не обманет и не продаст, – удовольствие высокой марки. Совершенно такого же мнения – Тароватый. Я уже говорил об этом Рябушинскому. Здесь возникает некая загвоздка. По-видимому, ему почему-то этот план не совсем улыбается. Он приводит тот довод, что Вы не знаете французского языка настолько, чтобы (как это часто делает Курсинский) писать ему разные деловые письма. <...> Дальше он выставил второй аргумент, что он «вообще привык всегда командовать служащими», на что я сказал, что, как думаю, будете ли секретарем Вы или иной человек интеллигентный, он будет обращаться с ним, как подобает культурному человеку с культурным. <...> Были даже возражения, что Вы будете отрываемы от работы частыми приходами Марины (первая жена Ходасевича – Марина Эрастовна Рындина. – *Коммент.*) в редакцию, на что я категорически ответил, что таковых не будет.

РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82

Через два месяца и сам Соколов ушел из редакции, разослав литераторам открытое письмо к Н.П.Рябушинскому, документ большой силы, в котором

ПРИМЕЧАНИЯ

проанализировал, как и почему «живой дух отлетел от “Золотого Руна”»:

И авторитет знания, опыта и утонченного вкуса Вы подменили грубым авторитетом денежной силы, которой подчинить Вы считали возможным все.

«Журнал мой», «Дело ведется на мои деньги», «Я здесь хозяин и не допущу противоречий», «Что хочу, то и делаю» – все эти выражения приобрели в Ваших устах право постоянного гражданства и стали Вашими обычными аргументами.

И Вы достигли Вашей цели. Редакции «Руна», о которой я мечтал, как о месте дружной товарищеской работы и вольного обмена мыслей и мнений, Вы придали образ и подобие «департамента литературных дел». Вам хотелось, чтобы Ваши помощники были чиновниками – «служащими», сотрудники – «просителями», а Вы – начальником. <...>

Не любя Искусства истинной любовью, смотря на него, как на забаву, как на свою личную прихоть, Вы *и не уважали Искусства*.

И венцом этого неуважения явилась Ваша «идея», о которой Вы особенно много твердили последнее время: «перевоспитывать», учить всех писателей, участвующих в «Русне», требовать от них, чтобы они писали не тем стилем, какой присущ каждому из них, а «тургеневским (!) слогом» (Вы называете это «вернуть литературу ко временам Тургенева»), и притом, *horribile dictu**, на «задаваемые» Вами каждому в отдельности особые темы.

Когда редактор журнала, *не заметив*, что этот журнал поставил на своем знамени Индивидуализм и Свободу творчества, решается посягнуть на эту Свободу и придумывает какую-то систему писания по рецептам и всесторонней бюрократической опеки над писательской личностью, нельзя назвать это ничем иным, как неуважением к Искусству и насмешкой над той литературной группой, что объединилась вокруг вышеназванных лозунгов.

РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 124

Копия письма была прислана и Садовскому.

В 1906 г. Соколов стал редактором журнала «Перевал», а Ходасевич – секретарем.

* Страшно сказать. (лат.)

¹ «Русская молва» – газета, начавшая выходить в Петербурге 9 декабря 1912 г. В ее создании принимали участие А.А.Блок, А.М.Ремизов (см. Дневники Блока за ноябрь – декабрь 1912 г.). По инициативе Ремизова Садовской приглашен заведовать отделом литературы в «Русской молве». Ходасевичу он предложил вести московскую литературную хронику, колонку, которая в газете называлась «Вести из Москвы».

² По вторникам обычно проходили собрания Московского литературно-художественного кружка (1898–1920), участником которого Ходасевич был с гимназических времен. См. его очерк «Московский литературно-художественный кружок» (1937).

³ Общество свободной эстетики, или Эстетика (1906–1917), организовано В. Я. Брюсовым, чтоб сузить слишком «многочисленную и пеструю» аудиторию Кружка. 20 декабря 1912 г. Брюсов пригласил выступить в Эстетике Игоря Северянина, в ту пору поэта малоизвестного. Об этом выступлении Ходасевич пишет в следующем письме.

⁴ 16 декабря 1912 г. в «Русской молве» опубликовано стихотворение Ходасевича «Прогулка», 25 декабря – «Досада», 13 января 1913 г. – «Ворожба». Все они вошли в книгу «Счастливый домик».

⁵ Одинокий (наст. фамилия Тиняков Александр Иванович, 1886–1934) – публицист, критик, поэт, автор трех сборников стихов: «Navis nigra» [«Черный корабль»] (М.: Изд-во «Гриф», 1912); «Треугольник. Вторая книга стихов. 1912–1921» (П.: Изд-во «Поэзия», 1922) и «Ego sum qui sum» [«Аз есмь сущий»]. Третья книга стихов. 1921–1922 гг.» (Л.: Изд. автора, 1924). Сам А.И.Тиняков, заполняя анкету для «Словаря современников» (7 ноября 1928 г.), отметил также работы: «Книга о Тютчеве» (изд. Парфенон, 1922), «Русская литература и революция» (1923) и несколько брошюр под псевдонимом «Герасим Чудаков», изданных в Казани в 1920 г.»

Садовской в письмах набросал шутливый портрет приятеля:

Экспромт

Кто говорит, что поэт – Тиняков?
 Циник, философ он просто:
 Греция – Невский проспект для него,
 Бочка – Васильевский остров.

25 января 1914

РНБ. Ф. 774. Ед. хр. 36

Ходасевич писал о Тинякове в очерке «Неудачники»:

ПРИМЕЧАНИЯ

Он был неизменно серьезен и неизменно почитителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. <...>

Со всем тем за смиренную внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал готовить первую книжку своих стихов, и, чем больше по виду смиренничал, тем жгуче в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «*Navis niger*» – и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «*Navis nigra*». К предстоящему выходу книги – готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга...» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним: должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

И книга вышла. Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами. Но это и было самое убийственное для Тинякова. Он ждал либо славы, либо гонений, которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одинокий не вынес. В душе он ожесточился.

Еще и раньше он порой пропадал из Москвы, где-то скитался, пил. Было в нем что-то от «подпольного» человека, растрavляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамazова, и не только для эпатирования публики (хотя был расчет и на эпатирование) писал:

ПРИМЕЧАНИЯ

Любо мне плевку-плевочку
По канавке грязной мчатся...

<...>

Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось – поступил на службу в Чека.

– Вы только не думайте ничего плохого, – прибавил он. – Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И, подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видал.

1935

Это характерное «хихиканье» запечатлел и М. Зощенко в повести «Перед восходом солнца», где А.И.Тинякову (А. Т-ву) посвящено несколько выразительных страниц.

На улицах Ленинграда писатель встречал его в образе нищего-поэта, который гордился этой ролью: «Должно быть, это его не угнетало. А может быть, даже и доставляло интерес, – с некоторым удивлением написал Зощенко. – <...> Образ этого поэта, образ нищего остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни» (Зощенко М.М. Собр. соч.: в 3 т. Т.3. Л., 1987. С.599).

В упоминавшейся уже анкете против пункта 13-го: «Служба и другие биографические данные» А. И. Тиняков вписал: «НЕ служил и не служу. С 1926 г., ввиду отсутствия литературной работы, занимался нищенством». «Нищенство» – вывел он и в графе «Любительские занятия» (РНБ. Ф.103. Ед.хр.141).

⁶ Рецензируя первую книгу стихов А. Тинякова «Navis nigra», Ходасевич писал:

Подчиненность г.Тинякова г.Брюсову является главным недостатком всей книги. Ее безусловное достоинство – подлинный лиризм автора. Можно сочувственно или враждебно относиться к идеям г.Тинякова, но нельзя не признать, что он никогда не опускается до холодного выдумывания стихов, до писания ради писания, до стихотворного жонглерства, получившего столь широкое распространение в последние годы. Переживания г.Тинякова подлинны, – и это заставляет читателя примириться с их немного наивным демонизмом.

Стих г.Тинякова довольно жесток, отрывист, немзыкален, но в нем чувствуется серьезная работа, которая, думается, со временем даст хорошие результаты.

«Утро России». 1912. №271. 24 нояб.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рец. вошла в кн.: Владислав Ходасевич. Собр.соч. Под редакцией Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Ардис; Анн Арбор, 1990. Т.2. Сегодня это наиболее полное собрание рецензий и статей Ходасевича, опубликованных в периодических изданиях 1905–1926 гг. В дальнейшем мы не будем делать ссылок на Собр.соч., а указываем место первой публикации.

⁷ Ньюра – здесь и дальше: Анна Ивановна Чулкова (в первом браке Гренцион, во втором – Ходасевич, 1885–1964). Садовской был знаком с ней до того, как она стала женой Ходасевича, – в его записной книжке она вписана как «Анна Ивановна Брюсова». У него сложились с ней свои, особые отношения. 14 июня 1929 г. он пишет ее брату Г.И.Чулкову: «Прошу Вас, уважаемый Георгий Иванович, передать Анне Ивановне (если она в Москве), что я очень хотел бы ее видеть. Надеюсь, что и Вы заглянете ко мне. Адрес зимний, т.е. Новодевичий монастырь, корпус 7, кв. 35» (РГБ. Ф.371. Карт 4. Ед.хр.52). Вероятно, когда Садовской поселился в Новодевичьем монастыре, А.И.Ходасевич навещала его.

3

Письмо не датировано. На обороте странички помета дрожащим почерком Садовского: «21 дек. 1912».

¹ Софья Исааковна Чацкина – издательница журнала «Северные записки» (Петербург, 1913–1916). Садовской сотрудничал в журнале и рекомендовал Ходасевича как поэта и переводчика.

² В №17 «Русской молвы» от 25 декабря 1912 г. был опубликован репортаж Ходасевича о вечере Игоря Северянина в Обществе свободной эстетики, подписанный «В.Х.». Этой заметкой открывается тема, живо волнующая Ходасевича в течение нескольких десятилетий: о футуризме как литературном течении, о природе новаторства.

...Ждали «ужасов», но их не было. Были стихи несомненно даровитого, несомненно смелого и подлинного поэта, но те, кто ждал от Игоря Северянина чего-то невероятного, какого-то почти «чуда», – те были разочарованы. Игорь Северянин не свалился с луны, не вышел из морской пены, не родился из головы Зевса, как Паллада Афина. У него есть определенная поэтическая родословная. <...>

Если футуризм Игоря Северянина – только литературная школа, то надо отдать справедливость: чтобы оправдать свое имя, ей предстоит сделать еще очень многое. Строго говоря, новшества ее коснулись пока одной только этимологии. Игорь Севе-

ПРИМЕЧАНИЯ

рянин, значительно расширяющий рамки обычного словообразования, никак еще не посягнул даже на синтаксис. Несколько синтаксических его «вольностей» сделаны, очевидно, невольно, так как являются просто-напросто варваризмами и провинциализмами, каковыми страдает и самое произношение поэта. Например, он говорит: бэздна, смэрть, сэрдце, любов.

<...> В Игоре Северяnine весьма удивил нас несомненно ему присущий и подчеркиваемый морализм. Борьбу с отжившими моральными формулами, очевидно, полагает Игорь Северянин насущной своей задачей. Но именно потому-то эти формулы и отжили век свой, что они уже давно разрушены. За пределы же морали Игорь Северянин не посягает, и, по-видимому, – футуризму надо еще ждать да ждать философского своего *credo*.

Ходасевич читал доклады о творчестве Северянина на первых поэтоконцертах поэта в Москве 30 марта и 15 апреля 1914 г., собравших полный зал Политехнического музея.

Свои мысли о футуризме и поэзии Игоря Северянина Ходасевич развил в статьях «Игорь Северянин и футуризм» (Русские ведомости. 1914 г. 29 апр. и 1 мая) и «Русская поэзия» (альм. «Альциона». М., 1914). Завершит «северянинский» цикл статья, названная Ходасевичем «Обманутые надежды» (Русские ведомости. 1915. №213. 18 сент.).

³ Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) – поэт, писатель, публицист, знакомый Ходасевича и Садовского (Садовскому он посвящал стихи), в 1908 г. он входил в кружок «Сердарда», в 1911–1912 гг. занимался в «ритмическом кружке» под руководством Андрея Белого.

4

¹ Два рассказа, о которых упоминает Ходасевич, – это «Сигары синьоры Конти», опубликованный в «Голосе Москвы» в 1913 г., (14 апр. №87) и переводной рассказ Мериме «Федеригго». Ходасевич лукавит, обращаясь за советом, можно ли, прилично ли печататься в газете, представлявшей крайнюю правую партию «Союз 17-го октября». 21 октября 1912 г. он опубликовал в приложении к газете «Голос Москвы» – «Иллюстрированном обозрении» – рецензию на сб. «Звездные песни» Н.Морозова, подписавшись «В. Д-цев»; 29 декабря в «Голосе Москвы» фельетон «Чему свистите?», прикрывшись псевдонимом П.Семенов. Псевдонимы были «одноразовые», больше он их не использовал. И позже, регулярно печатаясь в «Голосе Москвы», он несколько месяцев подписывал рецензии и заметки криптонимами: «В.Х.», «В.Х-ч», но с середины 1913 г. стал подписываться собственным именем.

ПРИМЕЧАНИЯ

² Садовской печатался в «Голосе Москвы» в 1907–1908 гг.

³ Витольд – здесь и дальше: Витольд Францевич Ахрамович (псевд. Ашмарин, 1882–1930) – поэт, переводчик, секретарь издательства «Мусагет». Человек бурной судьбы, много раз менявший верования, политические пристрастия, занятия: в 1901 г. исключен из Московского университета за участие в студенческих волнениях, выслан в Балагинск, Нижнеудинск, затем ссылка в Нижний Новгород, где Ахрамович продолжает заниматься политическим просвещением рабочих; символист, католик. После революции увлекся кино и вместе с режиссером В. Гардиным образовал группу «Левых», а с 1918 г. в Белоруссии он – секретарь ревкома, работник ЧК, редактирует газету «Звезда»; в 1921–1929 гг. служил в ОГПУ, затем сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).

В 1930 г. застрелился на скамейке Петровского парка.

⁴ С сентября 1912 г. в Малом театре шли репетиции пьесы Ал. Толстого «Насильники», премьера которой ожидалась в феврале 1913 г.

5

¹ Две заметки – «Вечер литераторов» (о бале московской прессы), подписанная псевд. Сигурд (1912. №11 19 дек.) и «Игорь Северянин».

6

¹ А. Блок записал в Дневнике 10 января 1913 г.: «А. М. Ремизов сообщил между прочим, что Садовского выгнали из «Русской молвы», но он относится к этому добродушно – есть Чацкина» (Блок А.А. Собр.соч.: В 8 т. М.-Л., 1963. Т.7. С.206).

² К 3 марта первый номер «Галатеи», задуманной Садовским как журнал поэзии и критики, был уже готов; в нем принимали участие близкие Садовскому поэты: А.Конге, М.Долинов, В. Юнгер, А. Кондратьев и А. Тиняков. Обещал дать стихи Блок, велись переговоры с Брюсовым.

³ Ариадна Владимировна Тыркова (1869–1962) – писательница, журналистка, редактор газеты «Русская молва».

⁴ Рассказ Мериме «Федеригго», посланный в «Русскую молву», принят не был. Впервые Ходасевич опубликовал его в 1916 г. в газете «Утро России». (№101. 10 апр.) В 1922 г. он был опубликован снова в журнале «Петербург», №2; переводчиком на этот раз выступила София Бекетова. София Бекетова – псевдоним А.И.Ходасевич, которая изредка публиковала свои стихи.

⁵ Эпиграф из стихотворения Бунина «Одиночество» (1903).

⁶ «Сатирикон» – популярный юмористический журнал (1808–1914).

⁷ Ходасевича забавляло то почтение, которое вызывало у окружающих

избрание И.А.Бунина почетным академиком Российской Академии наук (1909 г.). Так, например, в третьем выпуске «Известий литературно-художественного кружка» (январь 1914 г.) появилось сообщение, что 31 октября 1913 г. «состоялся подписной ужин в честь Академика, Почетного члена-корреспондента Ивана Алексеевича Бунина по случаю его отъезда из Москвы».

7

¹ К Брюсову Ходасевич обращался по просьбе Садовского за стихами для «Галатеи». Брюсов в ту пору был заведующим литературного отдела журнала «Русская мысль»; П.Б.Струве (1870–1944) – редактором журнала.

1912–1914 гг. – наиболее уравновешенный, зрелый период в отношениях Брюсова и Ходасевича. Он познакомился с Брюсовым мальчиком-гимназистом, был влюбленным читателем его стихов; мечтал рядом с ним, в «Весах» отстаивать символизм; книгу «Счастливый домик» подарил, надписав: «Глубокоуважаемому Валерию Яковлевичу Брюсову, моему учителю, с чувством неизменной любви к его творчеству. Владислав Ходасевич. 1914. февр.» (РГБ. Ф.386. Кн. Ед.хр.1433).

Раннюю поэзию Брюсова ценил выше всего и на выход первого тома Собрания сочинений откликнулся рецензией в журнале «София» (1914. №2):

Хотя символизм, в смысле литературной школы, и не одному Брюсову обязан своим развитием и своим отныне неодолимым влиянием на последующую нашу поэзию, – несомненно, однако же, что именно Брюсов был его истинным зачинателем. Литературная деятельность некоторых адептов школы хронологически началась раньше деятельности Брюсова, но все они пришли к символизму не сразу, а постепенно. Брюсов начал с него – и символизм начался Брюсовым. <...>

Кажется, со времен «Chefs d'œuvre» нам дано достаточно поводов перестать удивляться чему бы то ни было, – но вот юношеские строки Брюсова до сих пор поражают своеобразной своей остротой. Как сочетается в них мечта и банальность, прекрасное и грубое, вечное и мгновенное – мы не знаем, и это делает их драгоценными и живыми навсегда, ибо они никогда не перестанут волновать нас.

И Брюсов нашел в «Счастливом домике» Ходасевича, кроме «совершенной современной остроты переживаний», «ряд прекрасно написанных стихотворений», «благородство выражений и благородство ритмов» (Продол-

ПРИМЕЧАНИЯ

жатели. // Русская мысль. 1914. Кн.7. Отд. II. С.20). Затем оценки Брюсова делаются суше, а зрелые сборники Ходасевича – «Путем зерна» и «Тяжелая лира» – вызывают неприятие и раздражение: «...стихи эти больше всего похожи на пародии стихов Пушкина и Баратынского. Автор все учился по классикам и до того заучился, что уже ничего не может, как только передразнивать внешность» (Среди стихов. // Печать и революция. 1923. №1. С.73–74; см. также: Художественное слово. Кн.1).

Самоубийство Нади Львовой стало тем «магическим кристаллом», который помог Ходасевичу увидеть и понять Брюсова. Этот новый взгляд на Брюсова отразился в рассказе «Заговорщики». Главного персонажа рассказа, вождя политического заговора, имевшего магнетическое влияние на членов тайного общества и из-за непомерного честолюбия ставшего предателем и убийцей, автор наделил привычками, чертами, особенностями Брюсова. «Заговорщики» – первый, черновой вариант портрета Брюсова, многими деталями совпадающий с очерком «Брюсов» в «Некрополе».

² Николай Георгиевич Машковцев (1887–1962) в 1912 г. печатал в «Русской мысли» статьи о художественных выставках; искусствовед, автор монографий о Брюллове, Боровиковском, Венецианове, Кипренском, Федотове, Сурикове и др.

³ Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884–1942) – владелец издательства «Альциона», выпускал книги Садовского и Ходасевича.

⁴ В газете «Русская молва» 10 декабря 1912 г. появилась заметка:

Издательство «Альциона» в Москве с 1913 г. предполагает печатать изданием новый критико-библиографический ежемесячник «Мнемозина». В нем будут помещаться статьи о старой и современной литературе, рецензии, заметки и исторические материалы (письма, дневники и проч.). Как слышно, в «Мнемозине» примут участие главные силы «Весов» (1904–1909).

Издание не состоялось.

⁵ В январе 1913 г. С.Городецкий и Н.Гумилев выступили в журнале «Аполлон» со статьями, провозгласившими новое литературное течение, пришедшее на смену символизму, – акмеизм: Н.Гумилев, – «Наследие символизма и акмеизм», С.Городецкий – «Некоторые течения в современной русской поэзии».

⁶ Ходасевич имеет в виду рецензию Садовского на книгу Гумилева «Чужое небо». Она начиналась словами:

О «Чужом небе» Гумилева, как о книге поэзии, можно бы не говорить совсем, потому что ее автор – прежде всего *не поэт*. В сти-

ПРИМЕЧАНИЯ

хах у него отсутствует совершенно магический трепет поэзии, веяние живого духа, того, что принято называть вдохновением...

Далее Садовской писал, что

...стихотворения г.Гумилева не плохи: они хорошо сделаны и могут легко сойти за... почти поэзию. Вот в этом-то роковом *почти* и скрывается непреходимая пропасть между живой поэзией и мертвыми стихами г.Гумилева. Бриллианты Тэта тоже почти настоящие: в виде рекламы желающим предоставляется выбрать среди поддельных сокровищ один подлинный алмаз. Но в книге г.Гумилева не найти и одного бриллианта: сплошь стеклярус, подделанный подчас с изумительным мастерством.
Современник. 1912. №4. С.364

Садовской писал Тинякову 8 октября 1912 г.: «Кланяйтесь А.А.Блоку, если его увидите. Вот, по-моему, единственный у нас поэт. Гумилев же мне одинаково антипатичен и как человек и как художник» (РНБ. Ф.774. Ед.хр.36). И вспоминал в «Записках»:

Н.С.Гумилев в литературе был мой противник, но встречались мы дружелюбно. При первом знакомстве в «Бродячей Собаке» изрядно выпили, зорко следили друг за другом.

– Ведь вы охотник?

– Да.

– Я тоже охотник.

– На какую дичь?

– На зайцев.

– По-моему, приятней застрелить леопарда.

– Всякому свое.

Тут же Гумилев вызвал меня на литературную дуэль: продолжить наизусть любое место из Пушкина. Выбрали секундантов, но поединок не состоялся: всем хотелось спать.

Российский архив, М.1991. С.182. (I)

⁷ Стихотворение Ходасевича «На даче» и вообще стихи за подписью «Елисавета Макшеева» в «Сатириконе» в 1913 г. не появлялись.

¹ Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) – поэт, переводчик, при-

ПРИМЕЧАНИЯ

мыкал к одной из группировок русского футуризма. О его сб. «Carmina» («Стихи») Ходасевич отозвался в газете «Голос Москвы»:

«Если вернуть из его книги каждому современному поэту то, что у него заимствовано, – от самого автора не останется ничего, кроме усидчивости и аккуратности – качеств весьма похвальных, но не делающих поэтом того, кто обладает только ими» (1913. №55. 7 марта).

Позже, оценивая сборники стихов Шершеневича «Автомобилья поступь» и «Быстрь», Ходасевич отмечал, что поэту «плохо удастся лишить свои стихи содержания» и, чтобы не отстать от футуристов, он стремится «затемнить» мысль. Критик выражал надежду, что со временем Шершеневич «будет вспоминать свой футуризм как один из экспериментов». (Утро России. 1916. №30. 30 янв.) И оказался прав: Шершеневич стал теоретиком имажинизма.

² В №№1, 2 журнала «Русская мысль» за 1913 г. печаталась повесть Бориса Садовского «Княгиня Зенеида».

³ Каземир Здоховский (1878–1942, погиб в Освенциме) – польский прозаик, автор трилогии «Перемены», «Зарево», «Почва». Какой роман собирался переводить Ходасевич – неизвестно. Здоховский учился на юридическом факультете Московского университета. 1 августа 1912 г. в библиографическом журнале «Бюллетени литературы и жизни» ему посвящена статья «Современная польская литература и ее “непольский” представитель», в которой Здоховский представлен русским читателям как оригинальнейший беллетрист молодой Польши.

9

¹ Любовь Яковлевна Гуревич (1866–1940) – писательница, литературный критик, после ухода Б. А. Садовского из «Русской молвы» стала заведующей литературным отделом газеты.

13 марта 1913 г. Ходасевич обратился к А.М.Ремизову с просьбой помочь ему или опубликовать рассказ, или вызволить из «Русской молвы» рукопись:

Уходя из «Молвы», Б.А.Садовской сообщил мне, что остальные рукописи следует направлять к А.В.Тырковой. Я так и сделал, по-слав ей переведенный мною рассказ *Мериме* – «Федерико». Было это 12-го января. Никакого ответа я не получил, но в Москве мне сказали, что литер. отдел ведает уже не А.В.Тыркова, а Л.Я.Гуревич. Тогда, 8 февраля, я запросил о судьбе рассказа г-жу Гуревич. Ответа нет. Если Вы бываете в «Молве», то не узнаете ли, в великое мне одолжение, собираются они печатать мой перевод или нет. В последнем случае пусть хоть рукопись-то вернут! <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

Скоро Пасха. Если «Русская молва» не хочет печатать рассказ, то я пристрою его в какую-нибудь здешнюю газету – благо действующие в нем лица – Христос с апостолами. Но, может быть, – сама «Молва» его напечатает? Во всяком случае я не хочу, чтобы труд мой пропал даром.

ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. №1663

² Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) – в юности прошел через увлечение политической деятельностью, студентом выслан в Пензенскую губернию и, так как продолжал агитационную работу среди рабочих, посажен в одиночку, выслан в Усть-Сысольск, куда 1000 верст добирался в кандалах. После ссылки ему запрещено жить в столицах, и в течение двух лет он с женой и дочерью кочевал по югу России. Только в 1905 г. Ремизову разрешено поселиться в Петербурге, где он стал заведующим конторой журнала «Вопросы жизни». Его литературные опыты долго не находили признания. В 1911–1912 гг. выходят Сочинения А. М. Ремизова в семи томах, появление которых Садовской приветствовал статьей «Настоящий» (Современник, 1912. №5).

10

¹ Отчет об этом собрании («У эстетов») напечатан в «Голосе Москвы» 26 апреля 1913 г. В докладе «Весна или осень в русской поэзии» поэт Николай Бернер доказывал, что приемы классики и символизма изжиты, ненужны.

– Мы, и только мы, футуристы, стоим на распутье. Мы не признаем никого до нас, и нам нет никакого дела до любимцев веков, до мавзолеев культуры.

– Жрецы новой веры – футуризма, мы без боязни выступаем в крестовый поход.

«Из речи оппонентов, – заключал автор заметки, – заслуживает внимания только речь В. Брюсова, сущность которой может быть выражена его же фразой: «Бессмысленные слова никогда не будут поэзией».

В 1922 г. Н. Бернер посвятил В. Брюсову стихотворение:

Брюсов-певец, из мастеров терпеливейший мастер.
Опытом всех превзойдя, римскою тогой гордись.
Не Маяковщина, нет, даже не Блока «Двенадцать»
– Муза классических форм вычертит поступь судеб.
Переживем как-нибудь и балаган недоучек,

ПРИМЕЧАНИЯ

Переживем палачей кисти, пера и резца.
Скифские годы пройдут, имажинистские годы...
Только душа – что алмаз, магом граненных стихов.

Бернер Н. Осень мира. Киев.: Изд. И.М.Слуцкого, 1922. С.7

² Генрих Эдмундович Тастевен (1880–1915) – критик, переводчик, журналист, автор книги «Футуризм» (М.: Ирис, 1914). Сообщение о его лекции «Последние течения в искусстве» появилось в «Голосе Москвы» 30 апреля 1913 г. Среди выступавших в прениях названо имя Ходасевича.

³ 20 июля 1913 г. Ходасевич сообщал Г.И.Чулкову:

Начинаю писать книжечку (будет в ней листов 5), за которую историки съедят меня живьем. Она будет посвящена Павлу I. Хочу доказать, что на основании того же материала, которым пользовались разные профессора, можно и должно прийти к выводам, совершенно противоположным их выводам. Но до сих пор я только читал. Теперь собираюсь взяться за перо и думаю, что в месяц или полтора напишу все.

РГБ. Ф. 371. Карт.5. Ед.хр.12

План исторической монографии о Павле I, наброски и материалы опубликованы А. Зориним в приложении к книге Ходасевича «Державин» (М.: Книга. 1988). Неопубликованными остались заметки к теме «Гамлет и Павел»: на одной половине листа Ходасевич выписывал цитаты из «Гамлета», на другой – соответствующие ситуации в судьбе Павла I. Память К.Г.Локса сохранила предположительное название книги Ходасевича «Гамлет на троне». Нереализованный замысел оставил глубокий след, судя по тому, что десятилетия спустя, уже в Берлине, Ходасевич писал В.Я.Ирецкому по поводу его рассказа, присланного в «Беседу»:

Знаете ли Вы, что когда Павел был в Вене, в честь его должен был состояться парадный спектакль? Выбрали «Гамлета». Но актер (не помню фамилии) отказался выступить в этой роли, не желая играть Гамлета перед живым Гамлетом. Павел узнал об этом и послал ему денежный подарок. Я когда-то Павлом занимался много. <...>

Поищите эту историю в переписке Моцарта с отцом и, если найдете, то не сделаете ли изменений в рассказе?

7 апреля 1925

РГАЛИ. Ф.2227. Оп.1. Ед.хр. 189

⁴ В «Северных записках» (1913. №8) напечатано стихотворение Ходасевича «Увы, дитя...» и стихотворение З.Красиньского в переводе Ходасевича «Ужель в последний раз...».

12

¹ Почти в тех же словах описывает В. Маяковского в 1913 г. и Садовской. См. его статью «Футуризм и Русь»:

Теперешний, находящийся при последнем издыхании футуризм дает две резкие фигуры, ожидающие своего Салтыкова: кентаврообразного детину-апаша в цветной рубашке, не умеющего связать двух слов и перо в руке держащего, как томагавк, и тощего недоростка с жидким пробором, в модном смокинге с игрушкой в петлице и смердяковской до ушей улыбочкой на скопческом лице»

Садовской Б.А. Озимь. Статьи о русской поэзии. Пг.: Изд. автора, 1915. С.30

Интенсивный, насыщенный гнев, с каким Ходасевич изображает явление Маяковского, высекает у него замечательный неологизм вполне в футуристическом духе: «кабафут», то есть шут (фут) из кабаре. В этом емком слове заключено и кабаре, в котором выламывается футурист – «декольте-Маяковский», и отголосок слова «каботинство» (коккетства, пошлости, претензии), но и слова «кубофутуризм» («кубофут» – «кабафут»).

Оно восходит к манифесту Маринетти «Музик-холл», отводившем особое место мюзик-холлу как школе пародий всех традиций, где можно «систематически протитировать всякое искание классического».

И в более позднем портрете Маяковского сохранены ритм и краски шута, балаганного фокусника:

Маяковский, напротив, явился с известным запасом мыслей, окрашенных очень ярко. <...> Мир идей он подверг быстрому и решительному пересмотру – сложное упростил, тонкое огрубил, глубокое обмелил, возвышенное унизил и втоптал в грязь. Разумеется, Богу досталось в особенности. Интеллектуальная улица обрела в нем своего глашатая.

«Литература и власть в сов. России»

² Александр Яковлевич Брюсов (1885–1966) – младший брат В.Я.Брюсова, соученик Ходасевича по 3-й гимназии и его близкий приятель. В молодости

ПРИМЕЧАНИЯ

писал стихи, рецензии, переводил, печатался в альм. «Гриф», журнале «Перевал» и т.д. Под псевдонимом «Alexander» выпустил книгу стихов «По бездорожью» (М., 1907). В «Литературных воспоминаниях» А. Брюсов пишет:

К этим же годам относится мое знакомство с Владимиром Владимировичем Маяковским. В то время он только что входил в литературу. Это вступление чем-то напоминало то, как входили в литературу первые русские символисты. В нем также звучал вызов буржуазному обществу. <...>

Я не собираюсь описывать здесь юношеские выходки Маяковского и его друзей, вроде «Вечера мерцаний», устроенного в аудитории Российского Исторического музея, или прогулки во фраках и цилиндрах по окраинам Москвы.

Север. Петрозаводск, 1965. №4. С.3.

³ Александр Арнольдович Койранский (1884–1968) – поэт, критик, художник, переводчик. Он был близким другом Муни, в студенческие годы делил квартиру с Александром Брюсовым, писал там портрет Ходасевича. В последние годы жизни, живя в Сиэтле (штат Вашингтон, США), он вел переписку с М.В.Вишняком, вспоминал годы «хулиганской молодости», Ходасевича, Александра Брюсова, сестер Чулковых – Любочку и Нюру – круг людей, близких Ходасевичу. О футуристах и Маяковском не упомянул ни разу. В письмах А.Койранского важны и выразительны детали, заметки на полях, он отмечает характерные черточки времени, такие, как «скабрезная атмосфера эпохи». Осмысливая итог прожитого, А.Койранский писал:

Разбираться, кто прав, кто виноват? – Чихал ли больной перед смертью? Не виню никого. Никакой образ действий не мог быть правильным. Нет правильных войн и правильных революций. <...> Уже нет России и никогда не будет, как никогда не будет Римской империи. Всему бывает конец. Системы государственности не могут оперировать с теорией случайности, с роком. За право говорить вслух, что думаем, за право менять белье и пользоваться горячей водой и мылом мы заплатили долгими годами изгнания. И как знать, выиграла мы или проиграли?

18 октября 1959

Гуверовский институт (Стэнфорд). Ф.Вишняка

⁴ Владимир Осипович Гиршман (1867–1936) – фабрикант, поклонник модернистского искусства. Он и его жена – постоянные посетители Литературно-художественного кружка и Эстетики, в которой Гиршман был казначеем.

ПРИМЕЧАНИЯ

⁵ Муни – псевдоним Самуила Викторовича Кисина (1885–1916) – поэта, прозаика, драматурга, опубликовавшего едва ли двадцать стихотворений, тем не менее в творчестве Ходасевича он оставил глубокий след: до последних лет он цитирует Муни в письмах, очерках, статьях. См. статью И. Андреевой «Огромной рифмой связало нас...» (К истории отношений Ходасевича и Муни) в журнале «De visu» (1993. №2).

⁶ К этому времени история с «Галатеей» развернулась следующим образом: в отсутствие Садовского в Петербурге его молодые коллеги стали по-своему распоряжаться материалами. А. Конге написал Садовскому 3 марта 1913 г., что статью о Суворине пришлось выпустить, что во второй номер он предполагает дать прозу, что по делам «Галатеи» часто бывает у Рославлева, «которого пришлось включить в число сотрудников» (РГАЛИ. Ф.464. Оп.1. Ед.хр.73).

Это вызвало возмущение Садовского. Он отправил ультимативное письмо на имя А.И.Тинякова с просьбой прочитать его сотрудникам:

Теперь прошу Вас *официально* передать от моего лица гг. Долинову и Конге, что я: 1) отказываюсь признать «Галатею» редактированной мной, о чем, по выходе книги, оповещу в газетах; 2) переносу «Галатею» в Москву, где буду руководить ею лично, при участии приглашенных мною лиц. У меня есть на примете меценат, а в мое отсутствие заведовать делом будут Ходасевич и Анисимов...

РНБ. Ф.774. Ед. хр. 36

⁷ Михаил Фелицианович Ходасевич (1865–1925) – старший брат Ходасевича. Видный московский адвокат, любитель литературы, искусства, действительный член Литературно-художественного кружка. Коллекционировал иконы, картины. См. о нем в воспоминаниях его дочери Валентины Ходасевич «Портреты словами» (М., 1987).

⁸ Строка из стихотворения В. Брюсова «Грядущие гунны» (1904–1905).

⁹ «Великий маг» – В.Я.Брюсов. С легкой руки Андрея Белого это звание надолго приклеилось к имени Брюсова или даже замещало его. См. стихотворение Андрея Белого «Маг» (1904, 1908), обращенное к Брюсову. На этом стихотворении, которое для Ходасевича было воплощением «идеального Брюсова», брюсовского мифа, он построил рецензию на книгу Брюсова «Семь цветов радуги»:

Мне уже случалось подчеркивать, что любовь к литературе, к словесности, та самая, за которую так любит упрекать Брюсова обывательски-дилетантская критика, в действительности явля-

ПРИМЕЧАНИЯ

ется одним из прекраснейших свойств его музыки. Моменты творчества для него самые острые, самые достопамятные в жизни. *Жить* значит для него: быть поэтом. <...>

Может быть, лишь теперь Брюсов раскрепощает в себе человека, «только» человека, «из плоти и из крови», того, который доныне в его творчестве был подчинен поэту и в «идеальной природе», созданной грезой, жил не так, как хотел и мог, а так, как *должен* был жить в суровом подвиге поэтического служения. Как Петербург – «самый умышленный город в России», так Брюсов был среди нас самый умышленный человек. Как по манию царя город вознесся «из тьмы лесов, из топи блат», так из заветной брюсовской Повседневности встал по воле поэта не совсем настоящий, «идеальный» Брюсов, такой, каким он представлен на Врубелевом портрете, – каким описал его Андрей Белый:

Застывший маг, сложивший руки, –
и в другом месте:

Бледный оборотень, дух...

Я хотел бы, чтобы такой день как можно дольше не наступал, но все-таки такой день однажды настанет: явится биограф Брюсова. И думаю, что этому исследователю во что бы то ни стало придется считаться с намеченным различием между идеальным, умышленным Брюсовым и Брюсовым, жившим в нашей действительности. Может быть, именно в связи с этим различием и будет вскрыта трагедия его творчества.

Утро России. 1916. №141. 21 мая

¹⁰ К. Бальмонт вернулся в Москву 5 мая 1913 г. после семилетнего пребывания за границей, которое он расценивал как политическую ссылку. Торжественная встреча ждала его на Брестском вокзале. 7 мая Бальмонта чествовали в Обществе свободной эстетики. Ходасевич опубликовал в «Голосе Москвы» заметку «Привет поэту». (1913. №103. 5 мая)

¹¹ Шутливый намек на прибытие Николая II в Нижний Новгород в связи с празднованием 300-летия дома Романовых. Садовской отнесся к этому событию как к очень торжественному и значительному. Тинякову он писал:

17-го Мая имел счастье представляться Государю Императору в Дворянском собрании. Прилагаю портрет мой в летней дворянской форме. Государь имеет вид свежий и цветущий. И Он,

ПРИМЕЧАНИЯ

и Августейшее семейство очаровали всех, многие не могли удержаться от слез. Государь-наследник обаятельно прекрасен и вполне здоров. Его Величество изволили пить за здоровье нижегородских дворян, мы отвечали нескончаемым «ура» и многократным пением гимна.

Знаю, что Вы поймете меня и разделите высокие чувства подлинного патриотизма. Ибо, как молвил Фет:

В Элизии цари, герои и поэты,
А темной черни нет.

10 июля 1913

РНБ. Ф.774. Ед хр.36

¹² Гарри, Эдгар Гренцион – сын А. И. Ходасевич от первого брака. Стал актером: играл в театрах, снимался в кино. Наиболее известная из ролей – Карл XII в картине «Петр Первый». Свое имя превратил в псевдоним – Э. Гаррик.

13

¹ 20 мая 1913 г. в газете «Голос Москвы» появилась заметка:

В Москве предполагается с осени издание журнала «Галатей», ежемесячника нового типа, где будут только стихи и критические статьи. Журнал будет издаваться под «дружеской редакцией Б.Садовского и В.Ходасевича».

² Янтарев (псевд. Ефима Львовича Бернштейна, 1880–1942) – поэт, журналист, работавший корректором, публиковавший репортажи, хронику, заметки в газетах «Голос Москвы», «Утро России», «Московской газете» и др.

³ «Труды и дни» (1912–1916) – журнал, созданный коллективом издательства «Мусaget». «Первое специальное назначение журнала, – оповещала редакция во вступительной статье, – способствовать раскрытию и утверждению принципов подлинного символизма в области художественного творчества». Авторами его были Вяч. Иванов, Андрей Белый, А.Блок, Э.Метнер и др. Печатался в журнале и Садовской.

⁴ Обри Винсент Бердслей (1872–1898) – английский художник, график, рисунки которого публиковали «Весы», «Золотое руно». Для Ходасевича – символ эстетизма, модернизма, дурного вкуса.

⁵ Меценат – здесь и дальше – А.М.Кожебаткин, владелец издательства «Альциона».

ПРИМЕЧАНИЯ

Порой Ходасевич и Садовской называют его в письмах издателем. Кожебаткин – земляк Садовского, они оба учились в Нижегородском Дворянском институте (Кожебаткин – двумя классами младше). Книга Садовского «Самовар» открывалась посвящением:

Издателю
А. М. Кожебаткину

Я стихотворству, ты изданию
От юных лет обречены,
Мы *водохлебы*, по преданью
Нижегородской старины.
Струями волжской Ипокрены
Вспоили щедро нас Камены
И Мусагета водомет.
Теперь фонтан его поет
В лугах лазурной Альционы.
Заветы Пушкина храня,
Ты отблеск чтишь его огня
И красоты его законы;
Зато несу тебе я в дар
Мой одинокий самовар.

⁶ С. Клычков (настоящая фамилия: Лешенков Сергей Антонович, 1889–1937) – поэт, прозаик.

⁷ В 1913 г. в газете «Русская молва» появилась заметка, подписанная инициалами «П.А.» (Петровский Алексей), автор которой писал: «Даже опубликованный издательством соловьевский перевод «Золотого горшка» вряд ли будет много содействовать ознакомлению русского читателя с творчеством Гофмана: как известно, Соловьев не довел своей работы до конца, и в его переложении повесть о несчастиях студента Ансельма обрывается на шестой главе».

Действительно, повесть Гофмана «Золотой горшок», изданная «Альционной» в 1913 г., обрывалась на шестой главе. Между тем в 1880 г. в журнале «Огонек» перевод был опубликован полностью (№№24–28 и 30–32) и до сегодняшнего дня «Золотой горшок» печатается в переводе В. Соловьева. (см. Гофман Эрнст Теодор Амадей. Повести и рассказы. М., 1967)

¹ В «Новом Сатириконе» №12 напечатано стихотворение Садовского «Желудок», а в №11 – «После обеда»:

ПРИМЕЧАНИЯ

Люблю я, утомясь обедом,
На кресле ждать под серым пледом,
Чтоб по обоям голубым
Вечерний заструился дым...

² Ни в «Сатириконе», ни в «Новом Сатириконе» стихи за подписью «Макшеева» не появлялись.

³ Валентин Португалов – издатель; в 1914 г. выпустил книгу Садовского «Косые лучи. Пять поэм».

⁴ А.И.Тиняков страдал запоями и время от времени, все с себя пропивая, попадал в больницу. См. его письма к Садовскому 1912–1915 гг.:

Дорогой Борис Александрович!

К сожалению, Ваши предположения обо мне оправдались. Еще с 21-го я начал пить, 23-го получил деньги, поехал в «Квисисану», а утром 24-го очнулся в каком-то грязном притоне с грошами в кармане. Призрак грозящего голода так ужаснул меня, что я пропил остальные, ухудшив этим мое положение донельзя.

30 ноября 1912

Дорогой Борис Александрович,

очень давно собирался написать Вам. Но сначала лихо пьянствовал; затем по обыкновению – сидел неделю у Николая Чудотворца (психиатрическая больница в Петербурге. – *Коммент.*); последнюю неделю работаю и бегаю по редакциям.

11 ноября 1913

РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.212

⁵ Сергей Абрамович Ауслендер (1886–1937) – драматург, прозаик, племянник и литературный ученик М.А.Кузмина. Ходасевич посвятил ему стихотворение «Воспоминание», напечатанное в газете «Руль» 2 февраля 1908 г. и вошедшее в сборник «Молодость» (М.: Гриф, 1909).

В октябре 1937 г. Ауслендер (в ту пору детский писатель, завлит Московского театра юных зрителей) был арестован, 11 декабря расстрелян и похоронен в Бутово. Сведения о его смерти, взятые из следственного дела С.А.Ауслендера, получены от Д.Г.Юрасова.

⁶ Константин Николаевич Незлобин (1857–1930) – известный антрепренер, актер. Драматический театр, которым он руководил с 1909 по 1917 гг. Москвичи называли «театром Незлобина».

⁷ Пьеса Ауслендера «Ставка князя Матвея», поставленная в театре Незлобина в ноябре 1913 г., имела успех: о ней писали С.Глагол. («Столичная мо-

ПРИМЕЧАНИЯ

лва») и А.Койранский («Утро России»). 29 ноября 1913 г. газета «Утро России» поместила фотографию «автора пьесы «Ставка князя Матвея»» между фотографиями композитора Балакирева и героя пробега на велосипеде вокруг света О.П.Панкратова.

⁸ В 1913 г. Брюсов выпустил книгу «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова», выпустил анонимно, с расчетом, что читатель увидит в «Нелли» – автора. В Собрание сочинений В.Брюсова «Стихи Нелли» не включались. И прежде в рассказах Брюсов вел повествование от лица женщины, прибегая к форме письма, дневника, больше того, по его словам, все рассказы в книге «Дни и ночи» объединены «общей задачей: всмотреться в особенности психологии женской души». На это обратил внимание Ходасевич в статье «Лед и пламень». (Голос Москвы. 1913. №114 18 мая)

«Стихи Нелли» – такая же попытка (в стихах) всмотреться, вжиться в особенности психологии женской души, передать интонацию, убедить читателя, что стихи написаны женщиной.

Попытка тем более интересная, что свою героиню автор создал, соединил из двух возлюбленных, которые одновременно были в его жизни: Нади Львовой и Елены Сырейщиковой.

«Нелли» подписывала свои письма Елена Сырейщикова. О ней писал А.В.Лавров в статье «Новые стихи Нелли – литературная мистификация Валерия Брюсова». (Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987) См. также его статью «Вокруг гибели Надежды Львовой» (De visu. 1993. №2).

Позаимствовав у одной женщины современную остроту внешнего рисунка, жизненную энергию, а у другой – глубину чувств, воображение, лирическую интонацию, Брюсов стремился как можно дальше увести созданный им женский образ от прототипов. Он присоединял к стихам, написанным в 1912–1913 гг., произведения более ранние («Все это было давно...», 1903), если они передавали стиль, характер современной любви. Очевидно, Брюсов пытался прибегнуть к своеобразному приему остранения, назвав свою героиню «Nelly». Именно так на первой странице рукописи «Стихи Нелли» графически изобразил он имя своей героини, унося ее подальше от Подольска или Петровско-Разумовского в воображаемое, поэтическое пространство. (см. рукопись в ОР РГБ. Ф.386. Оп.13. Ед.хр.3) Но в конце концов от этой идеи отказался.

Человек методичный, склонный схематизировать жизнь (только Брюсов мог создать карту-схему собственной биографии: года – по вертикали, по горизонтали разделы: «События политич. и печ./ Семья / Школа / Путеш./ Любовь/ Книги/ Журналы / Сотрудники / Встречи / Спорт». Из множества точек-пересечений и сплеталась «канва биографии», а отдельным ярким лоскутом, крупно, были выделены из целого «Мои прекрасные дамы». ОР РГБ.

Ф.386. Оп.1. Ед.хр.4), он и чувства свои разнес по графам от «Я ухаживал» и «Мы играли в любовь» до «Я люблю» (последняя так и осталась незаполненной). Елена Сырейщикова попала в графу «Меня любили», Надя Львова – в графу «Я, м.б., люблю».

Ходасевич не сомневался, что музой и вдохновительницей Брюсова была Надя Львова. Он был с ней в приятельских отношениях. И она писала Брюсову: «После расскажу тебе о “вечере молодых”, кот. устроили мы с Ходасевичем (он мне очень нравится, между прочим)...». Ходасевич знал, кто автор книги. И с удовольствием подхватил мистификацию, принял участие в литературном маскараде, поддразнивая: «Маска, я тебя знаю!»

Его рецензия на «Стихи Нелли» 29 августа 1913 г. напечатана в «Голосе Москвы»:

Поэт (мы условимся называть его Нелли) дебютирует, очевидно, своим сборником. Но в то же время (и это, пожалуй, всего примечательней в стихах Нелли) он обнаруживает такое высокое мастерство стиха, какого нельзя было бы ожидать от дебютанта. Даже там, где автор отступает от просодического канона, в его строках чувствуется сильная и уверенная рука.

Имя Нелли и то, что стихи написаны от женского лица, позволяют нам считать неизвестного автора женщиной. Тем более удивительна в творчестве совершенно мужская законченность формы и, мы бы сказали, – твердость, устойчивость образов. Ведь читатель, конечно, согласится с нами, что стихи женщин, обладая порою совершенно особенной, им только свойственной прелестью, в то же время неизменно уступают стихам мужским в строгости формы и силе выражения. Пожалуй, даже именно здесь таится значительная доля их своеобразного очарования. От этого правила не ушли такие поэтессы, как Каролина Павлова, графиня Ростопчина, Лохвицкая и даже Зинаида Гиппиус. Но вот Нелли является исключением. И это еще раз заставляет обратить на нее внимание. <...>

Еще графиня Ростопчина требовала, чтобы ее сравнивали с женщинами, а не с мужчинами. Быть может, и Нелли, как поэтесса хотела бы сравниться со своими сверстницами? Что же! Стихи ее лучше стихов Анны Ахматовой, ибо стройнее написаны и глубже продуманы. Стихи ее лучше стихов Н.Львовой по тем же причинам. Но в одном (и весьма значительном) отношении Нелли уступает и г-же Львовой, и г-же Ахматовой: в самостоятельности. Голос Нелли громче их голосов, но он более зависит от посторонних влияний. Можно назвать имена учите-

ПРИМЕЧАНИЯ

лей г-жи Львовой и Анны Ахматовой, но нельзя указать поэта, которому бы подражали они так слепо, как Нелли подражает Вальерию Брюсову во всем, начиная от формы стиха и кончая тем чувством современности, о котором мы уже говорили.

Детских плеч твоих дрожанье,
Детских глаз недоуменье,
Миги встреч, часы свиданья,
Долгий час – как век томленья...

С. 38

Каюсь, не знай я настоящего автора, я не задумался бы приписать эти строки Брюсову. <...>

Много, много еще таких примеров найдет в книге Нелли любой внимательный читатель. Самый стих молодой поэтессы – типичный брюсовский стих, с его четкой чеканкой и своеобразным внутренним движением.

В книге Нелли немало красивых и верных и содержательных образов. Часто, читая ее, хочешь воскликнуть: «Да ведь это не хуже Брюсова!» Это, конечно, огромная похвала для начинающего поэта: «Он пишет, как Брюсов». Но и большой укор, потому что ведь Нелли – не Брюсов. Уж если ты Нелли – будь Нелли...

Любопытно, что Н.Львова поддержала литературную мистификацию Брюсова: в статье «Холод утра (несколько слов о женском творчестве)», сравнивая сборники Цветаевой, Ахматовой, Кузьминой-Караваевой и Нелли, – книгу Нелли назвала она «самой женской, так как она лучше всех других сумела найти свои женские слова, свое освещение общей для всех темы. Поэтесса близко подходит к футуризму, как к поэзии современности.» (Жатва. 1914. С.254. V). Статья вышла уже после самоубийства Н.Г.Львовой.

15

Письмо не датировано, по содержанию его можно датировать сентябрем 1913 г.

¹ Борис Садовской. Пятьдесят лебедей. Стихотворения. 1909–1911. СПб: Огни. 1913.

² Дружеские отношения Ходасевича с Кречетовым (Соколовым) прерывались ссорами, размолвками, одна из которых пришлось на апрель 1907 г. Соколов тогда писал Ходасевичу:

ПРИМЕЧАНИЯ

Вы не поняли надписи на книге? Посох есть посох моей дружбы и нежности к Вам, которую Вы сами заглушили в сильной мере, отойдя от меня, многим и многим (заглушили, но не убили – я не хочу лгать). Посох на мгновение зацвел от воспоминаний.
РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Ед.хр.82

В их размолвках немалую роль, вероятно, сыграло деятельное и не всегда тактичное участие Ходасевича в семейной драме Соколова и его жены Н.И.Петровской. Мариэтта Шагинян вспоминает экспромт Ходасевича, сочиненный им на собственной свадьбе, где «посаженым отцом был сам Брюсов, а шафером примазался издатель «Грифа» Соколов-Кречетов...

Венчал Валерий Владислава, –
И «Грифу» слава дорога!
Но Владиславу только слава,
А «Грифу» – слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену Грифа и “спутницу” Брюсова». (Шагинян М.С. Человек и время. М., 1980. С.251).

Отголосок эпиграммы прозвучал и в письме Ходасевича.

³ Нина Яковлевна Серпинская (1895–1955) – художница, поэтесса, приятельница Садовского. В своих неопубликованных «Мемуарах интеллигентки двух эпох» она вспоминала: «Красивый брюнет с узкими азиатскими глазами, с подчеркнуто провинциальным “шиком” манер, поэт-“классик”, как он называл сам себя, – Борис Александрович Садовской и Николай Григорьевич Машковцев усиленно ухаживали за мной, дразня футуристкой, называя “Засахаре-Кры”». * (РГАЛИ. Ф.1463. Оп.1. Ед.хр.9. С.68)

В воспоминаниях Н. Я. Серпинской сделаны наброски Брюсова и Маяковского на собрании Эстетики:

Черным мраморным обелиском, не смешиваясь ни с кем, встал силуэт Валерия Яковлевича Брюсова, внушившего мне панический трепет. Когда за длинным столом, после программы, все рассаживались за ужином, он несколько раз приветливо обращался ко мне:

– Мадмуазель Серпинская, вы уже пишете стихи и, наверное, футурные?

<...> Так же, как Брюсов, в стороне от всяких свит, громоздилась фигура Маяковского, никогда не околачивающегося в «хвосте»

*Название футуристического альманаха.

ПРИМЕЧАНИЯ

старающихся «устроить» свою книгу, получить заказ на портрет или продать картину писателей и художников.

Руку он целовал иногда застенчиво, где-нибудь в уголке, у понравившейся ему молоденькой девушки, вроде поэтессы Надежды Григорьевны Львовой, ходил широко, нарочито грубоватой походкой, и глаза его метали заряды ненависти и презрения к окружающему.

16

¹ «Сам» – В.Я.Брюсов.

² «Бедная Надя» – Надежда Григорьевна Львова (1891–1913) – автор единственного сборник стихов «Старая сказка» (М.: Альциона. 1913), на который Ходасевич откликнулся доброжелательной рецензией. (Голос Москвы. 1913. №127. 4 июня) Написал он рецензию и на второе, дополненное издание книги, вышедшее в 1914 г. (Голос Москвы, 1914. №73. 29 марта)

Львова писала Садовскому в Нижний:

Книгу мою, как я и ожидала, порядочно-таки разругали, особенно в Петербурге. Несмотря ни на что, мне все-таки было неприятно. Теперь пишу очень мало, вернее ничего не пишу. Стала футуристкой. Только Вы не пугайтесь: правда, это не так страшно. Ведь наши «эго-футуристы» народ самый безобидный и вполне приличный. К сожалению, многие пишут стихи слишком плохо. А в остальном очень мило.

РГАЛИ. Ф.464. Оп.1. Ед.хр.89

³ «Летучая мышь» – театр-кабаре, созданный Балиевым. Ходасевич писал для него стихи, инсценировки. Особенно отметили газеты пьеску «Любовь через все века». Приводим две рецензии, благодаря которым можно получить представление об этой почти неизвестной области творчества Ходасевича.

«Летучая Мышь»

Открытие популярного кабаре прошло с обычным блеском. Волнение первого выступления не помешало находчивому Балиеву с обычным остроумием вести вечер перед строгой и требовательной публикой первого абонементы.

Открылся вечер новой песенкой кабаре «Мышкой», прелестно исполненной. Вторым номером программы были четыре картинки «Любовь через все века», изображающие, как любили в разные века и даже как будут любить в будущем веке футури-

ПРИМЕЧАНИЯ

сты. Написаны картинки изящными стихами. Автора Владислава Ходасевича приветствовали дружными аплодисментами. Наиболее удачна и остроумна последняя картинка «Любовь футуриста».

Голос Москвы. 1913. №224. 29 сент.

«Летучая Мышь»

(На открытии)

В программе несколько номеров, которым не хватало художественной яркости. К этим номерам прежде всего относится «Le flirt travers les ages». Автору этого пятикартинного произведения В. Ф. Ходасевичу определенно не удалось изобразить «любовь в разные века»; лучше остального «галантный век», и то, пожалуй, благодаря талантливой Алексеевой-Месхиевой; век же футуризма, например, Ходасевич изобразил очень просто: взял прекрасные стихи Игоря Северянина, вольно их изложил и придумал, кажется, только одно свое слово «ометрополен», все остальное – и размер, и «новые слова» – из книги стихов Игоря Северянина.

В. Волин

Столичная молва. 1913. №330. 30 сент.

⁴ В 1914 г. вышло юбилейное издание альм. «Гриф». По замыслу С. Соколова в нем должны были принять участие авторы трех выпусков альм. (1903, 1904 и 1905 гг.). Юбилейный сб. печатался небольшим тиражом, на хорошей бумаге, с портретами авторов.

17

¹ Сб. Бориса Садовского «Самовар» вышел в издательстве «Альциона» (М., 1914). 15 января 1914 г. Ходасевич поместил о нем рецензию в газете «Новь»:

Основная мысль цикла, выраженная в нарочито серьезном, но слегка шутливом предисловии, заключается в том, что «самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место».

Для того, чтобы понять это, «потребно иметь в душе присутствие особой, так сказать, самоварной мистики». Быть может, в чьих-либо других устах эти слова показались бы позерством, литературным вывертом. Но читателям Садовского давно известна его любовь к мирному сельскому укладу старозаветной жиз-

ПРИМЕЧАНИЯ

ни, и его «самоварной мистике» невольно веришь, понимаешь ее, как нечто нераздельно связанное с творчеством и личностью этого прекрасного писателя. Садовской – «старосветский помещик». Вот жизнь, о которой он мечтает:

Мой идеал – покой. О, если б я встречал
Все ночи в комнате лазоревой и мирной,
Где б вечно на столе томился и журчал
На львиных лапках самовар амбирный!

Но времена доброй Пульхерии Ивановны прошли: Садовской овдовел. Одиночество является такой же темой его книги, как и самый самовар...

Новь. 1914. №52. 15 марта

² Первое издание альм. «Альциона», кн. I (М., 1914) – было конфисковано за рассказ Валерия Брюсова «После детского бала».

³ Никита – здесь и дальше: Никита Федорович Балиев – владелец и конферансье театра-кабаре «Летучая мышь», для которой в 1915–1916 гг. Садовской создал множество переделок классических произведений: «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор», «Пиковая дама» и др.

⁴ Лоло, точнее: Lolo – псевд. Л.Г.Мунштейна – фельетониста, театрального критика и редактора журнала «Рампа и жизнь» (1908–1918).

⁵ Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) – поэт, филолог, переводчик, теоретик символизма.

Мы не знаем его ранних отзывов о стихах Ходасевича, но Н.Берберовой были опубликованы в «Новом журнале» (1960. №62) письма В.И.Иванова к Ходасевичу. 12 января 1925 г. он писал:

От Муратовых добыл я книгу Вашу: читаю и перечитываю «Тяжелую лиру» с восхищением: конечно, боль, горечь и скорбь исполняют свое высшее эстетическое (– и не только эстетическое!) назначение, когда из их горнила вырывается гимн, – когда

На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

Этот высокий акт преодоления озаряет Вашу лирику необыкновенным, несколько жутким, ибо нездешним, отблеском, падающим из мира «страшных братьев»; и проносится по ней мгновеньями ветер «почти свободы». У Бодлера вырываются порой

ПРИМЕЧАНИЯ

больные и вместе торжествующие крики этого великолепного дуализма.

⁶ В феврале 1914 г. вышла вторая книга Ходасевича «Счастливый домик».

⁷ Рисунок – шуточный ответ на открытку Садовского А.И. Ходасевич от 10 февраля 1914 г. В нижнем углу ее была нарисована мышка и под ней подпись: «Рисунок для Вашего поэта: пусть вдохновляется». Ходасевич был увлечен циклом «Мыши», писал много лирических и шуточных домашних стихов на эту тему.

18

¹ Любовь Ивановна Рыбакова (урожд. Чулкова, 1882–1973) – старшая сестра А.И. Ходасевич.

² Летом 1914 г. Ходасевич переводил два романа польского писателя Генрика Сенкевича, вошедшие в Собр. соч. в 16 тт. (М.: Изд. Сытина. 1914): т. 8 – «Семья Поланецких», т. т. 12–13 – «Меченосцы».

³ Свою деятельность в газете «Русские ведомости» Ходасевич начал статьей «Игорь Северянин и футуризм», помещенной в двух номерах газеты (№№ 98 и 100) и печатался до 1919 г.

⁴ Илья Николаевич Игнатов – сотрудник газеты «Русские ведомости», литературный и театральный критик, публицист.

⁵ Садовской поместил рецензию на «Счастливый домик» Ходасевича в журнале «Северные записки» (1914. Кн. 3. С. 190–191):

В настоящую, вторую книгу вошло всего 45 новых стихотворений. Эта кажущаяся скудость вдохновения объясняется, как можно усмотреть из краткого предисловия, строгостью поэта к самому себе: ценное качество, а в наши дни чрезвычайно редкое. Нынче молодые поэты, едва начав писать, уже торопятся выступить чуть ли не с полными собраниями своих творений и поспешно выбрасывают на книжный рынок целые томы скороспелых детских стихов. У г. Ходасевича каждое стихотворение является тщательным изделием художника-ювелира: жемчужины его рифм полновесны; нигде нет лишних безобразящих придатков, дешевого стекляруса и кричащих стразов. Мы далеки от мысли ставить г. Ходасевича в ряды первостепенных поэтов нашего времени, но вполне применимо к нему известное изречение: он пьет из небольшого, но собственного стакана. Некоторые стихотворения, видимо, более раннего периода, напоминают антологическую манеру Батюшкова и молодого Пушкина («Элегия», «Когда впер-

ПРИМЕЧАНИЯ

вые смутным очертаньем...», «К Музе») и показывают, какую благородную школу прошел поэт. Произведения же последних отделов обнаруживают самостоятельного мастера и дают г. Ходасевичу право на свое особое место в литературе. Таков весь цикл «Мыши», оригинальный по замыслу и по выполнению, стихотворения «Милому другу», «Успокоение», «Вечер», «Рай».

Книга издана со скромным изяществом: синяя ее обложка искусно выдержана в стиле старинной чашки саксонского фарфора.

⁶Павел Павлович Муратов (1881–1950) – прозаик, историк искусств. В 1914 г. Муратов редактировал журнал «София», в котором опубликованы две статьи Ходасевича. Вероятно, по просьбе Садовского Ходасевич предлагал Муратову для журнала его статьи.

⁷Игорь Герасимович Терентьев (1892–1937) – поэт-заумник, авангардный режиссер, чьи постановки имели в Ленинграде шумный успех, – в 1914 г. учился в Московском университете, писал стихи. Ходасевич рекомендовал его стихи в журналы. Они сохранились в архиве А.И.Ходасевич (РГБ. Ф.627. Карт.29. Ед.хр.24). Одно из них, обращенное к Анне Ходасевич («Нюкей»), приводим, тем более что и Ходасевич мимоходом изображен в них: «судья бездушный» – конечно же, о нем.

Кого не умилил «Нюкеино» занятие:
Грустить, записывая грустные в тетрадку
Стихи о меланхолии, о старом платье,
О ревности, о нем: все по порядку...

И тонкие стихи, где живы «разговоры»,
Но непонятны личные местоименья,
К себе нередко привлекают тем не менее
Судьи бездушного приветливые взоры.
А я, упрямясь, весь долгий день небритый
И заспанный, в позиции Наполеона
Сижусь, улавливая легкий жизни ритм,
Ищу стихов, смотрю в окно, жду почтальона.

Или бредя сквозь сумрак городских окраин,
Тех дней утерянную призываю вечность,
Когда веселый ум, затейливый хозяин,
Певчую души удерживал беспечность.

ПРИМЕЧАНИЯ

Бежать, бежать, но где же разыщу я денег
И как избавиться от университета...
В окне коробится и шелестит, как веник,
Несносный тополь, «Пупсика» запели где-то...

Но месяц праздности моей не дожит,
И я приятную не потерял надежду,
О том, что со стихом Ньюкей положит
В свою тетрадь мое своих творений между.

Игорь

Судьбой Игоря Терентьева Ходасевич интересовался, уехав из России. 10 июля 1924 г. он писал А.И.Ходасевич: «...поклонись Игорю, участие которого в Лефе мне огорчительно (не футуризм его)» (РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Ед.хр.51). Возможно, Ходасевич знал от М.М.Карповича, на сестре которого Игорь Терентьев был женат, о его трагической судьбе: он дважды сидел, в 1937 г. был расстрелян. См.: Игорь Терентьев. Мои похороны: Стихи. Письма. Следственные показания. Документы. М.: Гилея, 1993.

19

¹ Садовской приобрел хутор Романовку, где строился для него дом.

² Шутливо перефразированная строчка Валерия Брюсова: «Ты песен ждешь? – Царица, нет их!» из стихотворения «На нежном ложе». (Корабли: Сборник стихов и прозы. М., 1907; в сборнике были также опубликованы стихи Ходасевича)

³ Владимир Александрович Юнгер (1883–1918) – близкий приятель Садовского. Входил в группу «Цех поэтов», издавшую его книгу стихов «Песни полей и комнат». (СПб., 1914)

20

¹ Статья Ходасевича «Фрагменты о Лермонтове» при жизни автора не была опубликована. Авторизованный машинописный экземпляр сохранился в собрании А.Ивичка (И.И.Бернштейна) и был напечатан его дочерью С.Богатыревой в журнале «Знамя». 1989. №3.

² Очевидно, речь идет о стихотворении Ходасевича «Вот в этом палаццо жила Дездемона...». (Арион. М.-Киев, 1915. Кн.1)

³ Валерий Брюсов уехал корреспондентом «Русских ведомостей» «на театр военных действий». С августа 1914 года газета регулярно печатает его корреспонденции, которые Владислав Ходасевич пародирует. Репортажи Брю-

ПРИМЕЧАНИЯ

сова отличались банальностью. Вот начало первого репортажа «Путь на запад»: (19 авг. 1914) «Почтовый поезд неспешно, но неуклонно бежит на запад... И чем дальше мы едем, чем ближе оказываемся мы к таинственному «театру военных действий», тем спокойнее и радостнее становится на душе». В очерке «Рассказы очевидцев» В. Брюсов сообщал читателям: «Все, с кем мне приходилось говорить, единогласно свидетельствуют, что наша ружейная стрельба выше немецкой». Там же он обстоятельно растолковывал, что, если снаряд ложится за окопом – это называется перелет, если не долетает до окопов – недолет и т. д.

⁴ В ряде газет, в «Известиях литературно-художественного кружка» появились сообщения о том, что 23 августа в Варшаве Общество польских писателей в торжественном заседании принимало В. Я. Брюсова. Сам он описывал это событие в письме к И. М. Брюсовой 24 августа 1914 г:

Милая Jeanne!

Сегодня варшавское польское «Общество Литераторов и Журналистов» устроило заседание в мою честь. Было много народа, произносились речи по-польски, по-русски и по-французски. Говорили, что сегодня великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде привечать русского поэта, хотя бы столь великого, как я (это – их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений и т. д. и т. д. Я, сколько умел, отвечал, конечно, по-русски, но и на польские речи, которые был должен понимать. Потом декламировались мои стихи «К Польше». Редактора приглашали меня сотрудничать в их польских журналах. Одним словом, еще один «триумф».

А в письме от 10 сентября 1914 г.:

Посещал раза два клуб писателей-модернистов. Вчера читал там свои стихи, целую серию, как в Эстетике. Было весьма оживленно. Это чествование меня в газеты не попадет, так как модернисты здесь еще в загоне. Но много милых людей и хороших поэтов.

РГБ. Ф.386. Оп.142. Ед.хр.38

¹ Анатолий Иванович Каменский (1876–1941) и Михаил Петрович Арцы-

ПРИМЕЧАНИЯ

башев (1878–1927) – эти имена олицетворяли для Ходасевича литературу, потворствующую вкусам публики. В докладе «Надсон» (1912) он относил их к ряду «писателей, с лакейской развязностью спешащих не только найти оправдание читательских пороков, но и возвести их в высший принцип».

Ироническое отношение к беллетристам, сводившим все многообразие человеческих отношений к «вопросам пола», окрасило и шутивное стихотворение Ходасевича «Как если бы мы были гомосексуалисты» (см. письмо 41). «Пенсне Арцыбашева» упоминается в нем не случайно.

² «Супруга» – Иоанна Матвеевна Брюсова (1876–1965).

³ Семен Яковлевич Рубанович – поэт и переводчик.

⁴ Война в русской лирике. Сб. стихов. Составил Вл. Ходасевич (М., 1914. «Универсальная библиотека»). Из поэтов-современников Ходасевич включил в сб. стихи Аллегро, Бальмонта, Блока, Брюсова, С. Соловьева. Стихотворение Садовского «Памяти А.В. Самсонова» заключало подборку.

⁵ Садовской Борис. Русская Камена. Статьи. М.: Мусaget, 1910.

⁶ «Профессоршей» Ходасевич называет Л.И. Рыбакову: она была замужем за профессором психиатрии Ф.Е. Рыбаковым.

⁷ Шутивный намек на смешанное происхождение Ходасевича: поляк по отцу, он был евреем по матери. О немецких зверствах много писали газеты, а Литературно-художественный кружок на общем собрании 10 октября 1914 г. постановил исключить немцев «за жестокость и шпионство» и «врагам» до конца войны билетов не выдавать (их всего-то было двое!). См. «Известия литературно-художественного кружка». (1914. Вып. 8–9, октябрь–ноябрь)

⁸ Стихотворение Ходасевича «У людей война, а к нам в подполье...» напечатано в журнале «Аполлон». 1914. №10.

⁹ В начале войны Петербург был переименован в Петроград, что вызвано всплеском шовинистических, антинемецких чувств. Ни Ходасевич, ни Садовской с переименованием считаться не намеревались. В 1916 г. Ауслендеру (на идише эта фамилия означает «иноземцев» крепко досталось за «иноземство» от Садовского. В статье «Pro domo sua» он писал:

Переименование северной столицы доставило живую радость и удовольствие петербургским лавочникам, извозчикам и швейцарам. К числу этих «патриотов своего отечества» отныне принадлежит и г. Ауслендер. В трагедии своей «Бриллиантовый жучок» (времен Павла!!!) он заставляет героев звать Петербург Петроградом. А еще «стилизатор».

Садовской Б. Ледоход. Статьи и заметки. Петроград, 1916. С. 196.

К слову сказать, полемическое негодование заставило памфлетиста переименовать драму Ауслендера, называвшуюся «Изумрудный паучок». Об этой пьесе и пишет в письме Ходасевич.

¹ Н.Архипов (настоящая фамилия Бенштейн Николай Архипович) – прозаик, драматург, редактор журналов и лит. отделов журналов «Новая жизнь», «Новый журнал для всех», «Свободный журнал». В февральском номере «Свободного журнала» за 1914 г. опубликованы рассказ Садовского «Смерть Малюты Скуратова» и перевод стихотворения Э.Слонского «Все шли из ненастной дали...», сделанный Ходасевичем.

² Константин Абрамович Липскеров (1898–1954) – поэт, переводчик, с которым Ходасевича в 1915–1916 гг. связывали дружеские отношения: они писали пародии на стихи друг друга; Ходасевич откликнулся рецензией на выход первой книги Липскерова «Песок и розы» (Утро России. 1916. №65. 5 марта).

³ Заявление трех поэтов сохранилось в архиве Брюсова:

...Предлагая вниманию собрания ряд своих произведений, являющихся выражением наших глубочайших переживаний и раздумий, мы не могли безропотно примириться с мыслью, что наше выступление в конце концов явилось прелюдией к балаганной выходке гг. футуристов. В составе комитета находятся два писателя: В.Я.Брюсов и Ю.К.Балтрушайтис. Надеемся, что они, со своей стороны, не откажутся объяснить г. Трояновскому, в какой степени неудобно делать выступление других писателей, ничем доньше не запятнавших своего доброго литературного имени, предлогом к развлечению, интерес которого – интерес к скандалу.

РГБ. Ф. 386. Карт. 115. Ед. хр. 9.

Иван Иванович Трояновский – врач, коллекционер, член Комитета Общества свободной эстетики.

Иоанна Матвеевна Брюсова, которая в отсутствие Брюсова организовывала собрания Эстетики, написала в Варшаву и о вечере, и о разразившемся скандале.

В прошлый раз у нас читал Рубанович. Как ты однажды ему говорил у Яра – из вас ничего не выйдет, вы не работаете, – то же ему можно сказать и сегодня. Читал опять переводы (всего четыре) из Бодлера, то, что читал весной. Читал Липскеров монотонно, как музыка древних (как я себе ее представляю). Читал Владя, до смешного подражая тебе, как дети подражают старшим, даже бумагу так же перелистывал, –

ПРИМЕЧАНИЯ

пишет она 8 февраля 1915 г., а в письме от 22 февраля продолжает:

Муња тебе, может быть, рассказывал историю у нас в Эстетике, как на Ив.Ив*, – обиделись Владя, Сеня Рубанович и Липскеров. В результате я, разговаривая с Мунькой по телефону, обозлилась на него. Они с Владькой все пять дней пребывания в Москве (Муни служил в Варшаве, у него был пятидневный отпуск. – *Коммент.*) только об этом и разговаривали, и Муња со всей искренностью души принялся ругать Эстетику <...> Я взялась ответить обидевшимся поэтам.

РГБ. Ф.386. Оп. 145. Ед.хр.28

1 марта 1915 г. В. Я. Брюсов откликнулся:

...В деле с Ходасевичем и др. я считаю виноватой Эстетику. Если было условие, что футуристы не должны читать, нельзя было позволять им читать и после окончания программы. Я бы на месте Комитета *извинился*, а после извинения «хлестнул бы» за письмо, конечно, неприличное. Но, может быть, Комитет извиняться не хочет. Тогда остается только сослаться на то, что читали футуристы по окончании собрания. Вот тебе две редакции ответа: выбери любую (лично я считал бы *справедливой* первую, но поступайте, как найдете нужным).

1. Таким-то. М.Г.Г! В ответ на Ваше письмо от 6 февраля с.г. Комитет О-ва свободной эстетики считает своим долгом выразить сожаление по поводу того, что во время собрания О-ва 5-го февраля по прискорбному недоразумению не было соблюдено одно из условий, которые были установлены по соглашению с Вами при предложении Вам прочесть на собрании свои новые стихи. Однако Комитет в то же время обращает Ваше внимание на то, что чтение стихов гг. Зданевичем и Маяковским происходило уже по окончании программы вечера, не было объявлено на повестках, являясь в сущности личным делом отдельных членов О-ва, и получило до некоторой степени характер выступления общественного лишь потому, что предложение выслушать стихи этих поэтов исходило от лица, председательствовавшего на собрании, не сложившего с себя ранее, по недосмотру, обязанностей председателя.

* (а виновата я, Ив. Ив. дал разрешение футуристам прочитать стихи в конце вечера, предварительно спросив меня.)

ПРИМЕЧАНИЯ

Наконец, Комитет, указывая Вам на то, что О-во всегда стремилось оправдать свое название и видело «свободу» в широкой терпимости по отношению ко всем литературным школам, полагает, что Вы найдете нужным взять обратно заключительные слова Вашего письма, неуместные в отношении к постоянным посетителям собраний Общества...

РГБ. Ф.386. Оп.69. Ед.хр.7

Этот вариант и был взят за основу. Не удовлетворенные ответом поэты написали новое заявление: И.М.Брюсова встретила с ними на квартире Липскерова и раздраженно написала В.Я.Брюсову 17 марта 1915 г.: «Видимо, юношам делать нечего, что в такие исторические минуты занимаются пустяками».

Но В.Я.Брюсов, одернув действовавших «не по чину» поэтов, сам в том же письме с грустью отмечал: «В общем футуристы стоят на месте и это весьма прискорбно. Боюсь, что мои надежды на них не оправдаются. А жаль».

⁴Илья Михайлович Зданевич (1894–1975) – поэт, входивший в тифлисскую группу «41°» (вместе с Игорем Терентьевым и А. Крученых), один из теоретиков авангарда. Впоследствии – известный прозаик, печатавший свои произведения под псевдонимом Ильезд.

23

¹ К. И. Кареев – уполномоченный дирекции театра «Летучая мышь».

² Садовской Борис. Полдень. 1904–1914. Пг.: Лукоморье. 1915.

³ Вероятно, речь идет о книге «Озимь (Статьи о русской поэзии)». (Пг.: 1915). «Брошюрой» называл книгу сам Садовской.

⁴ Строки из стихотворения Валерия Брюсова «Проблеск» (1900):

Но Дух предвидел, Даниил предрек:
Славянский стяг завеет над Царьградом.

24

Письмо не датировано, на обороте рукой Садовского написано: 24.III.15.

¹ Ходасевич сомневался, можно ли напечатать положительную рецензию на книгу «Озимь» в газете «Русские ведомости», т.к. главным персонажем ее стал Брюсов, которого автор изобразил как «старшего брата» русского футуризма: «Воистину, он провозвестник их и предтеча, «трубач и знамено-

ПРИМЕЧАНИЯ

сец»...»Книга наделала много шума, отчасти скандального. Журнал «Бюллетень литературы и жизни» перепечатал отрывок, назвав публикацию «Накипевший протест» (1915. №18. Май). В марте 1915 г. Ю.Юркун писал автору: «Только о ней и говорят у нас все последние дни. Мнения самые противоречивые. И злоба, и ругань, и хвала, и восторг, т.е. как и должно встретили эту необыкновенную книгу». (РГАЛИ. Ф.464. Оп.1. Ед.хр.152)

Прослышав о книге, Брюсов попросил жену прислать ему «Озимь» в Варшаву. 8 апреля 1915 г. он отправил И.М.Брюсовой письмо:

О Садовском. Он поистине – мерзавец. Сознаюсь, я не ожидал этого. Всякие сношения с ним должны быть прерваны. Относительно мнения С.А. (С.А.Поляков, по словам Брюсовой, «стал говорить, что ты в своей жизни так много и так жестоко критиковал и Бальмонта, и Бунина и др., что заслуживаешь и большего». – *Коммент.*) скажу: я критиковал Бальмонта и др. как поэтов, а Садовской затрагивает меня как человека. Это – разница. Одним словом, негодяй. Но я еще найду способ дать ему это почувствовать.

РГБ. Ф.386. Оп.69. Ед.хр.8

Садовскому же Брюсов написал:

Не решаюсь оспаривать Ваше мнение о том, поэт ли я. Выражаясь высоким слогом, об этом будет судить потомство. Вы ответили мне место подле Бенедиктова и Минаева – поэтов, владевших стихом лучше всех своих современников. Высшей похвалы нельзя пожелать. Но ведь для Вас мы все только стихотворцы. К сожалению, я никак не могу установить точного и непререкаемого различия между поэтом и стихотворцем. Условимся так: Вы – поэт, я – стихотворец. Но ведь и это положение условно, как все на свете. Кто Пушкин, поэт или стихотворец? По-моему, и то и другое.

Письмо заканчивалось словами: «Конечно, «Озимь» создаст Вам много врагов. Я не из их числа» (Аврора. 1973. №12. С.65). В 1934 г., когда Н.Ашуркин хотел это письмо опубликовать, Садовской запретил публикацию.

Книга была написана таким запальчивым тоном, который вызывал ответную реакцию. Гершензон со свойственной ему деликатностью упрекнул автора в пристрастности.

Книжонка Ваша остра и характерна, но, на мой вкус, слишком

ПРИМЕЧАНИЯ

лично... Вы влечетесь к хорошему, но в Вас самом, и в самой этой книжке – еще много «футуризма». Вы даете мне два адреса: усадьбы и «Центральных меблированных комнат» на Невском: где же Вы по-настоящему живете? Вот то-то: личное в Вашей книжке – еще от Невского.

РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 42

² Алексей Васильевич Пешехонов (1867–1935) – экономист, статистик, публицист, сотрудник газеты «Русские ведомости». В 1913 г. эта газета широко отмечала свой юбилей, и имя Пешехонова часто называлось в юбилейных статьях, его автобиография напечатана в юбилейном сборнике «Русские ведомости». Сб. статей. М., 1913.

25

Письмо не датировано, на обороте рукой Садовского написано: 10.8.15.

¹ «Лукоморье» (Пг., 1914–1917) – ежемесячный литературно-художественный журнал, основанный М. А. Сувориным, крайне шовинистического направления. На страницах его печатались Г. Иванов, С. Городецкий, А. Рославлев, Ф. Сологуб и др. Садовской в 1915 г. публиковал в «Лукоморье» стихи («Швейка», «Самара») и литературные рецензии. Ходасевич в «Лукоморье» участия не принимал и насмешливо писал Муни:

В столице на Неве поголовное Лукоморство. Кузмин с Городецким играют в патриотическую чехарду. Бальмонт с ними. Блок и Чулков (!?) к Суворину не пошли. Брюсова не звали. Остальные все там, кроме Мережковских, которые не там, ибо не сошлись насчет сребреников: меньше тридцати одного не берут. Меня (ого!) звали официально. Я отказался официально.

19 июня 1915

ИРЛИ. Р. 1. Оп.33. Ед.хр.90

Но рассказ «Заговорщики» Ходасевич соглашался поместить и в «Лукоморье». Несмотря на небрежный тон, которым он обыкновенно пишет о рассказе, он был важен ему, как открытое письмо В. Я. Брюсову, признание того, что разгадка разгадана. В письме к Муни неслучайны слова:

Анти-Брюсовское ополчение растет и ширится. Бальмонт в Москве негласно интригует. Я засветил лампаду и жду, чем кончится», а 7 июля возбужденно сообщает: «Гонение на «мэтра» про-

ПРИМЕЧАНИЯ

должается. Говорят, Лернер его изругал последними словами – за стихи!!! Я не читал. Значит, пошла уже в дело тяжелая артиллерия.

Ради того, чтоб пристроить рассказ, Ходасевич летом 1915 г. поехал к Г. И. Чулкову в Царское Село. Рассказ «Заговорщики» был опубликован в журнале «Аргус». (1915. №10).

26

¹ «Медный всадник» – альманах, который предполагало издавать общество деятелей литературы и искусства того же названия. В правление входили Гумилев, Городецкий, Ауслендер и др. Садовской был секретарем общества.

² Слово «сухотка» впервые появляется в дневниках Садовского в 1904 г., когда он записывает рекомендации и прогнозы врача, весьма оптимистичные: практически здоров, через 5 лет можно жениться и т.д., но рядом: «Сухотка начинается колющими, как шило, болями».

В 1912 г. начался рецидив болезни: руки не могут удержать карандаш, ноги теряют подвижность. На страницах дневника отчаяние сменяется отчаянной любовью к жизни. Вот записи за январь 1915 г.:

6. Да что может меня теперь в самом деле испугать?

Я похож на неостывший еще труп, для которого оцепенение – самое настоящее и даже необходимое положение.

И все-таки благословенна жизнь! И труп имеет право благословлять ее.

8. Ясный январский закат похож на малиновое варенье с пенками.

РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.27

³ Юрий Эрастович Озаровский (1869–1924) – актер, автор книг по сценическому мастерству, режиссер Александринского театра. В сезон 1915–1916 гг. был приглашен режиссером в театр «Летучая мышь».

Первой его работой стала комическая опера «Граф Нулин» в двух картинах (музыка А.Архангельского). После премьеры (22 сентября 1915 г.) Балиев расторг договор с Озаровским, выплатив неустойку. Как прокомментировала это событие газета «Театр», «Озаровский просто не подошел по складу своего дарования “Летучей Мыши”. Он не мог найти в себе той “изюминки”, какая нужна для Балиевского подвала, он не мог натянуть “нерв” между сценой и зрительным залом. Он оказался слишком серьезным для общей

ПРИМЕЧАНИЯ

физиономии балиевского кабаре». Заметка кончалась словами Балиева: «Буду все ставить сам». (Театр. 1915 г. 24 окт. С.7. Подпись: Родя).

Л.Тихвинская, автор книги «Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917» (М.: Культура. 1995) сообщает, что над сценарием «Графа Нулина» работали Садовской вместе с Ходасевичем, но не указывает источника сведений.

28

¹ «Утро России» – ежедневная газета. Выходила в Москве в 1907, 1909–1918 гг. В 1916 г. Ходасевич регулярно публиковал на ее страницах стихи, переводные рассказы, статьи, рецензии, обзоры «О новых стихах». Здесь напечатаны статья «Державин» и сказка Туманяна «Капля меда» в его переводе.

² Юлий Исаевич Айхенвальд (1872–1928) – критик, историк литературы. Известны его книги «Силуэты русских писателей», «Спор о Белинском», «Пушкин». На последнюю Ходасевич откликнулся резкой статьей «Сахарный Пушкин». (Русские ведомости. 1916. №259 9 нояб.) Айхенвальду принадлежит наиболее тонкая статья о прозе Садовского в книге («Слова о словах», кн-во бывш. М. В. Попова. Пг., 1916).

³ Рецензию на книгу Садовского «Полдень» Ходасевич поместил в газете «Утро России». 1916. №30. 30 янв.

Книга Бориса Садовского подводит итог его десятилетней поэтической работы. В ней отчетливо выразились и положительные и отрицательные стороны его поэзии. К первым прежде всего следует отнести внутреннее благородство стихов Садовского, их близость к лучшим традициям русской поэзии. Достаточно уверенный в технике стиха, Садовской никогда не банален и никогда не вычурен. Но искусно избегая этих двух опасностей, Садовской тем самым создает третью, которой уже избежать не в силах: в стихах его нет и тени художественного почина, как почти нет попыток сказать новое и по-новому. Поэтическая традиция его надежная крепость. Гордый ее неприступностью, он, кажется, глубоко презирает все окружающее и не «унижается» до вылазок. Но такое отсиживание столько же отстраняет от него опасность поражения, как и возможность победы. Быть может, от этого, как, вероятно, и от душевного склада Садовского, лирика его лишена остроты и трепета, которые бы заставили читателя жить вместе с поэтом. От нее веет холодком. Кристально чист ключ поэзии Садовского, но утолит ли он чью-нибудь жажду? Не знаю.

ПРИМЕЧАНИЯ

⁴ В рецензии на книгу В.С.Федины «А.А.Фет» (Утро России. 1916. №51 20 февр.) Ходасевич упоминал статью Садовской, опубликовавшего прежде неизвестные подробности смерти Фета. (Исторический вестник. 1915. Т.140. Кн. 4)

Фетом Садовской занимался с 1904 г.; статьи и исследования, посвященные биографии и творчеству Фета, вошли в книги «Русская Камена» и «Ледоход». Был объявлен, но так и не вышел том «А.А.Фет. Жизнь и творения. Хронологическая канва».

⁵ Садовской рассказал о новом портрете Пушкина, обладателем которого он оказался, в газете «Утро России», 6 августа 1916 г. Портрет, приобретенный им в Нижнем, был затем продан Пушкинскому дому.

⁶ В 1915–1916 гг. Ходасевич делал переводы для сборников, выходящих под редакцией Брюсова и Горького: «Сборник армянской литературы», Пг.: Парус. 1916; «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М.: Московский армянский комитет. 1916; «Сборник латышской литературы», Пг.: Парус. 1917; «Сборник финляндской литературы», Пг.: Парус, 1917.

⁷ «Зоря» – «домашнее» имя Георгия Ивановича Чулкова, общего любимца в семье.

⁸ В сб. «Сад поэтов» (Полтава, 1916) опубликованы три стихотворения Ходасевича: «Авиатору», «Уединение» и «Со слабых век сгоняя смутный сон...» и два А. Ходасевич под псевдонимом София Бекетова. Публикацией А.И.Ходасевич очень гордилась. Художница Юлия Оболенская, близко знавшая Ходасевичей с лета 1916 г., писала подруге:

Анна Ив. читала мне по секрету свои стихи – на них лежит некоторый отпечаток Владислава. Мне запомнилась и понравилась, например, такая строчка:

... Небо
Свой синий выгибает свод...

Тут большая простота и форма ясная. Я очень поддерживала ее, чтобы писала, ей это много дает радости. Нельзя себе представить, как она мучается тем, что она «ничто». Очевидно, все ее женские успехи не удовлетворили ее...

(Не датировано, приблизительно май 1919 г. – Коммент.)

РГАЛИ. Ф.2080. Оп.1. Ед.хр.7

¹ «Тиняковская история» заключалась в следующем: в 1916 г. в 11-м но-

ПРИМЕЧАНИЯ

мере петроградского «Журнала журналов» появился стихотворный фельетон, подписанный «Б. Борисов».

Литературные типы (История одинокого человека).

Он в годы юности далекой
Был одинокий, одинокий.
Аскетом жил в уединеньи
И сочинял стихотворенья.
Потом в литературу вытек
И стал многообразный критик.
Сотрудничал везде и всюду,
Имея псевдонимов грудю.
Был то Кульковский, то Чинаров,
То Белохлебов, то Матаров,
Писал в «Печи» об идеале,
А в «Немщине» о ритуале.
Здесь был за Бейлиса горою,
Там Чеберячку звал сестрою.
Но «явным будет все, что тайно» –
Открылась истина случайно.
Пошли намеки, слухи, речи,
И критик вылетел из «Печи».
Пришлось и с «Немщиной» расстаться
И в безработные вписаться.
Теперь он снова одинокий.
О, род людской! О, род жестокий!

И слово «одинокий» (псевд. А. И. Тинякова), и другие псевдонимы этого «многообразного» журналиста (Куликовский, Чернохлебов, Немакаров) прикрываясь которыми он печатал, как сам признавал, «антисемитические статьи» о деле Бейлиса в газете «Земщина», указывали на Тинякова.

И он не замедлил откликнуться. В №13 того же журнала появилась статья Александра Тинякова «Исповедь антисемита (письмо в редакцию)». Он писал, что действительно работал в «Земщине», «Дне» и «Речи», но не одновременно, поэтому нельзя сказать, что он работал «на два фронта».

Всю вину за происшедшее он перекалывал на Садовского.

Эти «намеки, слухи, речи» обо мне, т.е. о моем участии в «Земщине», – распространил, как мне это доподлинно известно, г. Бо-

ПРИМЕЧАНИЯ

рис Садовской. <...>

В ноябре 1912 г. Б.Садовской пригласил меня принять участие в возникавших тогда «Северных записках», а меня порекомендовал издательнице, – и статья моя появилась в 1-м номере названного журнала за 1913 год. В сентябре же 1913 г. тот же самый г. Садовской, узнав, что я написал статью о деле Бейлиса, отнес ее к известному «правому» деятелю профессору N, и уже с «благословения» последнего и с его поправками эта статья и была напечатана в «Земщине». Напечатав там статью, я, естественно, прекратил отношения с «Сев. записками», – г-н же Садовской не раз убеждал меня бывать в редакции «Сев. записок», на что я отвечал отказом. Другими словами, г. Садовской увлекал меня на провокаторский путь, но увлечь не мог.

Далее Тиняков писал, что, хотя он и печатался в 1913 г. в «Земщине», а в 1915-м – в «Речи», – это свидетельствует лишь о том, что коренные перемены бывают у всех «мало-мальски мыслящих людей».

Что же касается меня, то *разницу* между этими газетами я вижу, а *бездны*, действительно, не вижу и вместиться всецело не могу и не хочу ни в ту, ни в другую, ни в какую-либо третью газету.

В конце письма автор взывал к справедливости.

Потому что я поступал, быть может, и необдуманно, но искренно и, в сущности, честно – и вот за необдуманность наказан... Г-н же Садовской поступал гораздо более предосудительно, чем я, а теперь он же «обличает» меня...

Садовской был посвящен в тайную двойную жизнь Тинякова. Вероятно, порой его даже восхищала небрежливая напористость, последовательность приятеля, решимость действовать. Оба исповедовали «русскую идею» в ярко национальной, державной форме. Садовской всячески поддерживал мнение о себе как о монархисте, играл роль зубра-помещика, щеголяя дворянской шинелью и фуражкой, сам называя это «голубой мечтой» и «донкихотством». Он не мог разрешить себе печататься в «Земщине», прежде всего из соображений эстетических, но – и боясь разоблачения. Но Тинякову помог найти верный путь в «Земщину»: свел с Б.В.Никольским.

Двойничество Тинякова одновременно забавляло его, в письмах он посмеивался, подтрунивал: «Как у вас в учреждении, все ли благополучно? Как поживают Ал.Ив.Куликовский и Ив.Ал.Чернохлебов?» Возможно, и рассказывал, как анекдот, историю о «перевертыше»: Александре Ивановиче

ПРИМЕЧАНИЯ

и Иване Александровиче, один из которых служит чистой литературе, а другой – силам черносотенным. Во всяком случае летом 1915 г. Тиняков был встревожен возможностью разоблачения, предупреждал, упрекал, угрожал приятелю:

Бог Вас знает, за что Вы желаете истребить меня из литературы! Я Вам зла не делал и не желал, а Вы разным паршивым жуликам рассказали что-то про какую-то «Земщину», – и они этим уже начали пользоваться в своих низких целях. Те, кому Вы это рассказали, – прирожденная чернь, холопы хозяйского рубля, косные тупицы, всесторонняя обозная сволочь. А мне стыда от этого не будет, ибо я *органически* выше и шире партийных и газетных перегооронок. Сознаю в себе, как святыню, мою Арийскую душу и не могу загнать себя ни в какую жидовскую каморочку. Может быть, для г.Ауслендера «День» и «Земщина» – крупные явления, а для меня это – просто газеты, которыми я не прочь при случае воспользоваться в целях добрых и общественно-полезных. И вот Вы, – ученик и поклонник Фета, – стали на сторону газетной рвани! Не могу я этого осмыслить, тем более что этим Вы грозите вырвать у меня последний кусок хлеба. Но Вы забыли, что Вы сами черносотенец и юдофоб, что Вы познакомили меня и с Никольским, и с Розановым, и что у меня есть копия с письма Б. Никольского к Вам по поводу одной статьи. А когда Вы у меня будете хлеб отнимать, я буду бороться, как зверь, как гад и как дьявол – вместе!

6 июня 1915

РГАЛИ. Ф. 464. Оп.2. Ед.хр.212

А в ответ получил своеобразное признание в любви:

Дорогой Александр Иванович!

Письмо Ваше меня удивило. С какой стати я буду делать Вам зло? Я Вас искренно люблю, несмотря на Ваше черносотенство, но мне грустно, что Вы пишете иногда не то, что думаете. А что лучше, быть «холопом хозяйского рубля» или Азефом? Но можете быть уверены, что я Вас не выдам, и никто не узнает о существовании Куликовского. Сидите спокойно и меньше пейте политуры. С Ауслендером я ни о чем не беседую, ибо он мне глубоко противен и чужд. Вот Вы наоборот. Я еще недавно хотел послать Вам объяснение в любви, хотел сказать, как Вы мне дороги, как я изо всех литераторов ценю больше всех именно Вас.

ПРИМЕЧАНИЯ

А Вы меня похабите и срамите всюду. За что?

Читал недавно Лескова «Очарованный странник» – нахожу в г-рое большое сходство с Вами. Это примите за комплимент.

7 июня 1915

РНБ. Ф.774. Ед.хр.37

Тон переписки делается раздраженно-колким, но в основе разрыва лежали разногласия не политические или этические, а ревность и человеческая обида, вызванная влюбленностью Тинякова в чету Мережковский – Гиппиус, которых Тиняков обожеествляет, как некогда Валерия Брюсова, превознося их в письмах к Садовскому. При этом, неистово служа «новым богам», он обрушивается на произведения Бориса Садовского.

Мережковский прислал мне полное собрание своих сочинений и несколько очень лестных писем. По совести сказать, это – честь, еще не заслуженная мною, и, конечно, – счастье великое! Я буду писать о нем большую статью и, вероятно, прочту публичную лекцию (мысль о лекции пришла в голову не мне). <...> Толстой, Достоевский и Мережковский – самые значительные русские писатели; даже Пушкин – при всем его художественном таланте и уме, не сказал слова, столь значительного, какое сказали они. Над ними только Тютчев и З.Н.Гиппиус. <...>

О книге Вашей пока не пишут, и это – хорошо: Вас надо «замалчивать», п.ч. направление Ваше очень вредное в общественном отношении. На эту тему можно бы написать интересную статью. Но, кажется, кроме меня, никто не подозревает в Вас декадента-дьяволиста. Я на это намекнул в заметке «Критика с погоста» и думаю, что глубоко прав. Вы *органически* очень близки к Бодлеру, и потому Ваша *сознательная* нелюбовь к декадентству глубоко искренна (мучительно искренна!) и очень интересна в психологическом отношении.

Садовской упрекал друга в предательстве, называл его в письмах «Азеф Мережкович», затем обида его выплеснулась в фельетоне «Литературные типы» (Б.Борисов – псевдоним Садовского). При этом он никак не рассчитывал на публичный скандал, который оказался ему не по силам: приходилось объясняться с родителями, знакомыми, оправдываться. Он чувствовал себя опозоренным, жаждал отпущения грехов, а не суда, пусть справедливого и дружеского. И тридцать лет спустя в воспоминаниях об Александре Блоке писал о том, что случайно оказался замешан в сплетне,

ПРИМЕЧАНИЯ

родившейся в одном из петербургских еженедельников. Ни оправдаться, ни звать обидчика в суд невозможно: очень уж грязен уличный журнальчик.

Никто, разумеется, этой клевете не поверил. Но мне по неопытности все мерещится, будто я погиб и моя репутация запятнана навеки. Теперь мне смешно, а тогда я страдал не на шутку. Знал ли об этом Блок? Вероятно. Когда я встал, чтобы проститься, он неожиданно в первый и последний раз поцеловал меня. Как нежен был этот дружеский поцелуй!

Звезда. 1968. №3. С.186

Тиняков тоже отправил свое «Письмо антисемита» – А.Блоку. Литературный скандал на мгновение сделал его «героем», позволил ощутить себя воином, бьющимся за дело «правых», «крестоносцем». Таков он – в письме к Блоку:

...надо бить по врагу и по его союзникам без пощады, памятью лишь об одном: о правде и величии того дела, за которое сражаешься. В битве не до красивых жертв и не до благородных слов и, вступая в борьбу по-настоящему, человек должен быть готов к тому, чтобы спознаться и с грязью, и с ложью, и с чем угодно, лишь бы душа не утонула в этом, а что сверху налипнет на нее всякая дрянь, – так это пусть: *в час победы или смерти все отмоем.*

РГАЛИ. Ф.55. Оп.1. Ед.хр.428

В наши дни «Тиняковская история» стала сюжетом «повести в документах» – «Исповедь антисемита, или история одной статьи» Вардвана Варжапетяна опубликована в журнале «Литературное обозрение». 1992. №2.

² В сущности, о том же Тинякову писала З. Н. Гиппиус в период интенсивного духовного сближения с ним и разговоров «о главном»:

Личность вмещается только в Бога, но в нее-то вмещается очень многое, и так надо, только надо, чтобы это многое – было доброе, светлое, а не темное, такое, что было бы не стыдно, не больно нести и донести. И вечный происходит отбор, выбор. Иной раз приходится брать тяжелый кусок шлака, если есть в нем золотые зерна; ради них трудишься, и отбор делаешь в пути, время помогает (слово неразб. – само? нам?)

Партии, группы и т.д., все, что касается правды *человечества*, все это отдельные земляные грубые куски, золотых слитков нет; но

ПРИМЕЧАНИЯ

надо хватать эти куски и *выбирать* те, которые можно очистить, в которых *есть* золото, а не пустая черная земля.

Вы брали эс-деков; вы испугались, что с ними можно «потерять душу» (личность). Да, можно, еще бы! Если личность еще так мала, что вмещается в них, а не их в себя вмещает. Вы пошли туда, где «личность» как бы явно поддерживается, пошли как бы в более для нее безопасное место, сохранное. («Анти» – не важно – для Того, для кого Христос не важнее моего «я».) Ну, и что же дальше? Ведь из этого «безопасного» места Вы тоже ушли. <...> Понимая ваш путь, ваши переходы и то, что вас толкало к Розанову, к Бор. Никольскому и т.д. – я не только не могла бы предать вас за него остракизму (Пешехонов я, что ли? Ленин?) – но и за более опасное Ваше плавание в черной реке не сумела бы поставить на Вас креста. Например, если бы во времена близости Вашей к Розанову последний убедил, соблазнил вас написать антисемитическую статью в каком-нибудь Русском Знамени и поместил бы ее там хоть бы без имени, – что бы этот факт прибавил или убавил для меня? Ровно ничего. Я верю, что вы тогда *искренно* так думали. Высказывать, что думаешь, даже честнее, чем замазывать. И верю я, что Вы никогда не были именно Розановым, т.е. человеком с двоящимися мыслями – во всякий час. А только вот в этом последнем случае я бы перестала вас... видеть, различать, такое без-личие просто выпадает из поля моего зрения, проваливается для меня...

Если с крайним стойким черносотенством я не интенсивно общаюсь в смысле борьбы, то потому, что некогда, и центр борьбы не тут, слишком они позади, много дела вне «Земщин». Но я их могу *видеть*, поскольку они длительно и бескорыстно (?) отстаивают свою явно пропадающую позицию. Но к «Розановым» я слепну <...>.

Еще вот что я вам скажу: всего ценнее и лучше было бы, если бы вы, совершая ваш дальнейший путь, на каждом повороте поверяли его, но не чужой правдой, а своей душой. Все люди вам в помощь; выбирайте из тех, от кого чаще получить лучшую верьте им, но не в них.

Все равно, пока правда другого не сделается моей, изнутри моей, как бы мною найденной – она во мне бездейственна».

30 декабря 1916. СПб.

РНБ, Ф. 774. Ед. хр. 11

³ Борис Владимирович Никольский (1870–1919) – профессор Петербург-

ПРИМЕЧАНИЯ

ского, Юрьевского университетов, специалист по римскому праву. Открытый, крайний черносотенец, демонстративно устроивший обед в честь представителей обвинения на процессе Бейлиса. Человек разносторонне образованный: поэт, историк литературы, переводчик. Писал работы о Пушкине, Н.Страхове, К.Леонтьеве, собиратель рукописей Фета. Подготовил к печати Полное собр.соч. А.А.Фета (Пг., 1901). Расстрелян петроградской ЧК.

⁴В ответ на «Исповедь антисемита» Садовской поместил в газете «Биржевые ведомости» «Письмо в редакцию» (17 марта 1916 г.), в котором писал:

...я никогда никакого отношения к «Земщине» не имел. Что касается «правого» профессора, упомянутого в заметке, то я, действительно, знаком с одним «правым» профессором, но с ним сблизился исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика, рукописями которого этот профессор владеет.

⁵За скупыми строчками о смерти Муни (так же сухо сообщил Ходасевич о самоубийстве друга поэтессы С.Я.Парнок) скрывались глубина утраты и чувство вины, преследовавшей его долгие годы. А. И. Ходасевич вспоминала об этих днях:

У Влади опять начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций, и, очевидно, и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муню в своей квартире.

Ново-Басманная, 19. М., 1990. С.398

И в стихотворных набросках Ходасевича Муни является призраком, видением, иногда «призраком кровавым», иногда солнечным зайчиком, но всегда это – дух, «друг заочный»:

Нет, не хочу ни пошлой [здешней] славы,
Ни жизни мелочных забот.
Твой призрак, гордый и кровавый,
На путь иной меня зовет.

1919

В конце концов образ Макбета, мучимого видениями («Зачем киваешь головой кровавой? ... Ступай отсюда, скройся, мертвый призрак!») и бессонной леди Макбет, пытающейся стереть пятна крови с рук («Ах, ты проклятое пятно! Ну, когда же ты сойдешь?»), слившись в едином чувстве всепоглощающей вины, порождают стихотворение:

ПРИМЕЧАНИЯ

Лэди долго руки мыла,
Лэди долго руки терла.
Эта лэди не забыла
Окрававленного горла.

Лэди, лэди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится –
Мне лет шесть не спится тоже.

1922

⁶ Речь идет о сб. Садовского «Ледоход. Статьи и заметки». (Пг.: Изд. автора. 1916).

30

¹ Рецензия Ю. Айхенвальда на сборник «Ледоход» напечатана в газете «Утро России». (1916. №127. 7 мая) В этом же номере обзорная статья Ходасевича «О новых стихах» (Бальмонт, Георгий Иванов и др.).

² Действительно, рядом со статьями о Лермонтове, Фете, Тургеневе и Каролине Павловой странно выглядит газетная (в худшем смысле) полемика с Сергеем Ауслендером, неодобрительно отозвавшимся о книге Садовского «Озимь».

32

¹ Садовской вспоминает в «Записках», что лечился иглоукалыванием у китаецца Тинь-Лоу близ Донского монастыря.

² Сергей Павлович Бобров (1889–1971) – поэт и теоретик литературы. С 1912 г. в группе московских поэтов «Лирика», затем входил в футуристическую группу «Центрифуга», возглавлял издательство «Центрифуга»; автор социально-утопических романов и научно-популярных книг по математике, выдержавших множество изданий, автор мемуаров «Мальчик. Лирическая повесть. На правах разговора с читателем» (М., 1976). В 1915 г. С. Бобров писал о сборнике Ходасевича в статье «Русская поэзия в 1914 г.» весьма задиристо:

Владислав Ходасевич выпустил в «Альционе» вторую книгу стихов «Счастливый домик»; несмотря на всю свою экстрастаромодность, стихи г. Ходасевича оставляют впечатление приятное, – конечно, пока нам еще не пришлось сдать все упражнения подобного рода в исключительное пользование «Известий Турке-

ПРИМЕЧАНИЯ

станской ученой архивной комиссии».

В «Альционе» же вышли стихотворения г.Рыбинцева, книга во все ничтожная, и «Самовар» Бориса Садовского, могший утешить кое-каких поклонников износившихся порфир.

Современник. 1915. №1. С.223

33

¹ С Сергеем Яковлевичем Эфроном Ходасевич познакомился в Коктебеле, где лечился летом 1916 г. 7 июля 1916 г. он писал жене:

Сейчас выяснилось, что до Джанкоя (полдороги) буду ехать с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой. Он очаровательный мальчик (22 года ему). Поедет в Москву, а там воевать. Студент, призван. Жаль, что уезжает.

В письме от 20 июля тоже есть упоминание об Эфроне:

Эфрон пишет, что ты так хорошо его приняла, что он опять к тебе собирается. Спасибо тебе за это: во-первых, он умный и хороший мальчик, а во-вторых, ты знаешь, как я рад, когда тебя любят и хвалят.

РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45

² Скорее всего речь идет о статье Ходасевича «Египетские ночи», опубликованной в журнале «Ипокрена», 1918. №№2–3. Первая часть ее в рабочей тетради Ходасевича написана в промежутке между 17.XI и 3.XII 1916 г.

³ Рукопись перевода «Воспоминаний итальянского дворянина» Стендаля сохранилась в архиве издательства М. и С. Сабашниковых. (РГБ. Ф.261. Карт.15. Ед.хр.4)

⁴ «Макаберные» стихи – от франц. *macabre* – похоронный, погребальный. В рабочей тетради Ходасевича с девизом «*Omen aversum*» (лат.) – «дурной знак» – одно за другим следуют стихотворения: «Слезы Рахили» – 5.X.1916; «Сны» – 13.XI; «Утро» – 13.XI; «Висел он не качаясь...» – 27.XI; «Смоленский рынок» – 12–13.XII; затем план статьи «Пушкин и смерть»; сценарий по рассказу Пушкина «Гробовщик» и множество незаконченных отрывков на тему близкой смерти:

Когда же прерву вереницу
Давно [своих] затянувшихся дней,
Велите запречь в колесницу
Двенадцать отборных коней...

ПРИМЕЧАНИЯ

Или:

Мой друг последний! День наступит:
Мой тихий прах похороня,
Ты в эти комнаты вернешься,
Так чутко помня про меня...

<...>

Наступит день, мой друг последний:
С моих вернувшись похорон,
Ты шляпу черную в передней...

<...>

Друг последний! Недалек он,
Тихий день твоей печали.
С похорон моих усталой
Ты вернешься к нам домой.
Из привычных глянешь окон -
Тот же вид, и те же дали...

РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Ед.хр.21

⁵ «Стремнины». Альманах I. М., 1917.

34

¹ Ходасевич пишет о сборнике Садовского «Обитель смерти». М.: Изд. автора. 1917. (На самом деле отпечатан в Нижнем Новгороде).

Сквозная тема книги может быть обозначена названием одного из стихотворений – «Цари и поэты». Для «политического» настроения автора характерно стихотворение, завершающее книгу, – «Конец».

Т.к. тираж сборника 250 экз. и он давно стал библиографической редкостью, приведу стихотворение «Памятник», отмеченное Ходасевичем.

Памятник

Мой скромный памятник, не мрамор Бельведерский,
Не бронза вечная, не медные столпы:
Надменный юноша глядит с улыбкой дерзкой
На ликование толпы.

Пусть я не весь умру: зато никто на свете
Не остановится пред статуей моей,
И поздних варваров гражданственные дети
Не отнесут ее в музей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Слух скаредный о ней носился недалеко
И замер жалобно в тот самый день, когда
Трудолюбивый враг надвинулся с востока
Пасти мечом свои стада.

Но всюду и всегда: на чердаке ль забытый
Или на городской бушующей тропе,
Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе.

1917

Высоко оценил «Памятник» и Гершензон. Получив от Садовского книгу, он написал ему:

«О, милый брат, какие звуки!» Я твержу себе на память Ваши стихи к сыну и Ваш «Памятник», не могу насытиться ими. Не узнаю Вас в них, так удивительно выросла в Вас душевная сила и мощь дарования.

РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 42

² Николай Павлович Рябушинский (1876–1951) – из семьи русских купцов, меценат и поэт-любитель, художник-любитель, издатель журнала «Золотое руно», – надолго остался памятен Ходасевичу своим отношением к литературе и искусству как к прихоти, роскоши.

³ Александр Иванович Гучков (1862–1936) – крупный промышленник, основатель «Союза 17-го октября», председатель Центрального военно-промышленного комитета, военный и морской министр во Временном правительстве.

⁴ Ходасевич вспоминает стихотворение Садовского, «Прадед» (1910):

Дед моего отца и прадед мой Лихутин,
Я слышу, как твоя во мне клокочет кровь...

ставшее своеобразной «визитной карточкой» поэта.

¹ В.Я. Брюсов вступил в коммунистическую партию в 1920 г.

² А.Я. Брюсов, проведенный в плену, в офицерском лагере 1915–1918 гг., пил оттуда И.М. Брюсовой:

ПРИМЕЧАНИЯ

Вы спрашиваете, откуда я знаю пиренейские языки? Ответ прост. Сидя два с половиной года в плену, я все время занимаюсь различными языками <...> Впрочем, теперь я уже перешел от романских языков к германским и в данный момент читаю Ульфиловский перевод Евангелия на вест-готском и старательно упражняюсь в английском произношении.

2 января 1918

РГБ. Ф. 386. Карт. 78. Ед. хр. 21

А. Брюсов перевел также «Лузиады» Камозэнса. Изучал книги по электротехнике, высшей математике и археологии, которую, вернувшись, сделал своей профессией. Вернулся в Россию в январе 1919 г.

³ Соломон Абрамович Абрамов – владелец издательства «Творчество», выпускал журнал «Москва» (1918–1922 гг.). Вышло шесть номеров. В журнале печатались Блок, Брюсов, Вяч. Иванов, Кузмин, Бальмонт, Мандельштам, Гумилев.

Ходасевич опубликовал в журнале «Москва» стихи: «Стансы», «Газетчик», «Вариации», «Так бывает почему-то...», «Слепая сердца мудрость».

⁴ Фемистоклюсом (шутливая отсылка к «Мертвым душам» Гоголя) Ходасевич называет Гаррика.

36

¹ В 1918 г. Садовской пережил глубокий духовный кризис, о котором рассказал в письме Андрею Белому от 15 декабря 1918 г.

Очувтившись глаз на глаз со своею внутренней пустотой и вырванный из условий прежней внешней жизни, я стал искать спасения у мудрецов. Кант помог мне мало, а Шопенгауэр сделал то, что меня дважды вынимали из петли. Жажда смерти особенно мучила меня последнее время, и только в силу случайности я остался жив.

Пытался я прибегнуть к религии, но православие после 27 февраля 1917 года мне стало чуждо, а припасть к ногам Христа прямо от себя я не могу и не смею.

<...> Я Штейнера достал, но читать боюсь. И прошу Вас, дорогой Борис Николаевич, помочь мне: указать, как мне читать и в каком порядке и что именно. И Ваше слово хочу услышать обо мне. Мой страшный опыт дает мне на это право. Есмь ли я умершее для жизни зерно или погибшая душа, заживо обреченная геенне. Катарсис ли все это или только смерть?

ПРИМЕЧАНИЯ

Опубликовано в статье С. Шумихина «Писатель из Новодевичьего монастыря» –

Садовской Б. Лебединые клики. М., 1990. С. 457

² Неприятие всего того, что повлекла за собой Октябрьская революция, проявилось у Садовского, в частности, в отказе печататься. Снял «зарок» он в 1922 г. 8 февраля 1922 г. Г. П. Блок писал ему: «Ваше решение печататься приветствую» (РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.55). Точнее, протест этот вылился в иную форму: историк литературы, собиратель документов и рукописей превратился в литературного мистификатора, а так как стиль писателей он умел воспроизводить с тем же искусством, что князь Мышкин – любой почерк, то мистификации Садовского украшают учебники по текстологии. См. Рейсер С.А. Основы текстологии. 2-ое изд. Л., 1978; публикацию М. Д. Эльзона «О воспоминаниях Н. И. Попова и их авторе» (Русская литература. 1982. №3) и статью Сергея Шумихина «Мнимый Блок?» (Литературное наследство. Т.92. Кн.4).

³ Сергей Юльевич Витте (1849–1915) – политический и государственный деятель, председатель Совета министров в 1905–1906 гг., автор Манифеста 17 октября 1905 г.

⁴ Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – историк, один из лидеров партии кадетов, редактор газеты «Речь» (а в эмиграции – «Последних новостей»), министр иностранных дел во Временном правительстве.

⁵ «...среди вин, сластей и аромат» – строка из стихотворения Державина «Фелица» (1782). Званка – имение второй жены Державина, где он жил последние годы.

⁶ «...с небес в голосах раздавался...» – парафраз строк Державина: «Но, будто некая цевница, с небес раздамся в голосах...» («Лебедь», 1804).

⁷ Ужас Ходасевича перед пошлостью буржуазного склада жизни сродни чувствам А. А. Блока, который в мае 1917 г. писал жене:

Как ты пишешь странно, ты не проснулась еще. Уезжая отсюда, ты мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах.

Блок А.А. Письма к жене. М., 1978. С.370

«Старая пошлость» мучила Ходасевича, ненависть к ней прорвалась и в упоминании о Жанне Гренье, – героини рекламы, обещающей населению России успех в деле выращивания «гармонических бюстов». Реклама обошла страницы всех московских газет и была своего рода классикой, образцом «аршинной поэзии».

ПРИМЕЧАНИЯ

⁸ Василий Васильевич Розанов (1856 – 1919) – прозаик, философ – в послереволюционные годы бедствовал с семьей чрезвычайно. По просьбе Гершензона Ходасевич говорил о судьбе его с Горьким и получил от него деньги, которые посылал писателю по почте. В письме к Гершензону от 22 ноября 1918 г. он сообщал:

Я перешлю деньги Розанову частями и не сразу, ибо, говорят, что переводы больше чем на тысячу рублей на руки получателю не выдаются, а заносятся на его текущий счет, и значит – пиши пропало.

De visu. 1993. №5. С.23

В рецензии на книгу Гиппиус «Живые лица» Ходасевич снова вернулся к этой истории, опровергая утверждение Гиппиус, что Розанов умер с голоду:

Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но – мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И – были люди, которые завидовали Розанову. <...> Он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности.

Современные записки. Париж, 1925. XXV. С.539–540

Гиппиус ответила ему письмом, где, в частности, спрашивала:

Почему у вас две мерки, для Горького и для Розанова, и, главное, каковы эти мерки? Почему Розанов сам виноват, что голодал, – не хотел продавать свои коллекции, а Горький ни в чем не виноват, хотя не только не продавал свои коллекции, но в то же время усиленно пополнял их? Правдивее была – тогда – мерка, разделение, которого мы придерживались: на покупающих и продающих.

15 сентября 1925

Гиппиус Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ardis, 1978. С.41

⁹ Юрий Александрович Никольский (1893–1922) – историк литературы, критик. После окончания Петербургского университета собирался заниматься Фетом и с рядом вопросов обратился к Садовскому. Знакомство переросло в дружбу, когда в 1918–1919 гг. Никольский читал курс в Нижегородском университете.

ПРИМЕЧАНИЯ

родском университете. Весной 1919 г. он вернулся из Крыма в Москву, а затем несколько месяцев пробыл в Нижнем и в конце июля 1919 г. переехал в Петроград. Предполагая перебраться во врангелевский Крым и оттуда за границу, по командировке Наркомпроса он приехал в Одессу. Садовскому Никольский в письмах дал знак, что собирается переходить границу:

Может быть, вечером сегодня вырешится дальнейшая судьба жизни. Подумай обо мне из своего далека, может быть, душевная помощь как-то поможет на расстоянии, если есть любовь.

1 сентября 1920

А позже сумел переслать весточку из Белграда:

Научная работа наладилась еще мало. С чужим языком дело ту же. чем я думал. Главное же, «отходил» – отходил от всего пережитого в тихой пристани. И второе главное, что Ее нету со мной. И отца. И тетки. И Тебя. Грущу.

24 июля 1921

РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 147

Никольский читал лекции в Белградском университете, печатал статьи в газете «Общее дело» и в журнале «Русская мысль», выпустил книгу «Тургенев и Достоевский. История одной вражды». (София, 1921)

Но тоска по оставшимся в России толкнула его принять участие в рискованной экспедиции В.В.Шульгина, тайно пробиравшегося в Крым. Никольский был арестован, как только высадился на берег. Умер в тюрьме от тифа.

37

¹ В Лавке писателей в 1919 г. работали и А.И.Ходасевич (за кассой), и В.Ф.Ходасевич.

Воспоминания о Лавке оставили и организаторы ее, и посетители: М.Осоргин, П.Муратов, В.Ходасевич, Ариадна Эфрон и др. В последние годы разысканы и описаны «самодельные книжки», которые писатели сдавали в Лавку на продажу, среди них – семь книжек Владислава Ходасевича. (см. статью Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина «Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1922 годов» в сб.: Ново-Басманная, 19. М., 1990)

Судя по дневникам Ю. Л. Оболенской, готовилась, а, возможно, и была сделана, но затерялась еще одна книжка Ходасевича, «Дом», с ее рисунками. В дневнике она пишет:

ПРИМЕЧАНИЯ

Утром звонил Владислав, предлагал сделать иллюстрации к рукописным сборникам его стихов <...> и к прочитанному им удивительному стихотворению о разрушенном доме».

А через несколько дней:

У меня несколько подавленное настроение из-за иллюстраций к Ходасевичу: нет времени сосредоточиться и выходит гадко.

Июнь 1920

РО ГЛМ. Ф.348. Оп.1. Ед.хр.4

38

¹Из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825).

²Ходасевич В. Путем зерна. М.: Творчество. 1920.

39

¹Александр Яковлевич Садовский (1850–1926) – отец поэта, краевед, археолог, историк. После его смерти в Нижнем Новгороде вышел сб. «Памяти Александра Яковлевича Садовского» (1928).

В чем заключалась его просьба к Горькому – неизвестно.

²Московский профессиональный союз скорее всего был образован в начале 1918 г., хотя 15 марта 1917 г. Гершензон писал брату: «Теперь здешние писатели заняты составлением «резюмации» и выработкой плана Союза писателей». (Гершензон М. Письма к брату. М., 1927. С.182.). Гершензон стал первым председателем Союза. Весной 1920 г. Московский профессиональный союз перерегистрировался и был переименован во Всероссийский профессиональный союз писателей.

³О том, как трудно жил Ходасевич в 1919–1920 гг., Юлия Оболенская рассказывала и в своем дневнике, и в письмах к подруге:

Вчера был у меня Владислав, похудел еще больше. Их подвал окончательно залило водой. <...> А.И., в пять часов придя со службы, готовит обед, и Вл. говорит, что на ней уже и румяна не держатся (как признак плохого состояния здоровья). Одним словом, они переезжают, куда, еще не решено. Я мечтаю, чтобы поближе к нам. Несмотря на нашу грязь, копоть и сырость, приводящие маму в исступление, Вл., сидя у нас, говорил: «Хорошо у вас, товарищи, тепло, чисто, картинки на стенах»...

9 марта 1920

А в письме от 18 сентября 1920 г.:

ПРИМЕЧАНИЯ

Владислава забирают на военную службу. Можешь ты понять это? Ведь его вообще надо положить в лазарет – сейчас он, кстати, и не дома, в санатории, но в городе, без воздуха. Нарывы все не прекращаются. Я, признаться, весной боялась за его жизнь, а теперь находят годным в строй. Или им все равно? А я удивляюсь, как он ноги передвигает.

РГАЛИ. Ф.2080. Оп.1. Ед.хр.7

Состояние Ходасевича было настолько тяжелым, что к службе его признали негодным.

41

¹ По характеру юмора, интонации можно предположить, что написано стихотворение в раннюю пору знакомства Ходасевича и Садовского, скорее всего в 1913 г.

«Греком» называлось кафе, очень популярное среди артистической и писательской братии: хозяин кафе был греком. Находилось оно на Тверском бульваре, напротив нынешнего здания Театра им. Пушкина. Летом столики из деревянного восьмигранного павильона, в котором располагалось кафе, выносили на бульвар. Здесь же была деревянная эстрада в форме раковины и играл военный оркестр. Слушателям раздавались программки: на обороте такой программы и написано стихотворение.

См. кн.: Лобанов В.М. Из художественной жизни Москвы в предреволюционные годы. М., 1968.

«На перекрестке двух дорог...»

Почти десять лет переписки В.Ф.Ходасевича и Б.А.Садовского (1912–1920 гг.) – в жизни обоих писателей период насыщенный, яркий, окрашенный радостной уверенностью в том, что «скоро настанет пора именно нашего возраста ею (литературой. – *Коммент.*) ведать»*, как писал Ходасевич. И добавлял: «У меня руки чешутся».

В эти годы он живет торопливо, взалхлеб, принимая участие во всех событиях московской литературной жизни, поэзовечерах, обсуждениях, любительских спектаклях, не пропускает собраний в Кружке и Эстетике, бегаёт в театры на генеральные репетиции и завязывает отношения с газетами самого широкого спектра: от либерального «Утра России» до «Голоса Москвы». Он не отказывается ни от какой работы: будь то литературная хроника, неподписные информации и репортажи или поденщина для «Летучей мыши», где стихи приходилось писать верстами, исправляя их прямо на репетициях.

Его будоражат и забавляют слухи, сплетни, литературные анекдоты, словечки как живая, подвижная часть литературного процесса. И можно сказать, что «Некрополь» – благороднейший памятник Серебряному веку – вырос из того литературного сора, который подхватывают и несут письма Ходасевича десятых годов. То, что вчера было житейскими, любовными историями и литературными анекдотами, на страницах «Некрополя» расцветает мифами о времени, о «людях русского символизма». Нечто подобное он описал в стихах:

Не воскреснуть минувшим волнениям
Голубых предвечерних свиданий, –
Но над каждым сожженным мгновеньем
Возникает, как Феникс, – предание.

«Февраль», 1913

* Выражение, которое Ходасевич любил и часто повторял в письмах, – шуточно перефразированная реплика Воротынского из «Бориса Годунова»: «Наряжены мы вместе город ведать».

В письмах Ходасевича к Садовскому, пожалуй, как ни в каких других, отразилась предвоенная, дореволюционная, а отчасти – пореволюционная литературная жизнь в кипении литературных школ, течений, групп и личных (или «чаепитийных») отношений.

Ходасевич рано стал профессиональным литератором, литература была делом его жизни и единственным средством заработать на жизнь. Денег всегда не хватало, литература не кормила, даже когда он был одинок, с семьей – тем более. И конечно, он благодарен Садовскому за то, что тот привлек к работе в «Русской молве», свел с Чацкиной.

Он встретился с Садовским в тяжелейшую пору: осенью 1911 года погибли мать и отец, не стало семьи, дома. Трудно представить, что бы с ним было, если б не любовь и поддержка Анны Ивановны Чулковой, Нюры, которая ради Ходасевича бросила безбедное, беспечальное житье с Александром Брюсовым. Появилась семья: жена и ее маленький сын. Денег не хватало на еду, на то, чтобы снять квартиру. Хорошо, что приятель семьи И.А.Торлецкий предоставил в его распоряжение дом в Гирееве.

С этого момента, а не в годы эмиграции, возникает у Ходасевича ощущение бездомности, скитальчества, которое в автобиографических записках отразится бесконечной сменой адресов, случайных недолговременных жилищ: Гиреево, Знаменка, Лужницкая, Пятницкая и т.д. (В годы эмиграции он будет говорить уже об отсутствии «адреса», в растерянности повторяя своим корреспондентам, что не знает своего «адреса».) В автобиографических записках Ходасевича при воспоминании о десятых годах, как рефрен, повторяется слово «голод», хотя они писались в начале 30-х, когда он испытал настоящий голод, голод 1918–1919 годов.

«1911. Болезнь. Италия. – Петербург. – Смерть мамы (18 сент[ября]). Бродячая жизнь. Нюра. Козихинский пер. Бедность. Голод. Смерть отца.

1912, февр[аль]. Гиреево. Голод. Переезд к Торлецким. Знаменка, 7. «Институт Красоты». «Мусажет». Садовской. Брюсов и Надя Львова.

1913. Бегство в Гиреево. Балиев. Надя Львова и ее смерть. «Лет[учая] Мышь». Лужницкая.

1914. Северянин. «Рус[ские] ведомости». «Счастливый домик». Томилино. Война. Пятницкая. Болезнь Нюры.

1915. Мебл[ированные] комнаты. Финляндия. Царское Село. – 7-ой Ростовский. 17 сент[ября] – именины Л.Столицы. – Гершензон.

1916. Болезнь. Корсет. Коктебель. Призыв. † Муни.

1917. Революция. «Новая жизнь». Коктебель. – Октябрь. Толстые. Цетлины и т.д.

1918. Чтение в кафе Ком. труда. и т.д. Книжная лавка. «Всем[ирная] литература». Горький.

1919. Ссора с книжной лавкой. – Книжная палата. Голод.

1920. 2 марта слег. Болезнь. 17 ноября – в Петербург»¹.

На этой канве закреплен рисунок отношений Садовского и Ходасевича, завязываются новые и новые узелочки: случайная встреча-разговор в «Мусагете»; нежная дружба с Надей Львовой, судьба которой отразилась в произведениях каждого из них: Ходасевич собирался сделать ее героиней повести, так и оставшейся в отрывках (рабочее заглавие – «Ложные солнца», 1925); Садовской перенес любовный сюжет и внешние черточки Н.Г.Львовой в поэму, которую назвал «Наденька» (1922).

История с Львовой резко переменяла их отношение к В.Я.Брюсову, которого в юности оба считали своим учителем. Садовской, сделавший Брюсова сквозным «антигероем» книги «Озимь» (1915), в 1909 году посвящал ему пышные славословия.

Валерию Брюсову
После «Всех напевов»

Орел! Над пасмурным болотом,
Где с шипом гады в клуб свились,
Вознесся ты широким взлетом
В свою заоблачную высь.

Упорно гордые усилья
Прорвали вихрь смятенных бурь,
И вот – свободный, ты в лазурь
Простер задумчивые крылья.

За этим следовали «победный клекот» и царственный венец, а заканчивалось стихотворение строчками:

Склоняются цари-стихии
Пред заклинателем-певцом².

В письме поэт сообщал Брюсову, что хочет предложить стихотворение в «Весы», и, судя по тому, что оно осталось неопубликованным, возможно, Брюсов и отсоветовал его печатать.

Брюсов привлек в редакцию журнала провинциального студентика, явившегося к нему с толстой тетрадью стихов. В 1904–1905 годах.

«Весы» представлялись молодым сотрудникам генеральным штабом, разрабатывающим стратегию и тактику литературных сражений. Военная терминология окрашивает мемуары Андрея Белого: «Шесть лет при боевых орудиях службу я нес с Садовским, Соловьевым...»; Садовского автор наделяет походкой «военного прапорщика»³. Даже когда Садовской объявил Брюсову войну, он видел и рисовал его в образе военачальника, только командующего вражеской армией, – кайзером.

Едва окончив гимназию, Ходасевич тоже мечтал работать в «Весах». Отправляя в письме к Брюсову свои критические заметки о переводе статьи Пшибышевского «С Куявских полей», он буквально умолял – интонацией, согласием на любые переделки, упоминанием Марине Эрастовне – напечатать заметку, пригласить его в журнал. Вероятно, он надеялся на давнее знакомство с Брюсовым: он-то попал в дом Брюсовых гимназистом пятого класса, он дружил с его младшим братом; наконец, Брюсов был посаженным отцом на свадьбе Ходасевича. Возможно, именно это «детское» знакомство, дружба с Александром, в литературные способности которого Брюсов не верил, привели к тому, что Брюсов оттолкнул Ходасевича. Рецензия его, опубликованная в «Весах» (1905, №4), оказалась единственной и случайной. В письмах к П.П.Перцову Брюсов насмешливо называл его «под-бальмонтиком, под-брюсником, под-весником»⁴. А в письме к Н.И.Петровской (1908 г.) Владя Ходасевич и Александр Брюсов (Alexander) являются дружной парочкой со своими первыми книжками, которые Валерий Брюсов сравнивает: «Владя издал свою книгу. Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пвстота, как стишки Alexander'a»⁵.

В отличие от Садовского Ходасевичу предстоял долгий окольный путь в литературу, через «Перевалы» и второсортную журналистику. Фигура Брюсова тем более притягивала его внимание, представляясь центром сложного многообразного мира, движение которого он направлял.

В письмах и разговорах Ходасевича и Садовского Брюсов, «мэтр», «сам» – постоянный персонаж, неиссякаемая тема: его книги, оценки, поступки.

Но бывшие ученики вырастали. Взгляд на них Брюсова оставался неизменным. (Стоит обратить внимание на письмо И.М.Брюсовой, которая и в 1915 году описывает Ходасевича как брюсовского подражателя, двойника, повторяющего его ритмы, интонации, манеру чтения и поведения.)

Потребность в самоопределении, самостоятельности заставляла их

высвободиться, ломать сложившиеся, привычные рамки отношений «учитель, мастер – ученик», толкала к разрыву, неминуемому, даже если бы не случилось трагической истории с самоубийством Н.Г.Львовой.

За годы 1904–1912 Садовской из молоденького «прапора» дорос до высших офицерских чинов. Его книгу статей «Русская Камена» (1910) приветствовал А.А.Блок: «Вы как бы нашли фарватер среди мелей истории литературы и литературной истории. Для этого мало любви к истории только или любви к архивам и библиографии, но необходима живая любовь. <...> – писал Блок. – Меня эта книга и научила, и вдохновила, и многое мне напомнила»⁶. Стоило появиться циклу стихов Садовского «Семейные портреты», как известный критик и фельетонист А.Измайлов напечатал на них яркую пародию – верный знак популярности. Прозой же Садовского, точностью реалий, умением воссоздавать воздух эпохи восхищался такой ценитель истории, как издатель «Русского архива» П.И.Бартенев. Он просто не мог поверить, что рассказ «Черты из моей жизни (Памятные записки гвардии капитана А.И.Лихутина, писанные им в городе Курмыше, в 1807 году)» – вымысел. «Какой подлог! – восхищенно твердил он. – В Англии за это Вам бы руки не подали».

1912 год был особенно счастливым для Садовского, когда он пожинал плоды литературного успеха. Е.А.Ляцкий пригласил его заняться прозой журнала «Современник»; Блок и Ремизов сочли его кандидатуру наиболее подходящей для литературного отдела «Русской молвы»; толстые журналы «Русская мысль» и «Северные записки» охотно печатали его произведения.

И поведение Садовского в кругу молодых московских поэтов в 1910–1911 годах – как описывает его К.Г.Локс – поведение «знаменитости»: переводы Юлиана Анисимова «он похвалил, но умеренно», о стихах Бориса Пастернака сказал, «снисходительно посмотрев на Бориса. – Все это не доходит до меня. Все эти новейшие кривлянья глубоко чужды мне, – заявил Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня»⁷.

Его письма к родителям напоминают победные релиции: названия журналов и газет выстраиваются, как перечень завоеванных крепостей, а цифры гонораров трубят о победе:

Милые папа и мама.

Извещаю Вас о перемене в моей жизни: я приглашен редактором литературного отдела в новой газете «Русская молва». Жалованье – 200 р. Общий же заработок может достигнуть цифры вовсе большой.

В «Русской мысли» приняты обе повести...

«Нива» по телефону заказала мне статью о Тютчеве. Вчера я был там, и мне тотчас выдали 75 р. аванса...

Хорошо обстоит дело и с «Речью», и с журналом Чацкиной, где я буду играть первую скрипку.

Пока 1913 год восходит при добрых предзнаменованиях.

27 ноября 1912 г.⁸

Но и для Ходасевича 1911–1912 годы в творческом отношении важны: завершен путь ученичества, ощущение уверенности в себе и своем деле создают особый энергетический настрой, который электризует письма. «Бросьте Вы все любви: некогда!» – их шуточный девиз. Он обещает Садовскому: «Строками я Вас засыплю: возвращать будете и пощады запросите». Чуть раньше другому приятелю, журналисту Е.Янтареву, Ходасевич сообщал: «Пишу стихи и прозу с необычайной дерзостью: в прозе кувыркаюсь, а в стихах не боюсь передавать впечатления жизни текущей: так и надо»⁹.

Утверждению внутренней самооценки («так и надо»), конечно, способствует и выход второй книги стихов «Счастливый домик», и то, что ее заметили и оценили «мэтры» российской поэзии: Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев (в письме к Тинякову Ходасевич упоминает о пятидесяти рецензиях!), и то, что пригласили обозревателем в «Русские ведомости».

Но дело даже не во внешнем признании: со стихами «Счастливого домика» пришла радость узнавания лица, открытие «я», «моего». Впервые молодой писатель ощутил и значимость имени.

До этого Ходасевич с юношеским озорством пользовался огромным количеством псевдонимов, меняя маски, как известный иллюзионист Фреголи. Масок-псевдонимов в его «гардеробной» набралось бы на две актерские труппы: заезжую – Гарольд, Сигурд, Кориолан – и российскую: П.Семенов, Георгий Р-н, Ф.Маслов, Вас.Даев, Елисавета Макшеева и т.д. С середины 1913 года он почти перестал пользоваться псевдонимами, оставив один, связанный с переводом пьесы Красиньского, – Сигурд (Сигурд – alter ego Ходасевича: герой трагического порубежья, смены эпох – рождения христианства на развалинах Рима.)

Его индивидуальное созревание как поэта происходило на фоне разрушения школы символизма. И Садовской и Ходасевич, оба связанные с символизмом, понимали, что некий этап поэзии пройден, завершен. Ходасевич писал об этом и в докладе «Надсон» (1912) и в статье «Русская поэзия (обзор)»: «Внутреннее развитие той школы, которая известна у нас под именами «декадентства», «модернизма»

и «символизма» (в узком значении слова), надо признать законченным» (1914)¹⁰. С ней умерла последняя, с его точки зрения, духовная школа, задачи которой выходили за рамки литературы только. В письме к Горькому в 1924 году он выразил эту мысль с грубоватой запальчивостью и резкостью: «По-моему, поэзия наша примерно с 1910–11 года заметно глупеет. <...> Начали акмеисты, продолжили футуристы. <...> Так что мне кажется, что в поэтической губернии если и не вовсе неблагополучно, то уж во всяком случае – «угрожаемо» по глупости, по принципиальному отказу от интеллектуализма»¹¹. (Ходасевич и в 30-е годы подчеркивал, что символизм остался для него «самой определяющей позицией».)

Разрушение, ослабление прежних литературных связей, скрепов, заставляло искать сверстников, единомышленников, объединяться, подтолкнуло Садовского к идее создания журнала «Галатея», вокруг которого сгруппировал он своих петербургских друзей (А.И. Тинякова, А.А. Кондратьева, В.А. Юнгера, М.А. Долинова, А.А. Конге) и московских (Юлиана Анисимова, Ходасевича). Журнал рассыпался во время подготовки первого номера, от всего замысла осталось в печати сообщение о выходе «Галатеи» «под дружеской редакцией Б. Садовского и В. Ходасевича».

В этот период и поэтические пути их сближаются. Поэтическое родство было замечено некоторыми рецензентами, которые в книгах Садовского «Самовар» и «Счастливый домик» Ходасевича отметили общее направление поиска: «простое» и «малое» они сделали предметом поклонения, осветив «домашнее» духовностью и даже своеобразной мистикой.

19 декабря Садовской и Ходасевич устроили совместный вечер в Обществе свободной эстетики (с ними читал стихи и Сенечка Рубанович)¹². Для Ходасевича желание вместе читать стихи, совместный вечер – свидетельство близости, отметка пика дружеских отношений. Так было и на вечере 5 февраля 1915 года, когда он читал стихи с К. Липскеровым (третьим был все тот же Рубанович). Его единственный общий вечер с Мариной Цветаевой 2 февраля 1935 года состоялся после того, как они посвятили друг другу очерки об Андрее Белом, «побратались»; в этом же ряду и выступление с В. Сириным 8 февраля 1936 года.

Но, может быть, не меньше любви к поэзии их сближал общий враг, враг особенно опасный в период распада символистской школы с ее духовной дисциплиной и высоким культурным и профессиональным уровнем. Появление футуризма, осознание его опасности для литературы (при всем различии понимания футуризма как яв-

ления) сближало, объединяло их, заставляло чувствовать себя единомышленниками. В «канве автобиографии», написанной Ходасевичем перед отъездом из России¹³, 1914 год, прошел под знаком футуризма: словом «футуризм» он начинается, словом «война» кончается: футуризм и война как бы рифмовались.

Оба восприняли футуризм как болезнь. Для Садовского это «дурная» болезнь: «Крошечный прыщик футуризма угрожает заразить собой исполинское тело необъятной России»¹⁴.

Ходасевич в поздней статье «О Горгуловщине» (1932) тоже описывает футуризм как «недуг нашей культуры», но это глубокая душевная болезнь, заключающаяся в «расстройстве идейной системы»: «Любая идея, только бы она была достаточно крайняя, резкая, даже отчаянная, родившаяся в их косматых мозгах или случайно туда занесенная извне, тотчас усваивается ими как непреложная истина <...> и становится идеей навязчивой»¹⁵.

Современники Ходасевича понимали, что наступление футуризма многое очертило, определило в его поэзии. Г.В.Адамович, откликаясь на смерть поэта, писал: «Ходасевич был звездой блеска чистого, но скромного, а уж когда начался футуристический натиск, он, казалось, совсем замкнулся в изящном, безупречно-«культурном», но чуть-чуть холодноватом стоянии на страже заветов»¹⁶. Заметьте: он почти повторил слова К.Г.Локса о Садовском: «хранитель священного огня».

Впрочем, неприятие футуристов у Ходасевича сложилось не сразу. Он вполне добродушно встретил их, считая движущей силой этого течения, как и всякого другого, стремление к обновлению слова. Если он и упрекал Игоря Северянина, то скорее в робости, жалея, что новшества его коснулись только словообразования. В статье «Северянин и футуризм» он изобразил футуризм в образе классического хвастуна, фанфарона – Тартарена и одновременно как воображаемого им, а потому нестрашного и негрозного, хоть и рыкающего, льва.

В статьях и рецензиях Ходасевич последовательно отбивал от футуристического стада экземпляры, на его взгляд, наиболее здоровые, жизнедеятельные; докапываясь до поэтических корней, с радостью обнаруживал родство с поэзией классической: на этом построены и его первая заметка о стихах Игоря Северянина, и рецензия на книгу Е.Гуро «Небесные верблюжата».

Из пестрой толпы футуристов он выбрал, выхватил Маяковского как наиболее талантливого, а главное, явившегося, по словам Ходасевича, «с известным запасом мыслей, окрашенных очень ярко...».

В нем увидел он главного противника, ему объявил войну. Схватившимися в поединке изобразил Ходасевича и Маяковского и Борис Пастернак в «Охранной грамоте».

Казалось бы автор рассказывает о случайном эпизоде, свидетелем которого оказался: Маяковский и Ходасевич на Тверском бульваре играли в орла и решку. Ходасевич проиграл, заплатил проигрыш и ушел в направлении к Страстному монастырю. Самый эпизод совершенно реален: оба, как известно, игроки страстные, а личная вражда в предреволюционную пору их не разделяла, они были литературными противниками, что не мешало встречаться в Кружке и Эстетике, на литературных вечерах, почему бы не повстречаться в кофейне «Грека»?

Но невинная игра в орла и решку Пастернаком описана как противостояние, противоборство двух сил, двух почти символических, знаковых фигур, что резко прочертил Лазарь Флейшман в остроумной, тонкой книге «Пастернак и двадцатые годы».

Анализируя этот эпизод, до предела заострив ситуацию, исследователь показал, что в этой паре один (Маяковский, разумеется) «безусловно олицетворяет “новаторскую” часть поколения, а второй, убежденный декларативный пушкинианец, является самым значительным представителем «эпигонской» его половины»¹⁷. Для Пастернака явление Маяковского ценно прежде всего неслыханно новым содержанием, которое несла в себе *личность* поэта. Неслучайно на поле битвы, покинутом Ходасевичем, Маяковский читает трагедию «Владимир Маяковский». «Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»¹⁸, – писал Пастернак.

Но именно этого-то «содержанья» Ходасевич не принимал: для него фигура Маяковского олицетворяла «улицу», человека, отравленного массовым сознанием.

«Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не ее внутренним двигателем, не ее истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем. Маяковский первый сделал их не материалом, но целью своей поэзии»¹⁹, – писал он. Пристально взглядываясь в Маяковского, вывел Ходасевич свою формулу футуризма: «Хам символистского Ноя».

При этом грубость и громкость голоса казались ему не природными – нарочитыми, выкованными на потребу улицы, чтоб быть узанным и признанным, понравиться. Так в характеристике Маяковского появляется слово «шулер». («Декольте-Маяковский (какая отличная фамилия для шулера) не хулиган, а просто кабафут»...)

Любопытно, что тот же упрек в «рыночности» предъявит Б.Л.Пас-

тернак (нет, конечно, не Маяковскому – «Гилее»): «Если как-то то-ропливо злободневна и рыночна Гилея и П[ервый] Ж[урнал] Р[усских] Ф[утуристов] – то это *умышленная* порча воздуха, это та принципиальная вонь, которая, по их понятиям, составляет неподражаемую прелесть и секрет их сыроварни. Это никак не оплошность, это сознательное озорство. Необходимость и надобность этой приправы к футуризму и по сю пору для меня загадочна» (12–14 июля 1914 г.)²⁰.

Как же нестерпим этот запах казался Ходасевичу!

Вырвавшееся в 1913 году словцо «декольте-Маяковский», в 1929 году обернется заглавием статьи «Декольтированная лошадь», словно раскаленный, гнев его вылился в форму да так и застыл навсегда. Он не прощал футуристам потаканья публике, точно так же, как возмущался Каменским и Арцыбашевым, в угоду читателям («хозяин – барин» – это целая философия) поклонившимся Красоте: «Леда Каменского прощоголяла перед барином в одних золотых туфельках»²¹. Золотые туфельки и кастет («Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе!») – для Ходасевича явления одного порядка: способ понравиться публике, в одном случае ее ублажая, в другом – дразня.

Но заигрывание с читателем – невинное кокетство по сравнению с тем предательством независимой русской литературы (для Ходасевича это устойчивое словосочетание, все прочее – не литература), которое Ходасевич усмотрел в служении футуристов советской власти. То, с какой легкостью, отказавшись от зауми, они сделали содержанием стихов последние резолюции и постановления съездов, декреты – нужды советской власти, заставило его причислить футуристов к «врагам опасным, сильным, но недостойным». Он писал в статье «О Маяковском»: «В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь бессмысленный смысл хлебниковского восстания, в борьбе с содержанием – Маяковский пошел хуже чем на соглашательство: не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое «безумство храбрых», они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и преуспел. Он уничтожил все, во имя чего было ими выкинуто знамя переворота, но, так сказать, переведя капитал футуризма, его рекламу, на свое имя, сохранил славу новатора и революционера в поэзии».

Гнев ослепляет его, делает нетерпимым и пристрастным, что Ходасевичу-критику совершенно не свойственно. В его статьях о футуризме (прежде всего – о Маяковском, всегда – о Маяковском) точные наблюдения соседствуют с вульгарным истолкованием литературных

явлений (чего стоит объяснение сосредоточения футуристов в Москве тем, что там находятся все советские учреждения!) гнев искажает фигуры литераторов в шарж, злую пародию.

Маяковский в статьях Ходасевича становится персонажем Окон РОСТА, причем исходным материалом для карикатур служат стихотворные лозунги поэта: вот этот «горлан и главарь» ведет уличные толпы на «героический приступ» немецких магазинов, а вот большевики делятся с ним рябчиком, отнятым у буржуя, «в награду за то, что содействовал он удушению всякого “идеализма”, угашению всякого духа». А вот подымает он бунт на футуристическом «пароходе современности». И там, где прежде сбрасывали за борт Пушкина и Лермонтова, поклоняются Семашко, и «гигиеническим подтяжкам имени Семашки» развеваются над пароходом, как флаг.

Всю статью «О Маяковском» можно разбить на отдельные кадры-эпизоды, последовательно рассказывающие историю поэта яркого, но предавшего свой талант, отдавшего его в услужение власти. История эта задевала, подрывала веру Ходасевича в предназначение поэта в России. На протяжении двадцати лет продолжал он свою яростную борьбу²², начавшуюся в день 6 февраля 1915 года, когда он бросил Маяковскому свой первый вызов – письмо в Эстетику с требованием извинений, требованием защиты чести и достоинства литераторов, а главное – поэзии от «парнасского большевизма» футуристов. Конечно же, прежде всего он хотел привлечь внимание Брюсова, на которого жаловался Садовскому в письме 27 октября 1913 года: «В Москве гнусь, гнусь, гнусь, гнусь и гнусь. Слякоть футуристическая. Писаревы экзотизированные шляются, буянят, бьют стекла. Бальмонт играет в истерическое бебе. «Сам» ослаб, попустительствует».

На это же сетовал Садовской, в письмах рассказывая А.И.Тинякову о своих московских впечатлениях, о встречах с Валерием Брюсовым: «Очень уж только привлекает футуристов. Крученных у него даже чай пил при мне. Познакомил меня В.Я. и с Маяковским» (24 марта 1913 года). Московские встречи подготовили, определили замысел книги «Озимь», о которой Садовской писал 10 июля 1913 года: «Готовлю брошюру о русском футуризме, издам ее в Нижнем осенью.»

В бой рвался и Ходасевич. Насколько серьезно отнесся он к письму-протесту трех говорит и тот факт, что Муни, на пять дней приехавший в Москву из действующей армии (где он пропадал, писал отчаянные письма, грозился сойти с ума, а через год покончил с собой выстрелом из револьвера), был вовлечен, заверчен событиями: все пять дней Муни и Ходасевич обсуждали происшедшее. Проезжая

через Варшаву, Муни прибежал рассказать о случившемся Брюсову, при этом так горячился и возмущался, что Брюсов ничего не понял – заворочался, заворчал и потребовал от жены ответа: что произошло и произошло ли.

Не остыв от письма в Эстетику, Ходасевич бросился писать Садовскому, зная, что найдет у него поддержку и понимание.

Мы знаем, что сближало писателей: связи были многосложные – творческие, деловые, семейные, дружеские. Приезжая в Москву или проездом в Нижний, куда Садовской обычно отправлялся на Рождество и на Пасху, он останавливался у Ходасевичей. Болел, лежал с грелкой, кокетничал с Анной Ивановной, катал ее на автомобиле, дарил игрушки ее сыну, посылал из Нижнего особый сорт яблок – антоновку-каменку, ночами обсуждал с Ходасевичем проект журнала, читал стихи, слушал стихи, злословил, при случае помогал Ходасевичу, а когда заболел – от него получал дружескую поддержку и помощь.

Что же разъединило их, почему они, даже не поссорившись, распались, и Садовской в многочисленных вариантах своих «Записок», в дневнике, на страницах которых оставил зарисовки множества современников, не вспомнил, не упомянул Ходасевича? Есть одна-единственная запись, относящаяся к 30-му году: «В 1924 году разнесся слух, что я умер, и Ходасевич в одном журнале поместил мой некролог»²³.

Для того чтоб понять, что разделило их, надо представить Садовского, писем которого к Ходасевичу не сохранилось. Читателю современному это имя знакомо: в 1990–1996 годах издавалась его проза, письма и дневники. Труднее было в начале 80-х, когда я впервые готовила публикацию писем Ходасевича: имя Садовского было выброшено из истории литературы и забыто. И хотя интерес к Садовскому иным критикам кажется досадной случайностью, он продолжает привлекать к себе внимание исследователей и как писатель, сказавший свое слово и по-своему, и как особый тип общественного сознания, настолько характерный, что именно этот тип российская действительность до сегодняшнего дня воспроизводит с удивительным постоянством.

Правдивость и цельность, которые Ходасевич отметил в поэзии Садовского, характеризуют и его мироощущение. В 1921 году Садовской, долго и болезненно метавшись между антропософией и православием и найдя в православии поддержку и духовную опору, написал статью «Святая реакция (Опыт кристаллизации сознания)», в которой нарисовал идеальную структуру России. Главная роль отводилась в ней церкви: «Дело Христовой Церкви – собрание. Собрать государство, собрать личность. Успокоить мятущееся сознание»;

«Небесный Царь вручает свой жезл земному», отсюда божественное происхождение монархии. Аристократия кристаллизуется на почве церковно-государственной монархии. А так как все необходимые человеку законы заложены христианством – ничего нового нет и быть не может. Любое движение, прогресс расплывает, разрушает и строй, и личность. Демократический строй априорно враждебен кристаллизации, влечет за собой хаос, брожение, распад. Вывод: реакция – духовна («Россия искони была оплотом святой реакции») ²⁴, а любовь к царю – стихийно-российское чувство.

Самое удивительное, что он пришел с готовой моделью мира и явил тип сознания, которое не менялось ни под влиянием возраста, ни под давлением событий. По письмам мы видим, как с годами меняется Ходасевич: голос, интонация, духовный строй. Садовской не менялся, кажется, от рождения.

В большой провинциальной разночинской семье лесничих, уездных лекарей, исправников, офицеров, священников он родился, как писал в дневнике, «отщепенцем». Десятилетний мальчик, едва переползающий из класса в класс, при случае цитирует стихи Дмитриева, а детские обиды выражает языком XVIII века: «Как балует судьба и наказывает людей, точно слепая!»

Детским почерком он записывает, что болеет чесоткой, мечтает купить самовар, подобрал сокола, которого назвал «Улет», раскрашивает картинки в «Царь-Колоколе» и в первый раз убил кулика. Но по убеждениям это законченный, сложившийся консерватор. Вот записи из тетрадок 1895–1901 годов:

«Женщина имеет одно предназначение: штопать чулки и нянчить детей» (1895).

«Завтра – Священный день Тезоименитства Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича. Я горжусь тем, что нахожусь под властью самодержца, а не паршивого королишки, который слова не может пикнуть без согласия своего рейхстага или парламента, дающего ему средства на жизнь; не под властью взбалмошной республики, глупейшего государства в мире, а самодержца, помазанника Божия, отцы, деды и прадеды, которого властвовали также над нашими предками» (1896).

«Я желал бы, чтобы все иностранные слова были выброшены из русского языка и заменены чисто русскими. Еще А.С.Шишков желал этого и приводил примеры, например: актер – лицедей» (1899).

«С потерей самодержавия я скорблю о последнем призраке бывшего. Но нет – не воскресить его! Все минуло. Эти мелкие людишки не поддержат великого завтра. Все измельчало, все пало. Степь распа-

хана, свистят поезда, деревья вырублены – нет воли, дикой природы» (1899).

В стремлении защитить самобытность России, удержать ее от движения, свернуть с европейской колеи любой ценой: загнать в тупик или под откос, он мечтает повернуть ее на Восток. «Пойдем в Азию. Долой Европу. Мы будем только рабами, повторим Запад, отстанем на столетия, забыв свою “идею”. А пойдя в Азию, мы создали бы “свою” культуру» (1901)²⁵.

И еще резче, эмоциональней: «Не европейскому х. сломать русскую ц.»²⁶.

В годы предреволюционные Садовской – атеист среди атеистов – не видит главенствующей роли церкви, но кристаллическое сознание и без нее выстраивает законченную модель миропорядка: Монарх, Самодержец, Первый дворянин своим попечением обнимает дворянское сословие, собирает и сплачивает его, так же как дворяне строгой любовью опекают и держат крестьян. Как символ завета, нерасторжимости, прочности их союза Садовской изображает в своих произведениях брак крепостной и помещика.

«Священной для меня памяти А.Л. и А.Н.Лихутиных» посвятит он стихотворный цикл «Семейные портреты», и в «Записках» найдется для них почетное место: смиренная, не знающая грамоты прабабка и крутой капитан-исправник, псовый охотник, медвежатник с надеждой смотрят на внука с портретов, писанных крепостным художником: «Спесивый прадед с янтарным чубуком, в черном казакине, с подстриженными седыми баками; кроткая прабабушка в белом с голубыми лентами чепце»²⁷.

Россия в представлении Садовского – деревня, «деревенское глухое затишье, глубины чистой тишины и одиночества». «В окна усадьбы моей днем и ночью глядит седая пушистая поляна с чернеющей вдали лесной опушкой», – писал он во вступлении к сборнику «Озимь» и заканчивал его словами: «Хутор Борисовка (Садовской тож)».

Сколько же этих усадеб и поместий нарисовал он в своих произведениях, будь то стихи, повести, пьеска для театра-кабаре, «Записки» или книги статей – в каждое приносил он частичку, горстку деревенской России, называя поименно: Щербинка, Ройка, Владыкино. Даже молодых его приятелей эта манера раздражала и смешила. Юрий Никольский, принимавший в нем многое, принявший «нарочный излом и николаевскую шинель», читая «Озимь», упрекнул друга: «...Хутор Борисовка (Садовской тож) – та же брюсовщина, с которой мы боремся»²⁸.

Но он-то в этих поместьях, усадьбах, разбросанных в полях, ви-

дел живую клеточку истории, где прошлое наследуется будущим, почти материально, из рук в руки передается вместе с портретами, бисерными кошельками, дедовскими «луковицами», которые писатель подробно и любовно описывал.

Дух поэзии, душу русского жилища Садовской увидел в самоваре, объединяющем и согревающим барский дом и крестьянскую избу, мещанскую залу с геранькой на окошке и безличие мебелированных комнат. Он писал в предисловии к сборнику «Самовар»:

«Самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место. Как явление чисто-русское, он вне понимания иностранцев. Русскому человеку в гуле и шепоте самовара чудятся с детства знакомые голоса: вздохи весеннего ветра, родимые песни матери, веселый призывный свист деревенской вьюги. Этих голосов в городском европейском кафе не слышно. <...>

И, конечно, не чай в собственном смысле рождает в нас вдохновение; необходим тут именно самовар, медный, тульский, из которого пили отец и прадед; оттого скарденный буфетный подстаканник с кружком лимона так безотрадно-уныл и враждебен сердцу. Самовар живое разумное существо, одаренное волей; не отсюда ли явилась примета, что вой самовара неминуемо предсказывает беду?

Но все это понятно лишь тем, кто сквозь преходящую оболочку внешних явлений умеет ощущать в себе вечное и иное. Потребно иметь в душе присутствие особой, так сказать, *самоварной мистики*, без которой сам по себе самовар, как таковой, окажется лишь металлическим сосудом определенной формы, способным, при нагревании его посредством горячих углей, доставить известное количество кипятку.

Б.С.

31 декабря 1913. Владыкино.²⁹»

И когда в письме к А.В.Бахраху в 1923 году Ходасевич иронизировал над тем, что из русского языка в «европейский обиход вошли только три понятия, выражаемые русскими словами, Zar, Sowiet, Rogrote. По-видимому, это и суть неотъемлемо русские и непереводаемые понятия. (NB: «Samowar» – не привился и называется Tee-Maschine)³⁰ – не вспомнил ли он Садовского? Во всяком случае Садовской мог бы быть доволен сим бесспорным подтверждением «мистическо-русских» свойств самовара.

Любопытно, что и «самоварная тема» закодирована в детском опыте писателя: не сочинена, не придумана, проходит через дневни-

ки как тема музыкальная, обогащаясь вариациями: здесь и домашний вечерний самовар, когда мальчик выпивает за вечер семь чашек чаю; и самовар у тетушки в гостях: в чай она опускает дольки апельсина; самовар на балконе деревенского дома после того, как в лесу собрана корзина ягод и сушится мокрая от росы одежда; и узорчатый самовар у нувориша, соседа по даче, под крики «Мадемуазель, прэ-нэ!» и «Анкор!», где роскошное чаепитие украшают дорогое платье хозяйки и коробка мармелада. Подростка томит мечта о собственном маленьком самоваре, и, для того чтоб купить его на ярмарке, четырнадцатилетний Борис подражается копать ямы в саду у дяди (по копейке за яму, а собрать предстоит 3 р.). В последний раз «самоварная тема» аукнется в письме к Чуковскому, написанном в декабре 1940 года: «Живу под церковью в полной тишине, как на дне морском. Голубой абажур впечатление это усугубляет. Встаю в 6, ложусь в 12. Женат с 1929 года и вполне счастлив. У нас четыре самовара (старший – ровесник Гоголя), ставятся они в известные часы и при известных обстоятельствах.»³¹

Если уж не удалось сохранить дом, поместье, то символ домашнего уюта – самовар – выстоял, выдюжил, пережил революции, сберег жаркий уголок домашнего тепла.

Впрочем, Садовской в стихах и прозе так любовно описывал поместья, так тщательно обставлял их вещами, обживал скорее всего потому, что в действительности никаких поместий у него не было. Свой первый дом он начал строить в 1915 году, тот самый: «Борисовка (Садовской тож)», он же – Ройка; торопил родителей, умолял ускорить постройку, словно чувствовал, что так и не доведется ему пожить в собственном доме в окружении любимых портретов, книг и рукописей.

Казенные квартиры, казенные дачи департамента лесных уделов. Но вокруг – исконный русский пейзаж который и стал источником его поэзии. С детства Садовской видел русский пейзаж, как пейзаж исторический. Это тонко подметил Ю. Айхенвальд, написавший, что Садовской в своих произведениях реставрирует любимый им XVIII век не только в психологии, быту, вещах, но создает «археологию природы»: «автор особенностями своего изложения сумел показать и ее возраст, и не просто у него “робкие полевые цветы”, а принадлежат они именно к XVIII веку...»³²

На деревенских праздниках и в косном деревенском быту подросток видел кипение подлинно народной жизни, яркой и пестрой, как лоскутное одеяло, где находится место и языческим верованиям, и христианским обрядам. В детских дневниках, где впечатления не

пропущены через «кристаллическое сознание», не замерли как «живые картины» в заданных позах, особенно заметно, как живо впитывал, усваивал он увиденное, как умел подметить и передать смешение и наложение вековых пластов, составляющих характерную черточку российской жизни. Вот запись, сделанная 19 мая 1895 года:

«...В три часа пронесли икону, я слышал, как визжала кликуша, и глядел вокруг, стараясь получше рассмотреть все. Из числа несших хоругви я увидел Пункова, кондитера, страшно-бледного, и все вообще несшие хоругви и иконы были бледны и усталы. После молебна народ с криком устремился на святую воду, и вмиг она обратилась в черную грязь <...>

Но сколько мы видели лиц, когда стояли у стола в ожидании иконы! В разукрашенных телегах, на лошадях, убранных цветными лоскутками, неслись целые семейства. У одной телеги перед нашими воротами слетело колесо. <...>

Идет толпа мордочек в белых рубахах, штанах и лаптях; модные горничные, разгуливающие все лето по откоосу в зеленом платье с алыми зонтиками над головой и самой грациозной походкой – да всего и не опишешь».

Шумят в дневниках Ардатовские леса, полные зверья и птиц; текут реки, полные рыбы; живут в деревенских рассказах истории о разбойниках, некогда леса населявших; по семейным преданиям, разбойников ловил прадед Лихутин. Сухой дуб у Щербинского оврага – казалось мальчику – помнил времена Ивана Грозного.

Время всегда волновало его, он придумал множество теорий, вычисляя скорость времени в разные эпохи: в одни периоды оно, по мнению Садовского, замедлялось, в другие – ускоряло свой бег. «Времени тайный размах никому не известен, но я не верю, что был он всегда одинаков», – писал он в стихах. Время должно было стать содержанием «главной» автобиографической книги Садовского, план которой он намечает в дневнике. С течением лет менялись ее названия («Четвертое измерение», «К истоку дней»), не изменялся замысел.

Из дня сегодняшнего взгляд писателя то и дело ускользал в прошлое. Рассказ «Двойник» воспринимается как эпиграф к творчеству Садовского. Главный герой рассказа, беллетрист Озимовский, разглядывая в кафе румяную даму в шляпке, одновременно видит ее старушкой в чепце и с зонтиком. Время играет, забавляется с ним, предоставляя возможность перенестись в любой год и любую точку земного шара, соблазняя экзотическими веками и странами. Он же мечтает пройтись по улочкам Москвы 1851 года, заглянуть к Гого-

лю. И хотя Гоголя дома не застаёт, узнаёт, что Гоголь в церкви Симеона Столпника на Поварской. Он отметит, что мальчик, открывший ему дверь, тот самый, которому через два месяца предстоит сжечь «Мертвые души»; увидит, что будочник в шинели, но без алебарды, услышит пение петуха на Воздвиженской и откроет свежую книгу «Современника» в трактире Печкина, в будущем – Тестова.

«Вы, конечно, знаете, в чем Ваша главная, только Вам принадлежащая и у других невиданная сила – лирика определенной обстановки, где запах такого-то момента истории, такого-то быта, такого-то места, такой-то области представлений»³³, писал Борису Садовскому Г.П.Блок, двоюродный брат А.А.Блока.

Любая дата, которую Садовской ставит в конце письма, превращалась в дыру, пробитую в прошлое, странным образом соединенное с настоящим. Вот, заканчивая письмо к А.А.Блоку, он выводит: «18 февраля 1913 г.», а под числом подписывает: «Дата кончины Императора Николая Павловича»; 27 января 1914 года влечет за собой память об ином дне: «День дуэли Пушкина». Даже в трагическом письме к родителям, где он сообщает о рецидиве незалеченного сифилиса, он не забывает под числом написать: «Ровно 18 лет, как мы переехали в первый раз в деревню, в свой дом».

Это смешение и смещение дат семейных, личных и значимых для всей страны – отличительная черта восприятия Садовского. История для него – многожильный кабель, составленный из множества человеческих судеб и событий, происходящих в единицу времени. (На этом принципе построена повесть «Александр Третий».)

Так же как частью России видел он хутор Борисовку (Садовской тож), собственную биографию представлял он не иначе, как частью истории, вплетенной в ее ткань.

Вот почему так важно было подчеркнуть участие деда Голова в войне 1812 года, и увидеть своего предка в свите Марины Мнишек, пришедшего в Россию в смутные времена и пустившего здесь корни. Он изобразил юного пажу Садовского, родовитого шляхтича, в сказочном сюжете пьесы «Кравчий». Влюбленный в Царицу паж по царскому приказу вынужден жениться на дочери коренного русака Луки Лихутина. И за отказ от любви награждается поместьем (еще одно поместье!), которое Садовской опишет с той горестной тщательностью, что позволяет догадаться: мечта его грубо и навсегда разрушена (пьеса написана в 1921 г.). Взяв за руку читателя, он поведет его к месту, где должен стоять дом, медленно, шаг за шагом, описывая памятные приметы, превращающиеся в свидетельство, что дом этот (точнее – поместье) – *был!*

Под самым городом Низовским
 От перелога, вдоль реки к оврагу
 Щербинскому, оттоль к сухому дубу,
 Через межу тропой до лысых сосен
 К деревне Ройка. А всего поместья
 Дано ему пять тысяч десятин.³⁴

И ведь заставил поверить окружающих в древность своего рода! Ходасевич в статье писал, что «свою поэтическую родословную он лелеет не меньше дворянской», а в письмах вспоминал «прапрадеда Лихутина».

Только в 1930 году в дневнике Садовской вслух признается, что не было у него родового дворянства:

«Папино рождение (1850). Не знаю, откуда пошли слухи о моем якобы необычайно древнем аристократическом происхождении. Родилась эта легенда в литературных кругах – и там, где Кузмин считался великосветским dandy, прикащик-Брюсов – магом и волхвом, Бальмонт – джентльменом, а Феофилактов – Бердслеем – и я мог сойти за аристократа. Из глупого мальчишеского тщеславия я эти слухи поддерживал, производя наш род от мифического литовского шляхтича, выехавшего на Русь при Лжедмитрии в свите Марины Мнишек.

На самом деле предком моим был протопоп Нижегородского Спасо-Преображенского собора Борис Иванович, живший около 1750 г. У сына его Василия был сын Алексей, священник села Мадатова и мой прадед. Кажется, он и получил в семинарии фамилию Садовского.

Дед семинарии не кончил, служил становым, потом хозяйничал в купленной им деревне. Но женат он был на столбовой дворянке Лихутиной.

Дворянство было дано моему отцу только в 1898 г. по Владимирскому ордену.

Дед со стороны матери Голов был простой лукояновский мужик. В 1812 г. 16-ти лет попал в солдаты, дослужился до офицерского чина и вышел в отставку подпоручиком. Тогда этот чин давал дворянство, и мать моя, дочь мужика и поповны, кончила Петербургский Павловский институт.

Так в лице моем слились три основные сословия. Этим объясняется многое. Как было не вернуться в лоно православной церкви потомку благочестивых иереев, священнодействовавших, быть может, с великокняжеских времен? И что может быть чище и, прямо скажу, благороднее крови русского духовенства? Ни малейшей примеси»³⁵.

Одну «голубую» мечту Садовской сменил на другую, отныне име-

ную себя «добровольным монахом эпохи “перед Антихристом”». Поселившись в Новодевичьем монастыре, с присущей ему артистичностью, он словно нахлобучил, надел на себя монастырь, вообразив себя послушником, шутливым присловьем обозначил свой путь: «От Фета к Филарету». Теперь его сознание неустанно хлопочет об устройстве монашеского распорядка жизни: он меняет и переделывает режим дня и работы, строго по часам расписывая в дневнике, загоня жизнь в жесткую схему представлений об аскетике.

Под взглядом «современного бескелейного и безмонастырного монаха затворника антихристовой поры» умирает, рассыпается прахом русская литература: «С осени я перечел всех классиков от Кантемира до 40-х годов. Что за убожество: Кольцов, Полевой, Батюшков! Читать можно Фонвизина, «Горе от ума», кое-что из Кантемира, ну, конечно, Крылова». Жесткие упреки и обвинения предъясвляются в дневнике Достоевскому, Гоголю, который должен был не жечь «Мертвые души», а написать «Живые души», да и о Пушкине Садовской высказывается, как еще недавно писал о футуристах: «Реки крови, война, миллионы могучих бессловесных жизней, любовь к Богу и Царю, семья, природа, – на что темно и глухо намекнул Л.Толстой, – Суворов, Ермолов, Скобелев – и тут же стишки Пушкина. И эти прыщики все заразили. Один Пушкин и больше ничего»³⁶.

В стихах Пушкина он видит только дьявольский, мишурный блеск, пустое обольщение:

Пушкин

Ты рассыпаешься на тысячи мгновений,
Созвучий, слов и дум.
Душе младенческой твой африканский гений
Опасен, как самум.

Понятно, чьим огнем твой освещен треножник,
Когда в его дыму
Козлиным голосом хвалы поет безбожник
Кумиру твоему.

1929, 1930

Теперь ему всего дороже то, что возвеличивает государственную целостность, мощь России: Суворов, Ермолов, Скобелев. Николай I всегда был его любимым героем, политиком без колебаний и сомнений, мощной рукой задушивший смуту. (Мемуаристы не случай-

но вспоминают Садовского в окружении портретов Николая I.)

Как главную черту Садовского Ходасевич отметил в очерке – «огромнейшую, благоговейную, порой мучительную любовь к России». Но он не знал, какой злобной гримасой искажалась эта любовь. Обратной ее стороной, оборотной стороной взволнованного до слез патриотизма была ненависть к инородцам, жидам, интеллигенции (футуристы – только часть этого ряда), как к бродильным началам, рожденным городом, цивилизацией, могущим взорвать, уничтожить то, что ему дорого.

Словно забыв детские впечатления: «После молебна народ с криком устремился на святую воду, и миг она обратилась в черную грязь», он представлял русский народ идиллически-прекрасным, все отрицательные черты собирая, чтоб вылепить из них образ врага.

В юности Садовской писал: «Русская интеллигенция оттого так любит жидов и жида взаимно русскую интеллигенцию, что та и другие лишены родины, отечества. Интеллигенция оторвана от почвы, ненавидит русские начала, жида им верные союзники. Симпатия их сходства» (1901) Высказывание не случайное.

Его последний роман, нацарапанный карандашом на листах, сшитых в тетрадь, – «Шестой час» продиктован ненавистью к евреям, ввергшим страну в революцию, в цареубийство. Убийство царя изображено писателем как сознательное, обдуманное по последствиям действие – обезглавливание России. Об этом прямо говорят бывший сын аптекаря Жорж Розенталя и его подручные – председатели, секретари губкома партии, заседающие в бывшем губернаторском дворце: «– Церковь без царя нуль. Она им одним держалась. Культ вымрет через несколько лет.

– Из такого народа! Да их, скотов, заставить можно опять Перуну лбом стучать. Через каких-нибудь 25 лет русскую молодежь родная мать не узнает. Нет, святая Русь осталась теперь только в учебниках, да и то у Иловайского».

Еврейское узкорациональное начало в романе («Я верю только в чистый разум и цианистый калий», – утверждает дочь аптекаря Розенталя) противостоит русскому добросердечию и благородству, но в то же время евреи владеют колдовскими чарами, гипнозом. С помощью этих чар они лишили невинности героиню, подчинив себе красавицу; колдовством овладели Россией... Даже отрезанная голова Розенталя-сына «шипела, тарасила глаза и прыгнула на грудь»³⁷. Только с помощью креста и удалось нечистую силу усмирить.

Но и этот на редкость слабый роман продиктован слепой болью, осознанием того, «что прошлое навеки кончилось, что Русь погреб-

бена, безвозвратно, причем на ее могиле не крест даже вбит, а осиный кол. Отсюда выводы. Если Россия умерла, умер и я. Как писатель я кончен тоже» (1932). От политического памфлета Садовского бросало к идиллии, романтической сказке; чтоб усмирить себя, он переключал стихами псалмы, давал обет молчания.

Выброшенный из литературы, втиснутый в креслице, задвинутый в подвал под монастырской церковью, он находил в себе мужество писать, не приспособляясь к времени.

В то время как Ходасевич выстраивал свой «Некрополь», Садовской проживал свой, среди могил Новодевичьего монастыря, провожая уходящую эпоху и свидетельствуя: «На днях умер А.Белый. Так и косит наших... Тело сожгли. «Пепел» и «Урна».

Ужасен конец всех символистов нашего поколения. Даже Лики ардопуло сошел с ума».

Себя он называл «последним символистом». ³⁸

Его постсоветской жизни Ходасевич не представлял и представить не мог. Естественнее было поверить в его смерть. Но и в десятые годы, годы самого близкого общения, многое из того, что тревожило и волновало Садовского, он Ходасевичу не открывал. Не случайно возник у них разговор об антисемитизме (о нем Ходасевич вспомнил в очерке), и Садовской уклонился, ушел от правдивого ответа.

Ходасевич поверил объяснениям Садовского, так же как принял его версию ссоры с А.И.Тиняковым. «Злой» Ходасевич в дружеских отношениях прям и доверчив.

Поверил с тем большей легкостью, что национализм в любых его проявлениях глубоко чужд ему.

Свидетельства национализма, расовой ненависти вызывают у него или грустную усмешку: «мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев», или отторжение, неприятие, как в случае, когда он обнаружил черты национализма в «Дзядях» Мицкевича и был поражен, «до какой степени у такого большого поэта душа была “заложена” национализмом – я иначе не могу выразиться: заложена – как заложена бывает нос: дыхание трудное и короткое. Вся третья часть этим обескровлена безнадежно. Чем выпрэнней ее внешняя поэтичность, тем прозаичнее она внутренне. Если Пушкин читал ее целиком, то, может, этот прозаизм должен был рассердить его больше всего, – больше, чем ненависть к России.» ³⁹

«Выспреннюю поэтичность», романтизацию самодержавно-государственной мощи, махровый «русизм» (как назвал это Айхенвальд) Ходасевич не принимал и в Садовском. В ответ на восторги его, вызванные встречей с царской семьей в нижегородском Дворянском со-

брании, Анна Ивановна ответила смешливо-пофыркивающими вопросами: сшил ли он камер-юнкерский мундир, не тесноват ли вышел, написал ли стишки, приличествующие случаю? В этих вопросах легко слышатся юмор, интонацию Ходасевича.

1917 год, обостривший все противоречия, ворвался в их отношения, чуть было не разрушив их, не приведя к разрыву.

Революцию Садовской воспринял как конец мира, жизненный крах, тем более чувствительный, что он был тяжело болен, со сломанной ногой, в Нижнем. Он метался, делал попытки кончить с собой, искал помощи у философов, антропософов, в православии, давал зарок не печататься. Поэтому невинное предложение Ходасевича принять участие в журнале «Москва» вызвало взрыв, упреки в большевизме, дальнейшее отчуждение.

Он не хотел жить в России советской, не хотел видеть ее, пытался уехать за границу на лечение, просил Луначарского о командировке, Блока – похлопотать за него. А.А.Блок и сам был смертельно болен, и ему тоже не давали разрешения на выезд. 28 мая 1921 года Садовской получил от народного комиссара по просвещению А.В.Луначарского категорический отказ.

За границу уедет Ходасевич, который революции принял. Принял как поэт. В мучительно-болезненных судорогах первых месяцев блеснуло ему рождение нового, мощное стихийное движение народной массы, его закружили «сногшибательные ветра». Как человек умный и наблюдательный, он смущался своим восторженным состоянием и это смущение передал в стихах:

Должно быть, это мой позор.
Но что же если вот –
Душа, всему наперекор,
Поет, поет, поет?

И в статье 1918 года «О завтрашней поэзии» он почти оправдывался: «Ибо как ни связан поэт со своей страной, все же он не политик, не строитель *реальных* форм будущего, и порой то, что неприемлемо для политика, живительно для поэта»⁴⁰.

Насколько это время было живительно для поэта, мы знаем, потому что Ходасевич в эти годы написал две лучшие свои книги «Путем зерна» и «Тяжелая лира».

На короткое время он поверил в очистительную силу революции, в то, что она сдерет, смоем накипь буржуазного мещанства, «буржуазный сволочизм», отбросит в сторону малограмотных диле-

тантов и меценатов и в конце концов выиграет безвестный Сидор – крестьянин или литератор-профессионал. Ему казалось – пришло время культурного делания в интересах всей России. Главным разочарованием Ходасевича было открытие, что в России нет воли к работе, как писал он Горькому 7 августа 1925 года: «От прожектерства до работы – не один шаг». Был и другой упрек, не менее важный, вынесенный из тех лет: «...чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию – без революции духа. Я некогда ждал – по глупости».

Но когда перетряхивало всю Россию, он не мог стоять в стороне.

В это самое время судьба (носившая имя «Гершензон»: с ним в послереволюционные дни и годы Ходасевич жил в тесной близости, в духовном родстве) подсунула ему книгу, оказавшуюся необходимой, – «С того берега» А.И.Герцена. В молодости он прошел мимо этого автора, находившегося вне круга внимания символистов. Но как же пришлась она в 1918 году – книга, обнажившая механизм действия революционных потрясений и рассказавшая о том, что пережили участники и свидетели разрушительных лет: об иллюзиях, разочарованиях, мрачных предчувствиях и надеждах, обращенных к сыновьям. Письмом к «Сыну моему Александру» открывалась она, предостерегая: «Не останься на *старом берегу...*»⁴¹

Ею окрашен целый период творчества Ходасевича: прошита, простегана герценовскими цитатами статья «О завтрашней поэзии»; в стихотворении «Дом» поэт не только приводит слова Герцена «Человек в истории как дома»⁴², но воспроизводит самую концепцию истории и роли человека в истории: «... для чего эти усилия? – жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчинке, по камешку, а тут опять все рухнет наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины из мха, досок и упавших капителей...»⁴³; отголоски влияния ее ощутили и в очерке «Помпейский ужас».

Эти годы, разрушившие условные перегородки в человеческих отношениях, сблизившие, объединившие людей жизненно насущными задачами: выжить физически и выстоять духовно – потребовали прямого открытого разговора с читателем. Ходасевич ощутил это требование как художественную задачу. Даже пушкинскую статью «Окно на Невский» он пишет в жанре писем Герцена, подхватив его интонацию. Достаточно сравнить небольшие фрагменты: «Что же так дорого всем нам в Пушкине? Почему он наше знамя?»⁴⁴ – это Ходасевич, а вот Герцен: «Где в самом деле наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?»⁴⁵

Присягая в любви к Пушкину, писатель тем не менее готов признать, что «художественный канон Пушкина <...> может оказаться кодексом форм прекрасных, но отживающих».

Но что не устареет и что всего дороже ему в Пушкине – это то, что «...Пушкин и себя, и всю грядущую русскую литературу подчинил голосу внутренней правды, поставил художника лицом к лицу с совестью, недаром он так любил это слово. Пушкин первый в творчестве своем судил себя страшным судом и завещал русскому писателю роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества».

Мучительный суд совести узнал он и в книге «С того берега». Может быть, самое важное, что унес Ходасевич, читая ее – точнее, на собственной шкуре испытывая все то, о чем в ней было написано, – уверенность в том, что честность мысли – единственный способ отстоять внутреннюю свободу, не поддаться утешительным иллюзиям, имеющим гипнотическую, завораживающую силу⁴⁶.

Жесткая установка на правду в рассказе о времени, которую Ходасевич не только декларирует в «Некрополе», но делает главным эстетическим критерием, близка герценовской «отваге знания». Автор почти повторил слова Герцена в 1-ой редакции очерка «Брюсов», в журнальном варианте: «Но сейчас такая пора, когда надобно иметь мужество отказаться от возвышающих обманов ради низких истин. Впрочем, они имеют то неоспоримое достоинство, что они – истины»⁴⁷.

Честность мысли привела его к грустному пониманию, что не может он оставаться свободным в советской России; понемногу советское общество начинало приспособлять, легонько формировать и его, проникая в состав языка. Чтоб увидеть это, достаточно прочесть план, который Ходасевич набросал на листочке перед разговором с Луначарским об отъезде, где один из аргументов в пользу отъезда был выражен словами: «Я хочу бороться с духом буржуазства, т.е. с идейным обывательством, мещанством, оппортунизмом»⁴⁸. Скорее всего, это и подтолкнуло к решению уехать, а сложные семейные обстоятельства заставили действовать решительно и быстро. Да тогда ведь казалось, что уезжает он на время.

Была у Ходасевича еще одна иллюзия, что с томиками Пушкина он увозит «всю Россию», «восемь томиков, не больше, – и в них вся родина моя». А прожив за границей, ощутил, что русская культура и даже «весь Пушкин» – еще не вся Россия.

До конца дней Россия, оставшееся в России, по его словам, ныло и зудело, «как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем». Тоска по России в статье «Памяти Б.А.Садовского» прорвалась словами, которых в лексиконе Хода-

севича, кажется, и быть не могло («огромнейшая, благоговейная, порой мучительная любовь к России»). Любовь к России оказалась для него самой значительной, самой памятной в Садовском.

И когда 28 января 1928 года в Париже он писал свой «Памятник», он вспомнил «Памятник» Садовского, идола его, заброшенного на чердаке (см. прим. 1 к письму 34). И политические споры тех лет, сводящиеся в сущности к вопросу: *что* спасти в эпоху наступающего помрачения культуры, изжитые иллюзии, и строчки Садовского, пророчащие России забвение, пустыню, конец. «Конец» называлось стихотворение, завершавшее книгу «Обитель смерти». Словом «конец» начинается «Памятник» Ходасевича.

Памятник

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

В литературной традиции «Памятник» – обычно ответ: кто я? чем славен? «Памятник» Ходасевича – загадка. Он и построен как загадка:

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено...

Что же *это*? Первой строкой Ходасевич отсылает читателя к Откровению Иоанна Богослова: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец...», а дальше: «И живой, и был мертв, и се, жив во веки веков...» Но ведь это о зерне (или душе, или стране, идущей путем зерна) поэт повторял: «умрет и прорастет», «умрет – и оживет», «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь...» Да и само слово «звено» подсказывает ответ: «зерно», тем более что рифмы «зерно – звено» (то есть в обратном порядке) Ходасевич использовал в стихотворении «Уединение» (1915). Слово «мало» помогает дорисовать образ зерна.

Но как же прорасти ему, когда перед нами продутый ветрами

пейзаж вечности: «время, ветер и песок...» Что за восходы может родить такая почва?

Бескрайность и равнинность пейзажа почти пугающи. Кроме того, этим взорвана традиция «Памятника», предполагающая некую вертикаль, идущую выше и выше, почти полет. И для Горация, и для Державина, и для Пушкина «выше» – ключевое слово.

...царственных пирамид *выше* поднявшихся...

...металлов тверже он и *выше* пирамид...

...вознесся *выше* он главою непокорной
Александрийского столпа...

В каждом из этих стихотворений (и многих других, за ними стоящих) задана материальная, физическая мера высоты, оттолкнувшись от которой поэт возносится *над*: пирамиды, Александрийский столп, чердак на крайний случай. Один-единственный эпитет соединяет «Памятник» Ходасевича со стихами Горация (со стихами, так как сюжет пушкинского «Памятника» опирается на два стихотворения Горация – «Памятник» и «К Мекенату»). Большинство поэтов следовали за Пушкиным, Державин вслед за Горацием создал два стихотворения: «Памятник» и «Лебедь»). Эпитет этот – «двуликий».

Взнесусь на крыльях мощных, невиданных,
Певец двуликий, в выси эфирные,
С землей расставшись, с городами,
Недосягаемый для злословия...

Причем слово «двуликий» у Ходасевича имеет множество значений и смыслов: это и двуликий Янус, соединивший прошлое и будущее в «прочное звено»; и способность поэта «безуметь от видений» на земле, соединяя небо и землю; и двуликость построения образа, состоящего у Ходасевича из противоречащих друг другу элементов, объединенных в одно целое: «конец – начало», «мало – великой»; законченность первой строфы, выкованной, как «прочное звено», и разомкнутое пространство второй, подчеркнутое многоточием, но переданное и интонационно, и лексически.

Сама композиция стихотворения, двучастная, где первое четверостишие посвящено судьбе поэта, второе – России, связанных в единую судьбу, заставляет думать, что перед нами самый необычный, са-

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ ДОРОГ...

мый авангардный памятник, воссоздающий поэтический образ – зерно поэзии, со всеми особенностями, характеризующими образ именно *этого* поэта.

Ну, а судьба России – какой представлял ее Ходасевич? Почему ни единой зацепочки, ни единой подробности не подбросил он читателю, чтоб можно было представить эту «новую, но великую» Россию?

Может быть, мы и должны запомнить ее такой – на вечном, заколдованном перекрестке, застывшей в ожидании. Может быть, для Ходасевича Россия и была ожиданием, надеждой.

Если в годы революции он слышал рост, движение страны, видел, «как травка прорастает сквозь трещины асфальтных плит», как зерно пробивается к жизни, – возможно, в «Памятнике» он запечатлел сон зерна, собирание сил к росту, чтоб когда-нибудь рвануть, зазеленеть и встать колосом.

Инна Андреева

Примечания

- ¹ Колумбийский университет, Бахметьевский архив Ф. Карповича.
- ² Стихотворение Садовского прислано в письме от 20 июня 1909 г. Благодарю Р.Щербакова, познакомившего меня с неопубликованными письмами Садовского к В.Я.Брюсову.
- ³ Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С.421.
- ⁴ Печать и революция. 1926. Кн.7. С.43–44.
- ⁵ Богомолов Н.А. Вл.Ходасевич в московском и петроградском литературном кругу // Новое литературное обозрение. 1995. Кн.14. С.128.
- ⁶ Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л.: 1963. Т.8. С.322.
- ⁷ Локс К.Г. Повесть об одном десятилетии. – Ново-Басманная, 19. М., 1990. С.473–474.
- ⁸ РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.277.
- ⁹ Письмо Ходасевича к Е.Янтареvu (Е.Л.Бернштейну) от 5 (22) июля 1911 г. // РГАЛИ. Ф.1714. Оп.2. Ед.хр.7.
- ¹⁰ Ходасевич В. Колеблемый треножник. М., 1991. С.473.
- ¹¹ Письмо Ходасевича к М.Горькому недат., приблизительно июль-август 1924 г. Публ. И.А.Бочаровой. Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие. Т.4. (В печати). Другие фрагменты из писем Ходасевича к М.Горькому приводятся по этому изданию.
- ¹² Известия Литератно-художественного кружка. М., 1914. Вып.3. С.24.
- ¹³ Берберова Н. Курсив мой. М.: Согласие. 1996. С.180: «Я попросила его записать кое-что на память – канву автобиографии, может быть, календарь его детства и молодости. Он подсел к моему столу, а когда кончил, дал мне кусок картона». Этот «кусочек картона» хранится в ф. М.М.Карповича. Бахметьевский архив.
- ¹⁴ Садовской Б. Озимь. Статьи о русской поэзии. Пг.: 1915. С.25.
- ¹⁵ Ходасевич В. Колеблемый треножник. С.588, 590.
- ¹⁶ Последние новости. Париж, 1939. 22 июня. Подпись: Г.А.
- ¹⁷ Флейшман Л. Борис Пастернак и двадцатые годы. Munchen. 1949. С.280
- ¹⁸ Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т.4. С.219.
- ¹⁹ Ходасевич В. О Маяковском. // Возрождение. 1930. 24 апреля.
- ²⁰ Борис Пастернак и Сергей Бобров. Письма четырех десятилетий. / Публ.

М.А.Рашковской. Stanford, 1996. Vol.10. С.50.

²¹ Ходасевич В. Собр. соч. Статьи и рецензии. 1905–1926. Т.2. / Под ред. Д.Мальмстада и Р.Хьюза. Ann Arbor, 1990. С.108.

²² См. в «Возрождении» 30 июля 1931 г.: «Маяковский есть футурист, разрушитель и осквернитель русской поэзии, которая для меня есть не только предмет безразличного и безучастного изучения. Долг мой бороться с делом Маяковского и теперь, как боролся я прежде, с первого дня, – ибо Маяковский умер, но дело его живет» / (без заглавия, в разделе «Люди и книги»).

²³ Садовской Б. Заметки. Дневники 1929–1934 гг. // РГБ. Ф.669. Карт.1. Ед.хр.12.

²⁴ Садовской Б. Лебединые клики. М., 1990. С.431–436.

²⁵ Садовской Б. Записные книжки 1894–1901 гг. // РГАЛИ. Ф 464. Оп.2. Ед.хр.27.

²⁶ Садовской Б. Записная книжка, начатая 10 февраля 1910 г. // РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.24.

²⁷ Садовской Б. Записки. / Публ. С.В.Шумихина. // Российский архив. (Вып.1). М., 1991. С.109.

²⁸ Судьба Юрия Никольского (Из писем Ю.А.Никольского к семье Гуревич и Б.А.Садовскому. 1917–1921). / Публ. С.В.Шумихина. // Минувшее. Исторический альманах. М.-СПб.: Atheneum-Феникс. 1996. Вып.19. С.173. См. Также письма Ю.А.Никольского Б.А.Садовскому. // РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.147.

²⁹ Садовской Б. Самовар. Альциона. М., 1914. С.[5].

³⁰ Письмо Ходасевича к А.В.Бахраху 7 ноября 1923 г. / Публ. Д.Мальмстада. // Новое литературное обозрение. 1993. С.178.

³¹ Знамя. 1992. №7. С.192.

³² Айхенвальд Ю.И. Слова о словах. Критические статьи. Пг.: 1916. С.98.

³³ Письмо Г.П.Блока Садовскому от 22 октября 1921 г. // РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.55.

³⁴ Садовской Б. Кравчий. (1921). // РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.36.

³⁵ Знамя. 1992. № 7. С.188–189.

³⁶ Садовской Б. Заметки. Дневники. // РГБ. Ф.669. Карт.1. Ед.хр.12.

³⁷ Садовской Б. Шестой час. Роман. // РГБ. Ф.669. Оп.1. Ед.хр.3.

³⁸ Знамя. 1992. № 7. С.191.

³⁹ Переписка В.Ф.Ходасевича и М.О.Гершензона. / Публ. И.Андреевой. // De visu. 1993. №5. С.39.

⁴⁰ Ходасевич В. Собр. соч. Статьи и рецензии 1905–1926 гг. Т.2. С.285.

⁴¹ Герцен А.И. С того берега. // Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т.6. С.7.

⁴² Там же. С.66. У Герцена: «Но в мире истории человек дома, тут он не только зритель, но и деятель».

⁴³ Там же. С.30.

⁴⁴ Ходасевич В. Окно на Невский. 1. Пушкин. – Лирический круг. Страницы поэзии и критики. 1. М.: Северные дни. 1922. С.79–84.

⁴⁵ Герцен А.И. С того берега. С.26.

⁴⁶ Художница Ю.Л.Оболенская, знакомая по Коктебелю, сблизилась и подружилась с Ходасевичем в 1919–1920 гг. Они помогали друг другу нести бытовые тяготы, вперегонки собирали книги Пушкина и о Пушкине, она любила стихи Ходасевича, особенно «Дом», для которого делала иллюстрации. В дневнике она отмечала встречи с ним, разговоры, шутки, писала портреты-шаржи Ходасевича, – в эти годы их соединяла подлинная духовная близость. В июне 1920 г., глухо записывает она о своем отношении к советской власти, к происходящему: «Мысль была такая: я не могу идти против них, несмотря ни на что (а вижу я все ясно), потому что это – естественный шаг жизни – он по существу не может быть ложным. Я могу досадовать, проклинать, жалеть, не соглашаться, мучиться и т.п. Это ведь совсем другое, и я хотела бы скрыть свои неудовольствия и хотела бы находить какие-нибудь реальные основания моему убеждению, основанному только на “заумной” истине...» // РО ГЛМ. Ф.348. Оп.1. Ед.хр.4.

Типичны здесь и состояние внутреннего протеста, противостояния («против них»), и потребность во что бы то ни стало убедить себя в разумности происходящего, необходимости подчиниться.

⁴⁷ Ходасевич В. Брюсов. (Отрывки из воспоминаний). // Современные записки. 1925. Кн. XXIII. С.236.

⁴⁸ Глагол. Кн.2. Ann Arbor: Ardis, 1978. С.121.

ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ
Х 69 Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А.Садовскому.
– М.: **С**, 1996. – 464 С.

Книга Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939) содержит, наряду с известными и ставшими хрестоматийными воспоминаниями, ранее непубликовавшиеся в России материалы о Горьком, Маяковском и письма Б.А. Садовскому.

Все материалы сборника снабжены расширенными комментариями, позволяющими рассматривать данное издание, как необходимое пособие по истории русской литературы конца XIX начала XX веков, адресованное широкому читательскому кругу и особенно студентам исторических и филологических факультетов гуманитарных учебных заведений.

ББК 83.3Р

ISBN 5–86435–010–9

ЛР № 070833 от 26.01.93

Формат 60x90 1/16. Гарнитура Миньон. Печать офсетная. Усл.печ.л. 29
Заказ №723. Отпечатано в Московской типографии №2 РАН
121099 Москва, Шубинский пер., 6

По вопросам приобретения книги обращаться по тел.: 460 06 96, 252 28 67

